

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://pasternakboris.ru/> Приятного чтения!

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак

Точно повесть

Из века Стюартов,

Отдаленней, чем Пушкин,

И видится

Точно во сне.

Из поэмы «Девятьсот пятый год».

\* \* \*

«...Я родился в Москве, 29-го января ст. стиля 1890 года. Многим, если не всем, обязан отцу, академику живописи Леониду Осиповичу Пастернаку, и матери, превосходной пианистке...»

Борис Пастернак.

Автобиография. 1924

Морозной ночью с 29 на 30 января (10 февраля) 1890 года у Леонида Пастернака и Розалии Исидоровны Кауфман родился первенец, которого назвали Борисом. Это было в Москве, в доме, который и поныне стоит на углу 2-й Тверской-Ямской и Оружейного переулков в глубине Триумфальной площади. День его рождения пришелся на день гибели Пушкина, по церковному календарю это – день памяти преподобного Ефрема Сирина, великого раннехристианского учителя церкви и поэта IV века. Леонид Осипович Пастернак был человеком яркого таланта, сочетавшегося с настойчивостью и трудолюбием. В необеспеченной семье молодого живописца и пианистки искусство сливалось с домашним обиходом, художник успевал зарисовывать все, что видел на улицах, артистических вечерах и собраниях. Радостное художественное начало отца бессознательно и глубоко вошло в сознание Бориса и во многом определило его творческие задатки.

\* \* \*

«...Папа, его блеск, его фантастическое владение формой, его глаз, как почти ни у кого из современников, легкость его мастерства, его способность играючи охватывать по нескольку работ в день и несоответственная малость его признания...»

Борис Пастернак – Ольге Фрейденберг

Из письма 30 ноября 1948

«...Это отношение к жизни, то есть удивление перед тем, как я счастлив и какой подарок – существование, у меня от отца: очарованность действительностью и природой была главным нервом его реализма и технического владения формой...»

Борис Пастернак – Жозефине Пастернак

Из письма 16 мая 1958

К моменту своего замужества Роза Кауфман была уже известной пианисткой, училась в Вене у знаменитого профессора Теодора Лешетицкого и в свои 22 года после концертных поездок по России, Австрии и Польше заняла место профессора в Одесском отделении Петербургской консерватории. Голос рояля был неотъемлемой частью жизни семьи.

\* \* \*

«...Мама была великолепной пианисткой, именно воспоминание о ней, о ее игре, о ее обращении с музыкой, о месте, которое она ей так просто отводила в обиходе, дало мне в руки то большое мерло, которого не выдерживали потом все последующие мои

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
наблюдения...»

Борис Пастернак – Жозефине Пастернак

Из письма 16 мая 1958

Дом, где снимали квартиру Пастернаки, принадлежал купцу Веденееву, при нем был обширный двор и столярные мастерские. Тут начинались ямские слободы и цены были не так высоки, как в центральной части города. К столетию со дня рождения Бориса Пастернака на доме была повешена мемориальная доска. Через год семья перебралась в дом Лыжина, находившийся по соседству, напротив здания духовной семинарии в Оружейном переулке.

\* \* \*

«...Необъяснимым образом что-то запомнилось из осенних прогулок с кормилицей по семинарскому парку. Размокшие дорожки под кучами опавших листьев, пруды, насыпные горки и крашенные рогатки семинарии, игры и побоища гогочущих семинаристов на больших переменах.

Прямо напротив ворот семинарии стоял каменный двухэтажный дом с двором для извозчиков и нашу квартиру над воротами в арке их сводчатого перекрытия.

Ощущения младенчества складывались из элементов испуга и восторга. Сказочностью красок они восходили к двум центральным образам, надо всем господствовавшим и все объединявшим. К образу медвежьих чучел в экипажных заведениях Каретного ряда и к образу добряка великана, сутулого, косматого, глухо басившего книгоиздателя П.П. Кончаловского, к его семье и к рисункам карандашом, пером и тушью Серова, Врубеля, моего отца и братьев Васнецовых, висевшим в комнатах его квартиры.

Околоток был самый подозрительный – Тверские-Ямские, Труба, переулки Цветного. То и дело оттаскивали за руку. Чего-то не надо было знать, что-то не следовало слышать. Но няни и мамки не терпели одиночества, и тогда пестрое общество окружало нас. И в полдень учили конных жандармов на открытом плацу Знаменских казарм.

Из этого общения с нищими и странницами, по соседству с миром отверженных и их историй и истерик на близких бульварах я преждевременно рано на всю жизнь вынес пугающую до замирания жалость к женщине и еще более нестерпимую жалость к родителям, которые умрут раньше меня и ради избавления которых от мук ада я должен совершить что-то неслыханно светлое, небывалое».

Борис Пастернак.

Из очерка «Люди и положения»

Борис был старшим ребенком в семье, его окружало пристальное и трепетное внимание, от него ждали успехов, он привык быть первым, остро переживал неудачи и заимствовал от матери ее душевную глубину и обостренную чувствительность. В феврале 1893 года родился второй сын Алексан др. В доме появилась няня Акулина Гавриловна Михалина, из простых крестьян, человек высокой духовной культуры и глубокой веры. Она приобщила маленького Борю к православию.

\* \* \*

«...Я был крещен своей няней в младенчестве, но из-за ограничений, которым подвергались евреи, и к тому же в семье, которая, благодаря художественным заслугам отца, была от них избавлена и пользовалась определенной известностью, это вызывало некоторые осложнения и оставалось всегда душевной полутайной, предметом редкого и исключительного вдохновения, а отнюдь не спокойной привычкой. В этом, я думаю, источник моего своеобразия...»

Борис Пастернак – Жаклин де Прауйяр.

Из письма 2 мая 1959

(перевод с французского).

\* \* \*

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Не как люди, не еженедельно

Не всегда, в столетье раза два

я молил Тебя: членораздельно

Повтори творящие слова.

И Тебе ж невыносимы смеси

Откровений и людских неволь.

Как же хочешь Ты, чтоб я был весел?

С чем бы стал Ты есть земную соль?

1915

Детская память жадно впитала в себя церковные напевы и слова богослужений, безотчетно создавая чувство близости Христу и мистерии Его личности. Тщательно таимое, остающееся предметом жажды и источником вдохновения, – это чувство никогда его не оставляло.

\* \* \*

«...Недоступно высокое небо наклонялось низко-низко к ним в детскую макушкой в нянюшкин подол, когда няня рассказывала что-нибудь божественное, и становилось близким и ручным, как верхушки орешника, когда его ветки нагибают в оврагах и обирают орехи. Оно как бы окуналось у них в детской в таз с позолотой и, искупавшись в огне и золоте, превращалось в заутреню или обедню в маленькой переулочной церквушке, куда няня его водила. Там звезды небесные становились лампадками, Боженька – батюшкой и все размещались на должности более и менее по способностям...».

Борис Пастернак.

Из романа «Доктор Живаго»

Незаурядное художественное дарование Л.О. Пастернака и полученное в Мюнхенской королевской Академии образование позволяли ему с успехом участвовать в выставках и давать уроки живописи и свободн ого рисунка с натуры. В 1893 году он получил приглашение войти в состав преподавателей Московского училища живописи.

\* \* \*

«...Когда мне было три года, переехали на казенную квартиру при доме Училища живописи, ваяния и зодчества на Мясницкой против Почтамта. Квартира помещалась во флигеле внутри двора, вне главного здания.

Главное здание, старинное и красивое, было во многих отношениях замечательно. Пожар двенадцатого года пощадил его. Веком раньше, при Екатерине, дом давал тайное убежище масонской ложе. Боковое закругление на углу Мясницкой и Юшкова переулка заключало полукруглый балкон с колоннами. Вместительная площадка балкона нишею входила в стену и сообщалась с актовым залом Училища. С балкона было видно насквозь продолжение Мясницкой, убегавшей вдаль к вокзалам...

Во дворе, против калитки в небольшой сад с очень старыми деревьями, среди надворных построек, служб и сараев возвышался флигель. В подвале внизу отпускали горячие завтраки учащимся. На лестнице стоял вечный чад пирожков на сале и жареных котлет. На следующей площадке была дверь в нашу квартиру...

Два первые десятилетия моей жизни сильно отличаются одно от другого. В девяностых годах Москва еще сохраняла свой старый облик живописного до сказочности захолустья с легендарными чертами третьего Рима или былинного стольного града и всем великолепием своих знаменитых сорока сороков. Были в силе старые обычаи. Осенью в Юшковом переулке, куда выходил двор Училища, во дворе церкви флора и Лавра, считавшихся покровителями коневодства, производилось освящение лошадей, и ими, вместе с приводившими их на освящение кучерами и

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
конюхами, наводнялся весь переулочек до ворот Училища, как в конную ярмарку...»

Борис Пастернак.

Из очерка «Люди и положения»

\* \* \*

В детстве, я как сейчас еще помню,

Высунешься, бывало, в окно,

В переулке, как в каменоломне,

Под деревьями в полдень темно.

Тротуар, мостовую, подвалы,

Церковь слева, ее купола,

Тень двойных тополей покрывала

От начала стены до угла.

За калитку дорожки глухие

Уводили в запущенный сад,

И присутствие женской стихии

Облекало загадкой уклад...

Из стихотворения

«Женщины в детстве», 1958

С годами семья становилась все более заметной в артистической жизни Москвы. После нескольких блестящих концертных сезонов мать, за редкими исключениями, почти перестала выступать перед публикой, посвятив себя заботам о муже и детях, которых вскоре стало четверо. Это не было отказом от профессии, она играла ежедневно и помногу часов, ее уроки музыки были существенным подспорьем в бюджете семьи. Дома устраивались музыкальные вечера. На них бывали приезжие музыканты, писатели и художники. В ближайший круг друзей и сотрудников по Училищу входили Н.Н. Ге, В.Д. Поленов, И.И. Левитан, В.А. Серов. Борис Пастернак считал обстановку родительского дома основой своего художественного становления.

\* \* \*

«...Я сын художника, искусство и больших людей видел с первых дней и к высокому и исключительному привык относиться как к природе, как к живой норме. Социально, в общезнании оно для меня от рождения слилось с обиходом...»

Борис Пастернак – Михаилу Фроману

Из письма 17 июня 1927

В древнегреческом мифе о Ганимеди, которого Зевс в образе орла мальчиком вознес на небо и сделал виночерпием богов, Пастернак видел символику детства, как «заглавного интеграционного ядра» всей последующей жизни.

\* \* \*

«Воспитанная на никем потом не повторенной требовательности, на сверхчеловечестве дел и задач, она „античность“ совершенно не знала сверхчеловечества как личного аффекта. От этого она была застрахована тем, что всю дозу необычного, заключающуюся в мире, целиком прописывала детству. И, когда по ее приему человек гигантскими шагами вступал в гигантскую действительность, поступь и обстановка считались обычными».

Борис Пастернак.

Из повести «Охранная грамота»

\* \* \*

Я рос. Меня, как Ганимеда,  
Несли ненастья, сны несли.  
Как крылья, отрастали беды  
И отделяли от земли.  
Я рос. И повечерий тканых  
Меня фата обволокла.  
Напутствуем вином в стаканах,  
Игрой печального стекла,  
Я рос, и вот уж жар предплечий  
Студит объятие орла.  
Дни далеко, когда предтечей,  
Любовь, ты надо мной плыла.  
Но разве мы не в том же небе?  
На то и прелесть высоты,  
Что, как себя отпевший лебедь,  
С орлом плечо к плечу и ты.

1913, 1928

В 1893 году Л.О. Пастернак участвовал в Передвижной выставке большой картиной «Дебютантка». В Москве выставка была размещена в залах Училища живописи. Перед открытием экспозицию осматривали художники и приглашенные. Приезжал Лев Толстой. Он остановился около «Дебютантки», имя художника было ему уже знакомо. Он сказал, что следит за его талантом. Ошалевшего от радости художника представили Толстому. В это время он работал над акварелями к «Войне и миру» и мечтал об авторских разъяснениях. В один из вечеров Пастернак с женой пришли к Толстому в Хамовники. Иллюстрации к «Войне и миру» были встречены с восторгом.

\* \* \*

«...23 ноября „1894 года“... Левочка, Таня и Маша уехали к Пастернаку слушать музыку. Играет его жена с Гржимали и Брандуковым».

Софья Андреевна Толстая.

Из «Дневника»

\* \* \*

«...„Эту“ ночь я прекрасно помню. Посреди нее я проснулся от сладкой щемящей муки, в такой мере ранее не испытанной. Я закричал и заплакал от тоски и страха. Но музыка заглушала мои слезы, и только когда разбудившую меня часть трио доиграли до конца, меня услышали. Занавеска, за которой я лежал и которая разделяла комнату надвое, раздвинулась. Показалась мать, склонилась надо мной и быстро меня успокоила. Наверное меня вынесли к гостям, или может быть, сквозь раму открытой двери я увидел гостиную. Она полна была табачного дыма. Мигали ресницами свечи, точно он ел им глаза. Они ярко освещали лакированное дерево скрипки и виолончели. Чернел рояль. Чернели сюртуки мужчин. Дамы до плеч высывались из платьев, как именинные цветы из цветочных корзин. С кольцами дыма сливались седины двух или трех стариков...»

Эта ночь межевою вехой пролегла между беспамятностью младенчества и моим дальнейшим детством. С нее пришла в действие моя память и заработало сознание,

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
отныне без больших перерывов и провалов, как у взрослого...»

Борис Пастернак.

Из очерка «Люди и положения»

В сентябре 1898 года Л.О. Пастернак по приглашению Л. Толстого ездил в Ясную Поляну. Ему было предложено иллюстрировать новый роман Толстого «Воскресенье».

\* \* \*

«...Роман по мере окончательной отделки глава за главой печатался в журнале „Нива“, у петербургского издателя Маркса. Работа была лихорадочная. Я помню отцову спешку. Номера журнала выходили регулярно, без опоздания. Надо было успеть к сроку каждого.

Толстой задерживал корректуры и в них все переделывал. Возникла опасность, что рисунки к начальному тексту разойдутся с его последующими изменениями. Но отец делал зарисовки там же, откуда писатель черпал свои наблюдения, – в суде, пересыльной тюрьме, в деревне, на железной дороге. От опасности отступлений спасал запас живых подробностей, общность реалистического смысла...»

Борис Пастернак.

Из очерка «Люди и положения»

Сад, окружавший флигель, зимой тонул в снегу. Дорожки чистили. Их окружали плотные белые стены сугробов. И всегда, в течение жизни, зимняя расчистка снега напоминала Пастернаку времена его детства. Воспоминания о наслаждении, которое доставляли игры со свежесвыпавшим снегом во дворе, он передал герою своего романа «Доктор Живаго», который принимал участие в расчистке заметенной железной дороги.

\* \* \*

«...Когда в светлом, галуном обшитом башлыке и тулупчике на крючках, туго ушитых в курчавую, черными колечками завивавшуюся овчину, маленький Юра кроил на дворе из такого же ослепительного снега пирамиды и кубы, сливочные торты, крепости и пещерные города! Ах, как вкусно было тогда жить на свете, какое все кругом было заглядение и объядение!»

\* \* \*

О детство! Ковш душевной глубин!

О всех лесов абориген,

Корнями вросший в самолюбье,

Мой вдохновитель, мой регент!

Из стихотворения «Клеветникам», 1917

В детскую память глубоко вошли елки, рождественский сочельник, зимние праздники дома и у знакомых, с маскарадами, свечами, изготовлением игрушек и подарками. Рождественская елка – для Пастернака стала символом детства. Воспоминаниям о елках и подаренных на Рождество первых детских книжках посвящено несколько стихотворений.

Жизнь

Ты вправлена в славу, осыпана хвоей,

Закапана воском и шарком

Паркетов и фрейлин, тупею в упое

От запаха краски подарков.

Со дней переплетов под лампой о крысах,

Орехах, балах, колымагах

Не выдохся спирт колеров и не высох  
Туман клеевой на бумагах.  
И Фаустов кафтан, и атласность корсажа  
Шелков Маргаритина лифа –  
Что влаге младенческих глаз – Битепажа [1]  
Пахучая сказкой олифа.

1918–1919

Вальс со слезой  
Как я люблю ее в первые дни  
Только что из лесу или с метели!  
Ветки неловкости не одолели.  
Нитки ленивые, без суетни  
Медленно переливая на теле,  
Виснут серебряною канителью.  
Пень под глухой пеленой простыни.  
Озолотите ее, осчастливьте, –  
И не смигнет, но стыдливая скромница  
В фольге лиловой и синей финифти  
Вам до скончания века запомнится.  
Как я люблю ее в первые дни,  
Всю в паутине или в тени.  
Только в примерке звезды и флаги,  
И в бонбоньерки не клали малаги [2] .  
Свечки не свечки, даже они  
Штифтики грима, а не огни.  
Это волнующаяся актриса  
С самыми близкими в день бенефиса.  
Как я люблю ее в первые дни  
Перед кулисами в кучке родни!  
Яблоне – яблоки, елочке – шишки.  
Только не этой. Эта в покое,  
Эта совсем не такого покроя.  
Это – отмеченная избранница.  
Вечер ее вековечно протянется.

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Этой нимало не страшно пословицы.

Ей небывалая участь готовится:  
В золоте яблок, как к небу пророк [3] ,  
Огненной гостью взмыть в потолок.  
Как я люблю ее в первые дни,  
Когда о елке толки одни!

1941

Вальс с чертовщиной  
Только заслышу польку вдали,  
Кажется, вижу в замочную скважину:  
Лампы задули, сдвинули стулья,  
Пчелками кверху порх фитили,  
Масок и ряженных движется улей.  
Это за щелкой елку зажгли.  
Великолепие выше сил  
Туши, и сепии, и белил,  
Синих, пунцовых и золотых  
Львов и танцоров, львиц и франтих.  
Реянье блузок, пенье дверей,  
Рев карапузов, смех матерей,  
Финики, книги, игры, нуга,  
Иглы, ковриги, скачки, бега.  
В этой зловещей сладкой тайге  
Люди и вещи на равной ноге.  
Этого бора вкусный цукат  
К шапок разбору рвут нарасхват.  
Душно от лакомств. Елка в поту  
Клеем и лаком пьет темноту.  
Все разметала, всем истекла,  
Вся из металла и из стекла.  
Искрится сало, брызжет смола  
Звездами в залу и зеркала  
И догорает до тла. Мгла.  
Мало-помалу толпою усталой  
Гости выходят из-за стола.



Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)

Шали, и боты, и башлыки.

Вечно куда-нибудь их занестишь!

Ставни, ворота и дверь на крюки.

В верхнюю комнату форточку настеть.

Улицы зимней синий испуг.

Время пред третьими петухами.

И возникающий в форточной раме

Дух сквозняка, задувающий пламя,

Свечка за свечкой явственно вслух:

Фук. Фук. Фук. Фук.

1941

Лишь только в Училище живописи кончались занятия, Пастернаки уезжали на юг. Поезд, Одесса, выезд на приморскую дачу приносили чувство свободы. Снимали дачу на Среднем фонтане. Море было под обрывистым берегом, и его присутствие ощущалось все время. Л.О. Пастернак, как и его жена, были отсюда родом, еще живы были их родители и многочисленные родственники, к которым возили показать своих детей. Особенно близки были с семьей младшей сестры Леонида Осиповича Анной Осиповной Фрейденберг, ее мужем и детьми. На даче жили вместе с ними. Оля Фрейденберг, двоюродная сестра и ровесница Бори, вспоминала об этом времени:

\* \* \*

«...Летом я всегда у дяди Ленчика на даче. Море. В комнатах пахнет чужим. По вечерам абажур. Тысячи мошек кружатся вокруг света... Боря очень нежный, но я его не люблю... Но Боря любит и прощает. Я гуляю с меньшим кузенком, Шуркой, и тот, затащив меня в кусты, колотит, а выручает всегда Боря; однако я предпочитаю Шурку.

Мы играем в саду. Запах гелиотропа и лилий, пахучий, на всю жизнь безвозвратный. Там кусты, и в них копошимся мы, дети; это лианы, это дремучие леса, это тени зарослей и листья... Там – первый театр. Я сочиняю патетические трагедии, а Шурка, ленивый и апатичный, нами избиваем. Мы играем, и Боря и я – одно. Мы безусловно понимаем друг друга...».

Ольга Фрейденберг.

Из «Записок»

\* \* \*

Придается всё.

Лишь тебе не дано примелькаться.

Дни проходят,

И годы проходят,

И тысячи, тысячи лет.

В белой рьяности волн,

Прячась

В белую пряность акаций

Может, ты-то их,

Море,  
И сводишь, и сводишь на нет.  
Ты на куче сетей.  
Ты курлычешь,  
Как ключ, балагурия,  
И, как прядь за ушком,  
Чуть щекочет струя за кормой.  
Ты в гостях у детей.  
Но какую неслыханной бурей  
Отзываешься ты,  
Когда даль тебя кличет домой!..  
Из поэмы «Девятьсот пятый год»  
\* \* \*  
Илистых плавней желтый янтарь,  
Блеск чернозема.  
Жители чинят снасть, инвентарь,  
Лодки, паромы.  
В этих низовьях ночи – восторг,  
Светлые зори.  
Пеной по отмели шорх – шорх  
Черное море..  
Было ли это? Какой это стиль?  
Где эти годы?  
Можно ль вернуть эту жизнь, эту быль,  
Эту свободу?

Из стихотворения «В низовьях», 1943

\* \* \*  
«...Весной 1903 года отец снял дачу в Оболенском, близ Малоярославца, по Брянской, ныне – Киевской железной дороге. Дачным соседом нашим оказался Скрябин. Мы и Скрябины тогда еще не были знакомы домами.

Дачи стояли на бугре вдоль лесной опушки, в отдалении друг от друга. На дачу приехали, как водится, рано утром. Солнце дробилось в лесной листве, низко свешивавшейся над домом. Расшивали и пороли рогожные тюки. Из них тащили спальные принадлежности, запасы провизии, вынимали сковороды, ведра. Я убежал в лес.

Боже и Господи сил, чем он в то утро был полон! Его по всем направлениям пронизывало солнце, лесная движущаяся тень то так, то сяк все время поправляла на нем шапку, на его подымающихся и опускающихся ветвях птицы заливались тем

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru) всегда неожиданным чириканьем, к которому никогда нельзя привыкнуть, которое сначала порывисто громко, а потом постепенно затихает и которое горячей и частой своей настойчивостью похоже на деревья вдаль уходящей чащи. И совершенно так же, как чередовались в лесу свет и тень и перелетали с ветки на ветку и пели птицы, носились и раскатывались по нему куски и отрывки Третьей симфонии или Божественной поэмы, которую в фортепианном выражении сочиняли на соседней даче...

Предполагалось, что сочинявший такую музыку человек понимает, кто он такой, и после работы бывает просветленно ясен и отдохновенно спокоен, как БОГ, в день седьмой почивший от дел своих. Таким он и оказался...

Он спорил с отцом о жизни, об искусстве, добре и зле, нападал на Толстого, проповедовал сверхчеловека, аморализм, нищезанство. В одном они были согласны – во взглядах на сущность искусства и задачи мастерства. Во всем остальном расходились...

...Скрябин покорял меня свежестью своего духа. Я любил его до безумия...

Я уже и раньше, до лета в Оболенском, немного брэнчал на рояле и с грехом пополам подбирал что-то свое. Теперь, под влиянием обожания, которое я питал к Скрябину, тяга к импровизациям и сочинительству разгорелась у меня до страсти. С этой осени я шесть следующих лет, все гимназические годы, отдал основательному изучению теории композиции, сперва под наблюдением тогдашнего теоретика музыки и критика благороднейшего Ю.Д. Энгеля, а потом под руководством профессора Р.М. Глиэра...».

Борис Пастернак.

Из очерка «Люди и положения»

\* \* \*

«...В ту осень возвращение наше в город было задержано несчастным случаем со мной. Отец задумал картину „В ночное“. На ней изображались девушки из села Бочарова, на закате верхом во весь опор гнавшие табун в болотистые луга под нашим холмом. Увязавшись однажды за ними, я на прыжке через широкий ручей свалился с разомчавшейся лошади и сломал себе ногу, сросшуюся с укорочением, что освобождало меня впоследствии от военной службы при всех призывах...»

Борис Пастернак.

Из очерка «Люди и положения»

\* \* \*

«...Борюша вчера слетел с лошади, и переломила ему лошадь бедро; к счастью, тут же был Гольдингер (хирург он), и бережно его уложили и перенесли. Немедленно вызвали хирурга хорошего (ассистента бывшего Боброва) и наложили ему гипсовую повязку и т. д. Слава Богу. Это случилось, когда я писал этюд с баб верхом и, на несчастье, он сел на неоседланную, а та, на грех, с горы стала шибко нести его, он потерял равновесие – вообразите, мы видели все это, как он под нее, и табун пронесся над ним, – о Господи, Господи!.. Сейчас сутки, как повязка сделана. Врачи успокаивают, что все прекрасно и только придется полежать в постели 6 недель...»

Л.О. Пастернак – П.Д. Эттингеру

Из письма 8 августа 1903

Но на следующий день поднялась температура, мальчик бредил. Отец ездил за врачом в Малоярославец. Человек удивительной отзывчивости, которая характеризовала лучших уездных врачей в России, Николай Матвеевич Петров сумел остановить начавшееся воспаление. «Врачом он был от Бога, – пишет о нем его внучка М.А. Тарковская. – У него была замечательная интуиция, которая сочеталась с опытом и знаниями, мягкие и точные руки хирурга». Отмечая десятилетие со дня своего падения с лошади, Пастернак связал свою вынужденную беспомощность и неподвижность с пробуждением «вкуса творчества» и началом своих занятий музыкой.

\* \* \*

«...Вот как сейчас лежит он в своей незатвердевшей гипсовой повязке, и через его

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
бред проносятся трехдольные синкопированные ритмы галопа и падения. Отныне ритм  
будет событием для него, и обратно, события станут ритмами; мелодия же,  
тональность и гармония – обстановкою и веществом события. Еще накануне,  
помнится, я не представлял себе вкуса творчества. Существовали только  
произведения, как внушенные состояния, которые оставалось только испытать на  
себе. И первое пробуждение в ортопедических путах принесло с собою новое:  
способность распоряжаться непрошеным, начинать собою то, что до тех пор  
приходило без начала и при первом обнаружении стояло уже тут, как природа...»

Борис Пастернак.

«Сейчас я сидел у раскрытого окна...», 1913

Чудесное спасение стало новым рождением, на мистические переживания наталкивал  
отмечавшийся в тот день, 6 августа, праздник Преображения Господня, одного из  
самых вдохновенных событий Евангелия. В память об этом, ровно через 50 лет, в  
августе 1953 года Пастернак написал стихотворение:

Я вспомнил, по какому поводу

Слегка увлажнена подушка.

Мне снилось, что ко мне на проводы

Шли по лесу вы друг за дружкой.

Вы шли толпою, врозь и парами,

Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня

Шестое августа по старому,

Преображение Господне.

Из стихотворения «Август», 1953

Скрябин перед своим отъездом за границу, за несколько дней до нового 1904 года,  
приходил к Пастернакам прощаться.

\* \* \*

Мне четырнадцать лет.

Вхутемас

Еще – школа ваянья.

В том крыле, где рабфак [4] ,

Наверху,

Мастерская отца.

В расстояньи версты,

Где столетняя пыль на Диане

И холсты,

Наша дверь.

Пол из плит,

И на плитах грязца.

Это – дебри зимы.

С декабря воцаряются лампы.

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Порт-Артур уже сдан [5] ,

Но идут в океан крейсера,

Шлют войска,

Ждут эскадр,

И на старое зданье почтамта

Смотрят сумерки,

Краски,

Палитры

И профессора.

Сколько типов и лиц!

Вот душевнобольной.

Вот тупица.

В этом теплится что-то.

А вот совершенный щенок.

В классах яблоку негде упасть

И жара как в теплице.

Звон у Флора и Лавра

Сливается

С шарканьем ног.

Как-то раз,

Когда шум за стеной,

Как прибой, неослабен,

Омут комнат недвижим

И улица газом жива, –

Раздается звонок,

Голоса приближаются:

Скрябин.

О, куда мне бежать

От шагов моего божества!

Близость праздничных дней.

Четвертные.

Конец полугодья.

Искрясь струнным нутром,

Дни и ночи

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Открыт инструмент.

Сочиняй хоть с утра,

Дни идут.

Рождество на исходе.

Сколько отдано елкам!

И хоть бы вот столько взамен.

Борис Пастернак.

Из поэмы «Девятьсот пятый год»

\* \* \*

«...Гимназистом третьего или четвертого класса я по бесплатному билету, предоставленному дядею, начальником петербургской товарной станции Николаевской железной дороги, один ездил в Петербург на рождественские каникулы. Целые дни я бродил по улицам бессмертного города, точно ногами и глазами пожирая какую-то гениальную каменную книгу, а по вечерам пропадал в театре Комиссаржевской. Я был отравлен новейшей литературой, бредил Андреем Белым, Гамсуном, Пшибышевским...»

Борис Пастернак.

Из очерка «Люди и положения»

\* \* \*

И спящий Петербург огромен,

И в каждой из его ячей

Скрывается живой феномен:

Безмолвный говор мелочей.

Пыхтят пары, грохочут тени,

Стучит и дышит машинизм.

Земля – планета совпадений.

Стеченье фактов любит жизнь.

В ту ночь, нагрянув не по делу,

Кому-то кто-то что-то бурк –

И юрк во тьму, и вскоре Белый

Задумывает «Петербург».

В ту ночь, типичный петербуржец,

Ей посвящает слух и слог

Кругам артисток и натурщиц

Еще малоизвестный Блок.

Ни с кем не знаясь, не знакомясь,

Дыша в ту ночь одним чутьем,

Они в ней открывают помесь

Обетованья с забытьем.

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)

Из первоначального варианта

стихотворения «9-е января», 1925

Сразу после нового года пришли известия о сдаче Порт-Артура, предрешившего исход Русско-Японской войны. О Кровавом воскресенье, то есть расстрел е мирной демонстрации 9 января в Петербурге, заговорили в первые дни возобновившихся занятий в гимназии. Волновались учебные заведения. Не ходили трамваи. А.Л. Пастернак вспоминал о потрясшем всех убийстве великого князя, случившемся 4 февраля 1905 года:

\* \* \*

«...Утром стоял я с отцом после завтрака у нашего большого окна в столовой. Вдруг в чистом, хрустально-прозрачном... морозном воздухе раздался непонятный, объемный, густой и оглушающий... воздушный удар. Отец, в прошлом артиллерист, сказал, что нет, нет – это не пушка! Скорее похоже на какой-нибудь взрыв, и большой силы... Через несколько часов, не помню как и от кого, мы узнали, что была брошена бомба в экипаж великого князя Сергея Александровича; он был попечителем училища, несколько раз я видел его на выставках, в классах училища... Именно потому, вероятно, он был для меня – да и вообще для нашей семьи... – не абстрактным именем..., а человеком, реально живущим...»

А.Л. Пастернак. Воспоминания

Снег идет третий день.

Он идет еще под вечер.

За ночь

Проясняется.

Утром –

Громовый раскат из Кремля:

Попечитель училища...

Насмерть...

Сергей Александрыч...

Я грозу любил

В эти первые дни февраля.

Из поэмы «Девятьсот пятый год»

Город становился центром революционных событий. В гимназии обстановка осложнялась уходом директора, ученики старших классов, начиная с 6-го, в котором был Пастернак, устроили общее совещание в зале, остановившее занятия. С начала октября стало опасно ходить по улицам, и с 15 октября занятия прекратились вовсе. Шли студенческие волнения, забастовки типографий, служащих трамваев, булочников. Разгоны собраний нагайками и выстрелами вызывали ответное вооружение студенческих и рабочих дружин. Вспоминая эти месяцы в поэме «Девятьсот пятый год», Пастернак несколькими штрихами рисует обстановку в гимназии:

\* \* \*

Мы играем в снежки.

Мы их мнем из валяющихся с неба

Единиц,

И снежинок,

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)

И толков, присущих поре.

Этот оползень царств,

Это пьяное паданье снега –

Гимназический двор

На углу Поварской

В январе.

Что ни день, то метель.

Те, что в партии,

Смотрят орлами.

Это в старших.

А мы

Безнаказанно греку дерзим.

Ставим парты к стене,

На уроках играем в парламент

И витаем в мечтах

В нелегальном районе Грузин.

Привычная жизнь остановилась. К шуму и крикам на улицах примешивался треск выстрелов. Л.О. Пастернак рисовал демонстрации и их разгон, агитаторов, говоривших с балкона Училища. В те же сутки, что был издан «Манифест» 17 октября с обещанием политических свобод, был убит студент Высшего Технического училища Э. Бауман.

\* \* \*

«...Его хоронила вся Москва 20 октября. Эти похороны мне запомнились, как врезанные в память. Мы, вся наша семья, кроме девочек, стояли, среди других из Училища, на балконе, между вздымающихся вверх колонн... Мы стояли черными неподвижными статистами и зрителями одновременно, потому что перед нами, под нами проходила в течение многих часов однообразная черная широкая лента шеренг мерно шагающих, молчащих и поникших людей, одна за другой, каждая по десять, кажется, человек... во всю ширину Мясницкой, мимо нас, к Лубянской площади.

Всего грознее было, когда люди, проходящие внизу, шли в полном молчании. Тогда это становилось так тяжело, что хотелось громко кричать. Но тут тишина прерывалась пением Вечной памяти или тогдашнего гимна прощания, гимна времени – «Вы жертвою пали...». И снова замолкнув, ритмично и тихо шли и шли – шеренга за шеренгой, много шеренг и много часов...».

Александр Пастернак.

«Воспоминания»

\* \* \*

Бауман!

Траурным маршем

Ряды колыхавшее имя!

Шагом,



Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)

Кланяясь флагам,  
Над полной голов мостовой  
Волочились балконы,  
По мере того,  
Как под ними  
Шло без шапок:  
«Вы жертвою пали  
В борьбе роковой».  
С высоты одного,  
Обеспамятев,  
Бросился сольный  
Женский альт.  
Подхватили.  
Когда же и он отрыдал,  
Смолкло все.  
Стало слышно,  
Как колет мороз колокольни.  
Вихри сахарной пыли,  
Свистя, пронеслись по рядам.  
Хоры стихли вдали.  
Залохматилась тьма.  
Подворотни  
Скрыли хлопья.  
Одернув  
Передники на животе,  
К Моховой от Охотного  
Двинулась черная сотня,  
Соревнуя студенчеству  
В первенстве и правоте.  
Борис Пастернак.  
Из поэмы «Девятьсот пятый год»

\* \* \*

«...В ответ на выступления студенчества после манифеста 17 октября буйствовавший охотнорядский сброд громил высшие учебные заведения, университет, Техническое училище. Училищу живописи тоже грозило нападение. На площадках парадной лестницы по распоряжению директора были заготовлены кучи бульжника и ввинчены шланги в

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
пожарные краны для встречи погромщиков.

В Училище заворачивали демонстранты из мимо идущих шествий, устраивали митинги в актовом зале, завладевали помещениями, выходили на балкон, произносили речи оставшимся на улице. Студенты Училища входили в боевые организации, в здании ночью дежурила своя дружина...»

Борис Пастернак.

Из очерка «Люди и положения»

Борис стремился принять участие в уличных событиях наравне со всеми. Отец с трудом удерживал его дома. Холода настали рано, отопление не работало. Трехлетняя Лидочка заболела крупозным воспалением легких. В детской, обогреваемой керосиновой лампой – «молнией», сосредоточилась вся семья. В один из этих критических дней Борис, улучив момент, исчез.

\* \* \*

«...Он пропадал долго, и мне самому стало уже не по себе. Лида стонала в бреду, мать была от волнения в полуобморочном состоянии. Отец шагал большими шагами от двери к окну, от окна к двери... Вдруг знакомо хлопнула входная дверь и в проеме комнатной двери появился Борис, но в каком виде! Фуражка была смята, шинель полурасстегнута, одна пуговица висела на треугольнике вырванного сукна, хлястик болтался на одной пуговице – а Боря сиял, уже одним этим выделяя себя из всей группы вокруг лампы. Из его, пока еще бессвязных восклицательных рассказов, постепенно уяснилось, что он, выйдя на Мясницкую и пройдя несколько вниз к Лубянке, столкнулся с бежавшей от Лубянки небольшой группой прохожих, в ней были и женщины, подхватившей в ужасе и Бориса. Они бежали, по-видимому, с самого Фуркасовского, от патруля драгун, явно издевавшегося над ними: они их гнали, как стадо скота, на неполной рыси, не давая, однако, опомниться. Но тут, у Банковского, где с ними столкнулся Борис, их погнали уже не шутя, и нагайки были пущены в полный ход. Особенно расправились они с толпой как раз у решетки почтамтского двора, куда Боря был кем-то прижат к решетке, и этот кто-то принял на себя всю порцию побоев, поджимая под себя рвущегося в бой Бориса. Все же и ему, как он сказал, изрядно досталось – по фуражке, к счастью, не слетевшей с головы, и по плечам. Он считал нужным испытать это как искус, как соучастие с теми, кому в те дни и не так попадало...»

Александр Пастернак.

«Воспоминания»

«Посул свобод» сменился нарастающим ожесточением властей. Последовало ультимативное предписание генерал-губернатора всем покинуть здание Училища. Пастернаки с больной девочкой не могли этого сделать. Директор Училища князь Львов советовал при первой возможности уехать из Москвы. В ходе сборов их застала всеобщая политическая забастовка, перешедшая в декабрьское восстание. Лишенный привычных занятий, Л.О. Пастернак вел в это время ежедневные записи:

« ...10 декабря. Орудийная непрекращающаяся пальба! Боже мой, сколько же это жертв, сколько невинных, сколько переживаемого страха смертельного, особенно для детей и семей. В осажденных крепостях, к моменту осады выезжают дети, женщины, семьи и лишь враждующие вооруженные идут на сознательный бой; а тут в городе, в разных местах, в узких переулках артиллерия дает залпы, гулом отдающие на целые версты. Вчера ночью мы услышали первые орудийные залпы в без четверти двенадцать, как раз против наших окон вспыхивал, как зарница, огонь и за ним оглушительный пушечный выстрел... Сегодня утром пошел смотреть и узнать, где стреляли из пушек. Училище Фидлера. Снесли целые куски стен 4-х этажного дома, рамы, окна и т. д... Присел, чтобы набросать, что мы пережили за эти два месяца, как собирались три раза уехать вплоть до 7 XII, когда за два часа до отъезда объявлена была эта всеобщая политическая забастовка, но перебрать все, что пережито было, что и как происходило – нет возможности.

16 декабря. До сегодняшнего дня происходит одно и то же. Уже неделя канонады, военного лагеря и всякой прочей прелести этому свойственной. Как надоели эти тупые, озверелые лица городских, спящих перед окнами взад и вперед солдат, патрулей, драгун, казаков, артиллерии с конвоем из пехоты, угрожающим тем, кто стоит у окна; как истомилась душа, нервы, мозг. Интересы все ниже и ниже и

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru) только инстинкт самосохранения говорит во всем и кругом. Какая жажда тишины, человеческого интереса, работы. Хоть бы в музей пойти. Как это все далеко, каким это кажется страшным языком: забастовка, рабочее, убито, ранено, подстрелены, разгромлены, разрушены, арестованы, избиты, искалечены, обезображены – вот что слышишь, видишь, читаешь, чем живешь вот уже более двух месяцев. О, Господи! – Неужели нам не удастся уйти от этого ужасного кошмара, чтобы собраться с мыслями и не быть слепой жертвой всего происходящего, – не играть глупой роли насильно стоящего пассивного зрителя, не сочувствующего и не могущего участвовать в насилиях, два месяца совершаемых друг над другом – правительством, партиями между собою. О, Господи, пора наступить концу непонятым, бессмысленным событиям!»

Бумаги были оформлены, и, как только пошли поезда, в конце декабря выехали всей семьей в Германию. Через несколько дней, уже из Берлина, Леонид Осипович сообщал своему другу, художественному критику и коллекционеру Павлу Давыдовичу Эттингеру, что устроились в очень хорошем пансионе и он сразу приступил к работе над заказным портретом:

«...Напишите, голубчик, как обстоит дело в Москве и в России – „поинтимнее“. Какая ужасная реакция, и чему можно завидовать – это что я перестал видеть этих зверей – солдат, городских, рожи этих всех надоевших мне до галлюцинации в Москве. Если бы Вы видели при отъезде нашем на Николаевском вокзале! Хуже военного лагеря! Пировали казаки, всюду жандармы, казарменная вонь, дух опричнины. Не забуду никогда...»

Художник изголодался по работе. Он писал портреты, сделал удачный офорт – портрет Толстого на фоне предгрозового неба и деревенских изб.

\* \* \*

«...Я был у Горького, показывал ему офорт с Толстого и он в такой раж пришел от него, что я не ожидал. На другой день решил ему презентовать один из пробных оттисков...»

Сделал несколько рисунков с Горького. Вместе с сыном ездили к нему в Целлендорф.

\* \* \*

«...Андреевой [6] не понравилось, что на рисунке скулы выступили, получились угловатыми. Она сказала: «Вы его не поняли. Он готический. Так тогда выразались».

Борис Пастернак.

Из очерка «Люди и положения»

Борис самостоятельно проходил школьную программу по «урокам», которые он получал от своего одноклассника. Из его писем, посланных гимназическому другу Леонтию Ригу, ясно видна интенсивность его жизни в Берлине.

«...Я занимаюсь ежедневно „науками“ по шести или семи часов, кроме того музыкой и читаю много...»

Я уже перебивал здесь почти во всех музеях и вообще очень близко познакомился с Берлином. Насколько здесь легко попасть на выставку, в музей и концерты, настолько трудно достать билет в оперу. Для всего Берлина есть только один Opernhaus! У кассы стоят уже в 6 часов утра, и для того, чтобы достать какое-нибудь место, надо встать в 5 часов утра, и за отсутствием конок в такой ранний час идти пешком из Шарлоттенбурга в Берлин. Такой утренний моцион я проделал уже четыре раза...

От немцев я стараюсь выжать все соки, которые могут быть мне полезны, то есть учусь у них всему, чему могу...»

Основной самостоятельности, которую Борис утверждал за собой, стали заочные занятия музыкой с Ю.Д. Энгелем. Решение задач по учебнику Римана чередовалось с импровизацией. Он регулярно ходил на симфонические и фортепианные концерты, брал с собой брата и потом много рассказывал ему о музыке, которую они слушали. В готическом соборе Ged d chtni skirche служил органист выдающегося таланта. А кустика и орган тоже были прекрасны. Свободное, смелое и основанное на глубоком знании традиции исполнение Баха и собственные инвенции музыканта нашли в последствии отражение в романтической новелле «История одной контроктавы». На лето выбрали недорогой морской курорт Герен на острове Рюген. Благоустроенный

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru) пляж с полосатыми кабинками и плетеными креслами бывал переполнен, но стоило отойти за скалистый мыс в соседнюю бухту, публики как не бывало и даже купальные костюмы становились излишеством. Сюда приехали и Ангели. Занятия с Борисом часто происходили на берегу.

\* \* \*

«...Встречи с Ю.Д. были ему радостным праздником и голгофой. Он искренне, почти физически, внутренне страдал, когда в своих упражнениях не достигал тех результатов, какие себе назначал – каких, быть может, вовсе и не ожидал от него сам Юлий Дмитриевич.

Из их разговоров, подчас очень жарких, я вполне понимал, что брат мой требовал от себя всегда гораздо большего, чем могло быть в его силах и возможностях, и о чем думал сам учитель...

Тут происходило нечто совсем, очевидно, странное и неожиданное. Вероятно, брат, напевая что-то, что он понимал продолжением только что высказанного Ангелем, пел на самом деле в другом, очевидно, развитии и в столь, вероятно, своеобразно новом ходе, что теперь уж в свою очередь удивлялся, ничего не понимая, как все это получилось, сам Ю.Д. Энгель. В неописуемом восторге, ошеломленный и огорченный неожиданностью новой композиции, которой сам он не предвидел, но которая взволновала какой-то новизной мысли, он вскакивал, махал руками, захлебываясь, как ему было в такие минуты свойственно и только и мог выдавливать, повторяя много раз – «ну, Боря! ах, Боря!» Затем, когда первый порыв – и у того и у другого – несколько спадал, появлялась нотная бумага, и оба они, теперь уже не учитель и ученик, а просто два музыканта, два близких человека, перебивая друг друга, чиркали по линейкам и вели себя, то напевая и насвистывая, то снова обращаясь к линейкам, – как либо пьяные, либо как сумасшедшие...»

Александр Пастернак.

«Воспоминания»

Из сохранившихся музыкальных сочинений Пастернака две прелюдии написаны им в 1906 году, первая датирована октябрём, вторая – 8 декабря.

Возвратились в Москву в середине августа, то есть к началу учебных занятий. Борис после сдачи экзаменов был переведен в седьмой, предпоследний класс гимназии. По будням он сочинял вечерами, а задачи по фуге и контрапункту решал на переменах и зачастую даже на уроках, если верить его воспоминаниям. Рояль стоял в гостиной, за стеной которой начинались архитектурные классы училища. Вечером шум там затихал, Борис сочинял и импровизировал до глубокой ночи, часто не зажигая света.

Лето 1907 года семейство проводило в старинном подмосковном имении Райки, расположенном на высоком северном берегу Клязьмы недалеко от Щелкова. Построенные в большом парке в разное время дома снимали знакомые семьи. Оставив детей на бабушку Берту Самойловну Кауфман и гувернантку, родители сочли возможным на месяц поехать в Европу. Целью путешествия было посещение Англии, куда Л.О. Пастернак был приглашен, чтобы нарисовать портрет девочки из аристократической семьи. Предполагалось также посещение Голландии и Бельгии.

Сохранились письма детей родителям, среди них письма Бориса, который в отсутствие отца вел его деловую переписку. Особый интерес представляют его письма другу отца, Павлу Давыдовичу Эттингеру. В них нашли выражение основы юношеского романтического мировосприятия, свойственного поколению. Письма Пастернака представляют собой литературное отражение его жизни и времени, не менее важное, чем его стихи и проза. Они оказываются основным материалом для его биографии, источником и комментарием к его произведениям, передавая впечатления и мысли в их первоначальном художественном воплощении. Начало огромного свода его переписки положено письмами 1906–1907 годов.

\* \* \*

«Дорогой Павел Давыдович!

Спасибо за Вашу открытку. До сих пор карта Западной Европы и особенно театра

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru) военных действий наших родителей довольно отчетливо представлялась нам. После переправы через Калэ я решительно не знаю, куда мне писать. Буду писать на Лондон. Пишем мы ежедневно, но так как папа и мама до сих пор нигде не останавливались, то поклоны, поцелуи и вообще наши ежедневные рапорты следуют за ними по пятам...

Что касается нас и Райков, то все осталось в том же виде, в котором это было до отъезда папы и мамы, так как две пары бдительных очей сменились одной, вдвое сильнейшей парой; как Вы знаете наверное от папы, бабушка – в Райках. Бабушка – это институт административного характера, нечто вроде общественного спасения и... что делать, мы «спасаемся», то есть ведем себя, как подвижники, не катаемся на лодке, присутствуем на вечерней переключке и вообще обуздываем свои аппетиты всевозможных родов. Впрочем, бабушка удивительно печет хлебы, так что аппетит низшего порядка утоляется нами великолепно. Что касается аппетита другого, то увы, я голоден как волк, и если волчий вой можно передать в музыкальных задачах минорного характера, то я достигаю совершенства в этом жанре и вою во все лопатки. Но я боюсь Ваших обвинений насчет прозаичности моих метафор, которые пахнут зоологическим садом...

Но что здесь, как и везде, восхитительно и никогда не надоедает, это природа. И как часто кажешься ничтожным, со всем своим исканием, со всем своим воем, перед каким-нибудь заходом солнца, когда оно обдаёт своим последним ровным и могучим красным дыханием (Боже, сколько прилагательных) все то великое, которого не замечает человек, когда чувствуется присутствие «святого» – красоты... И странно при виде красоты (что для меня святое святых), мой «экстаз» клонится к полюсу страдания. В этой красоте все время звучит для меня какое-то «повелительное наклонение»... пойми, сделай что-то, словом, какой-то императив, заставляющий искать той формы, в которой я мог бы реагировать на эту красоту. Углубление ли это в сущность фатума – то есть философия, ответ ли это красоте в форме восторга – искусство, – нет, это что-то неопределенное, неясное, мучительное.

На днях здесь Мамонтовы играли в четыре руки симфонию Бетховена, хорошо играли. Собиралась гроза. Знаете, в четвертой (или третьей) части этой симфонии есть длинный период, который идет все crescendo (весь оркестр) до апогея диссонанса – доминанты, до кульминационного пункта, где искусство требует поворота назад, вниз. Этот кульминационный пункт берется fortissimo (постепенно вырастая из могучего crescendo). И вот в этот момент прокатился первый гром, глухой, но ужасный, одновременно с аккордом всего оркестра. Это невозможно передать. Это было то, о чем я говорил, гений в форме искусства заключил брак с красотой стихии.

Не знаю, до чего бы договорился я, если бы не комитет общественного спасения и керосиновая лампа, которая выгорает. Спасибо прозе, а то бы люди не спали, не ели... В регионы же эти я залез по инерции, и если бы не лампа, то Бог знает, куда бы я еще попал.

Ну, всего лучшего.

Ваш Боря».

\* \* \*

«...На территории одного из новых домов Разгуляя во дворе сохранялось старое деревянное жильё домовладельца-генерала. В мезонине сын хозяина, поэт и художник Юлиан Павлович Анисимов, собирал молодых людей своего толка... Читали, музицировали, рисовали, рассуждали, закусывали и пили чай с ромом...

Здесь бывал ныне умерший Сергей Николаевич Дурылин, тогда писавший под псевдонимом Сергей Раевский. Это он переманил меня из музыки в литературу, по доброте своей сумев найти что-то достойное внимания в моих первых опытах.

Здесь университетский мой товарищ К.Г. Локс, которого я знал раньше, показал мне стихотворения Иннокентия Анненского, по признакам родства, которое он установил между моими писаниями и блужданиями и замечательным поэтом, мне тогда еще неведомым...»

Борис Пастернак.

Из очерка «Люди и положения»

\* \* \*

Февраль. Достать чернил и плакать!

Писать о феврале навзрыд,

Пока грохочущая слякоть

Весною черною горит.

Достать пролетку. За шесть гривен

Чрез благовест, чрез клик колес

Перенестись туда, где ливень

Еще шумней чернил и слез.

Где, как обугленные груши,

С деревьев тысячи грачей

Сорвутся в лужи и обрушат

Сухую грусть на дно очей.

Под ней проталины чернеют,

И ветер криками изрыт,

И чем случайней, тем вернее

Слагаются стихи навзрыд.

1912

\* \* \*

Сегодня мы исполним грусть его –

Так, верно, встречи обо мне сказали,

Таков был лавок сумрак. Таково

Окно с мечтой смятенною азалий.

Таков подъезд был. Таковы друзья.

Таков был номер дома рокового,

Когда внизу сошлись печаль и я,

Участники похода такового.

Образовался странный авангард.

В тылу шла жизнь. Дворы тонули в скверне.

Весну за взлом судили. Шли к вечерне,

И паперти косил повальный март.

И отрасли, одна другой доходней,

Вздымали крыши. И росли дома,

И опускали перед нами сходни.

1911, 1928

Пиры

Пью горечь тубероз, небес осенних горечь

И в них твоих измен горящую струю.

Пью горечь вечеров, ночей и людных сборищ,

Рыдающей строфы сырую горечь пью.

Исчадья мастерских, мы трезвости не терпим.

Надежному куску объявлена вражда.

Тревожный ветер ночей – тех здравиц виночерпьем,

Которым, может быть, не сбыться никогда.

Наследственность и смерть – застольцы наших трапез.

И тихую зарей – верхи дерев горят –

В сухарнице, как мышь, копается анапест,

И Золушка, спеша, меняет свой наряд.

Полы подметены, на скатерти – ни крошки,

Как детский поцелуй, спокойно дышит стих,

И Золушка бежит – во дни удач на дрожках,

А сдан последний грош, – и на своих двоих.

1913, 1928

\* \* \*

«...Я учился в университете. Я читал Гегеля и Канта. Времена были такие, что в каждую встречу с друзьями разверзались бездны, и то один, то другой выступал с каким-нибудь новоявленным откровением.

Часто подымали друг друга глубокой ночью. Повод всегда казался неотложным. Разбуженный стыдился своего сна, как нечаянно обнаруженной слабости. К перепугу несчастных домочадцев, считавшихся поголовно ничтожествами, отправлялись тут же, точно в смежную комнату, в Сокольники, к переезду Ярославской железной дороги. Я дружил с девушкой из богатого дома. Всем было ясно, что я ее люблю. В этих прогулках она участвовала только отвлеченно, на устах более бессонных и приспособленных...

Музыка, прощанье с которой я только еще откладывал, уже переплеталась у меня с литературой. Глубина и прелесть Белого и Блока не могли не открыться мне. Их влияние своеобразно сочеталось с силой, превосходившей простое невежество. Пятнадцатилетнее воздержание от слова, приносившегося в жертву звуку, обрекало на оригинальность, как иное увечье обрекает на акробатику...»

Борис Пастернак.

Из повести «Охранная грамота»

«Девушкой из богатого дома» здесь названа Ида Высоцкая, дочь известного чаоторговца, в доме которых Пастернак часто бывал в это время. Семья была богатая, с многочисленными родственниками и широким кругом знакомых. В их особняке в Чудовском переулке около Мясницких ворот устраивались артистические вечера для молодежи. Хозяин обладал хорошей коллекцией русской живописи, его старшие дочери Ида и Лена брали уроки рисования у Л.О. Пастернака.

Неизгладимый отпечаток оставила в душе Бориса встреча нового 1907 года в компании вместе с Идой Высоцкой, с этого времени он отсчитывал начало своей влюбленности в нее. Воспоминания об этом навсегда связались в его памяти с запахом мандариновой кожуры, который источал носовой платочек Иды: «она просила поддержать этот батистовый лепесток, которым она вытерла свои руки, липкие от шоколаду, орехов, мандарин и пирожного». Эта сцена стала сюжетом небольшого прозаического наброска, написанного, вероятно, в конце 1912 года после летнего объяснения с Идой:

\* \* \*

«...Однажды жил один человек, у которого было покинутое прошлое. Оно находилось на расстоянии шести лет от него, и к нему вела санная промерзлая дорога. Там была старая, замеченная снегом встреча нового года. Встреча происходила в комнате, из которой убрали ковры; комнату распластал праздничный полумрак. Чтобы свободнее было танцевать, лампу поместили на окно. Окно было во льду, и лампа обезобразила его. Потное, искалеченное инеем стекло гноилось и таяло, на подоконнике лежал веер и батистовый платок...»

Встреча Нового года была с нею и с товарищами.

Медленный и печальный вальс прислуживал ей за ее скрадывающимся танцем. Товарищи прятали свои слова в тенистый мглистый дым, заглушивший углы зала... Он дышал батистовым платком в эти минуты, над платком порхал аромат мандарин. Его страшно раздвинуло над этой крошечной вещицей. Ему стало головокружительно холодно от этих пространств. Простуженным звоном пробило половину двенадцатого. Перешли в столовую. Вот какое прошлое лежало в шести годах от него, сколько он ни жил...»

Те же образы использованы в стихотворении «Заместительница» из книги «Сестра моя жизнь».

Чтобы, комкая корку рукой, мандарина

Холодящие дольки глотать, торопясь

В опоясанный люстрой, позади, за гардиной,

Зал, испариной вальса запахший опять.

В романе «Доктор Живаго» пробуждение влюбленности, как чувство удивления и жалости, связано с теми же обстоятельствами:

\* \* \*

«...Платок издавал смешанный запах мандариновой кожуры и разгоряченной Тониной ладони, одинаково чарующий. Это было что-то новое в Юриной жизни, никогда не испытанное и остро пронизывающее сверху донизу. Детский наивный запах был задущебно-разумен, как какое-то слово, сказанное шепотом в темноте...»

Немецкая корреспондентка Пастернака Рената Швайцер в письме к нему отметила образное соответствие этого эпизода из романа и стихов китайского поэта.

«...Я и не подозревал, что у Ли Тай По есть такие строчки, это ослепительное совпадение. Я думал, что этот образ – запах мандариновой корки, смешанный с легкой испариной – особенность моих личных воспоминаний и опыта. И смотрите-ка, и здесь оказывается, что самое субъективное, если его правильно увидеть и назвать, оказывается общечеловеческим...»

В 1908 году Ида Высоцкая кончала гимназию. В «Охранной грамоте» Пастернак писал, как одновременно с собственной подготовкой взялся готовить ее к экзаменам:

«...Большинство моих билетов содержало отдели, легкомысленно упущенные в свое время, когда их проходили в классе. Мне не хватало ночей на их прохожденье. Однако урывками, не разбирая часов и чаще всего на рассвете я забегал к В „ысоцко“ и для занятий предметами, всегда расхोдившимися с моими, потому что порядок наших испытаний в разных гимназиях, естественно, не совпадал. Эта путаница осложняла мое положенье. Я ее не замечал. О своем чувстве к В „ысоцко“ и, уже не новом, я знал с четырнадцати лет.



Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Это была красивая, милая девушка, прекрасно воспитанная и с самого младенчества избалованная старухой француженкой, не чаявшей в ней души. Последняя лучше моего понимала, что геометрия, которую я ни свет ни заря проносил со двора ее любимице, скорее Абеярова, чем Эвклидова [7]. И, весело подчеркивая свою догадливость, она не отлучалась с наших уроков. Втайне я благодарил ее за вмешательство. В ее присутствии чувство мое могло оставаться в неприкосновенности. Я не судил его и не был ему подсуден. Мне было восемнадцать лет. По своему складу и воспитанию я все равно не мог и не осмелился бы дать ему волю...»

Весна выпускных экзаменов всегда остается в памяти временем глубокого душевного содержания, символом вдохновенной утренней свежести нового и неведомого. Экзамены были сданы блестяще, и в июне 1908 года «сыну академика живописи Борису Леонидовичу Пастернаку» был выписан «Аттестат зрелости за № 383 в том, что он при отличном поведении кончил полный восьмиклассный курс классической гимназии с отличными отметками по одиннадцати предметам и награждается золотой медалью». Через 10 дней он подал прошение ректору Московского университета о принятии в число студентов первого курса по юридическому факультету.

Из предметов консерваторского курса к 1909 году Пастернаку оставалось пройти только оркестровку. Под руководством молодого композитора Р.М. Глиэра Пастернак занимался фугой, формами и контрапунктом, но в январе 1909 года занятия временно прекратились. Ждали возвращения Скрябина из-за границы. Тот приехал, и 21 февраля 1909 года состоялся его концерт в Большом зале консерватории.

Это было первое исполнение «Поэмы Экстаза». Успех превзошел все ожидания.

\* \* \*

«...Это было первое поселенье человека в мирах, открытых Вагнером для вымыслов и мастодонтов. На участке возводилось невымышленное лирическое жилище, материально равное всей ему на кирпич перемолотой вселенной. Над плетнем симфонии зажигалось солнце Ван Гога...»

Без слез я не мог ее слышать. Она вгравировалась в мою память раньше, чем легла в цинкографические доски первых корректур. В этом не было неожиданности. Рука, ее написавшая, за шесть лет перед тем легла на меня с не меньшим весом...»

Борис Пастернак.

Из повести «Охранная грамота»

В один из дней начала марта Пастернак приехал в особняк С. Куссевицкого в Глазовском переулке, где остановился Скрябин, и сыграл ему свои сочинения.

\* \* \*

«...Первую вещь я играл с волнением, вторую – почти справясь с ним, третью – поддавшись напору нового и непредвиденного. Случайно взгляд мой упал на слушавшего.

Следуя постепенности исполнения, он сперва поднял голову, потом – брови, наконец, весь расцветши, поднялся и сам и, сопровождая изменения мелодии неуловимыми изменениями улыбки, поплыл ко мне по ее ритмической перспективе. Все это ему нравилось. Я поспешил кончить. Он сразу пустился уверять меня, что о музыкальных способностях нелепо говорить, когда налицо несравненно большее, и мне в музыке дано сказать свое слово...

Незаметно он перешел к более решительным наставленьям. Он справился о моем образовании, и узнав, что я избрал юридический факультет за его легкость, посоветовал немедленно перевестись на философское отделение историко-филологического, что я на другой день и исполнил...»

Борис Пастернак.

Из повести «Охранная грамота»

Скрябин рекомендовал серьезно отнестись к образованию, и совершенно неожиданно Борис Пастернак получил радикальную поддержку от Льва Толстого. В конце апреля в Ясной Поляне побывали родители. Домашний врач Толстого Д.П. Маковицкий в своем

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru) «Яснополянском дневнике» записал: «Пастернак, бывший юрист, рассказал про своего сына, поступившего на юридический факультет, что недоволен jus'ом „правоведением“ и переходит на филологический факультет». Применительно к юридическому образованию Толстой сказал: «Дело университетов состоит в том, чтобы оправдывать отжившие основы жизни. Это хуже для молодого человека, чем для девушки – проституция», – записал Маковицкий.

На следующий день по возвращении родителей в Москву, 2 мая 1909 года Борис Пастернак составил прошение декану историко-филологического факультета о зачислении студентом второго курса с осеннего семестра. Дополнительный экзамен по греческому языку он мог не сдавать, поскольку отлично выдержал этот экзамен при окончании классической гимназии.

Родителей не напрасно волновала смена факультета: серьезные занятия философией означали отказ от профессии музыканта.

\* \* \*

«...Музыку, любимый мир шестилетних трудов, надежд и тревог, я вырвал вон из себя, как растают с самым драгоценным. Некоторое время привычка к фортепианному фантазированию оставалась у меня в виде постепенно пропадающего навыка. Но потом я решил проводить свое воздержание круче, перестал прикасаться к роялю, не ходил на концерты, избегал встреч с музыкантами...»

Борис Пастернак.

Из очерка «Люди и положения»

\* \* \*

«...В то время и много спустя я смотрел на свои стихотворные опыты как на несчастную слабость и ничего хорошего от них не ждал. Был человек, С.Н. Дурылин, уже и тогда поддерживавший меня своим одобрением. Объяснялось это его беспримерной отзывчивостью. От остальных друзей, уже выдавших меня почти ставшим на ноги музыкантом, я эти признаки нового несовершеннолетия тщательно скрывал. Зато философией я занимался с основательным увлечением, предполагая где-то в ее близости зачатки будущего приложения к делу...»

Борис Пастернак.

Из повести «Охранная грамота»

Ида Высоцкая после окончания гимназии поехала учиться в Кембриджский университет. Она много путешествовала по Европе. Провадам и прощанию с ней посвящено стихотворение «Вокзал».

Вокзал

Вокзал, несгораемый ящик

Разлук моих, встреч и разлук,

Испытанный друг и указчик,

Начать – не исчислить заслуг.

Бывало, вся жизнь моя – в шарфе,

Лишь подан к посадке состав,

и пынут намордники гарпий [8] ,

Парами глаза нам застлав.

Бывало, лишь рядом усядусь –

и крышка. Приник и отник.

Прощай же, пора, моя радость!

я спрыгну сейчас, проводник.

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Бывало, раздвинется запад

В маневрах ненастий и шпал  
И примется хлопьями цапать,  
Чтоб под буфера не попал.  
И глохнет свисток повторенный,  
А издали вторит другой,  
И поезд метет по перронам  
Глухой многогорбой пургой.  
И вот уже сумеркам невтерпь,  
И вот уж, за дымом вослед,  
Срываются поле и ветер, –  
О, быть бы и мне в их числе!

1913, 1928

Сон  
Мне снилась осень в полусвете стекол,  
Друзья и ты в их шутовской гурьбе,  
И, как с небес добывший крови сокол,  
Спускалось сердце на руку к тебе.  
Но время шло, и старилось, и глохло,  
И паволокой рамы серебра,  
Заря из сада обдавала стекла  
Кровавыми слезами сентября.  
Но время шло и старилось. И рыхлый,  
Как лед, трещал и таял кресел шелк.  
Вдруг, громкая, запнулась ты и стихла,  
И сон, как отзвук колокола, смолк.  
Я пробудился. Был, как осень, темен  
Рассвет, и ветер, удаляясь, нес,  
Как за возом бегущий дождь соломин,  
Грядущим бегущих по небу берез.

1913, 1928

\* \* \*

«...Моя родная Ида! Ведь ничего не изменилось от того, что я не трогал твоего имени в течение месяца? Ты знаешь, ты владеешь стольким во мне, что даже когда мне нужно сообщить что-то важное некоторым близким людям, я не мог этого только потому, что ты во мне как-то странно требовала этого для себя. А тут в Москве произошло много сложного, чисто жизненного...

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Я сейчас вернулся от вас. Весь стол в розах, остроты и смех и темнота к концу – иллюминационное мороженое, как сказочные домики, плавающие во мраке мимо черно-синих пролетов в сад. А потом желтый зал с синими и голубыми платьями, и Зайкино [9] переодевание, танец апашей, имитации и много-много номеров с капустника и Летучей мыши... Какая-то легенда, разыгранная лучами пламени в зеркалах, сваями мрака в окнах, твоими прелестными сестрами и Зайкой, и скучной пепельной пошлостью остальных...»

Борис Пастернак– Иде Высоцкой.

Из письма весны 1910

К началу 1912 года переписка с Идой Высоцкой зашла в тупик. Ида становилась чем-то недосыгаемо нереальным и далеким, – как писал ей Пастернак:

«...этой тишиной, в которой перестаешь верить в то, что были когда-то весенние школьные дни, – ею довершается все. Боже мой, – все становится темнее и неподвижнее вокруг меня – одну за другою я растерял все свои черты, – теперь и ты, кажется, поставила на мне крест... Ты давно уже перестала отсутствовать и ведешь тот вид наполовину отвлеченного существования (на бумаге письма или в названии местности) – который ничего не знает о жизни...»

Пастернак писал ей, что пора довериться реальности, которая лишена

«...этой страшной опасности: притязательного ожидания оценки... Отчего мы бережемся того, что мы, может быть, ложно назвали миром взрослых, и зачем мы так ищем помощи других, чтобы приковать себя к какой-то загадке, тоже ложно обозначенной нами как „детство“...»

\* \* \*

«...Половину 1912 года, весну и лето, я пробыл за границей. Время наших учебных каникул приходится на Западе на летний семестр. Этот семестр я провел в старинном университете города Марбурга...»

Марбург – маленький средневековый город. Тогда он насчитывал 29 тысяч жителей. Половину составляли студенты. Он живописно лепится по горе, из которой добыт камень, пошедший на постройку его домов, замка и университета, и утопает в густых садах, темных, как ночь...»

Борис Пастернак.

Из очерка «Люди и положения»

\* \* \*

«...Улицы готическими карлицами лепились по крутизнам. Они располагались друг под другом и своими подвалами смотрели за чердаки соседних. Их теснины были заставлены чудесами коробчатого зодчества. Расширяющиеся кверху этажи лежали на выпущенных бревнах и, почти соприкасаясь кровлями, протягивали друг другу руки над мостовой. На них не было тротуаров. Не на всех можно было разойтись...»

«...Сестры „Высоцкие“ проводили лето в Бельгии. Стороной они узнали, что я – в Марбурге. В это время их вызвали на семейный сбор в Берлин. Проездом туда они пожелали меня проведать.

Они остановились в лучшей гостинице городка, в древнейшей его части. Три дня, проведенные с ними неотлучно, были не похожи на мою обычную жизнь, как праздники на будни. Без конца им что-то рассказывая, я упивался их смехом и знаками пониманья случайных окружающих. Я их куда-то водил. Обоих видели вместе со мною на лекциях в университете. Так пришел день их отъезда...

Утром, войдя в гостиницу, я столкнулся с младшей из сестер в коридоре. Взглянув на меня и что-то сообразив, она не здороваясь отступила назад и заперлась у себя в номере. Я прошел к старшей и, страшно волнуясь, сказал, что дальше так продолжаться не может и я прошу ее решить мою судьбу. Нового в этом, кроме одной настоятельности, ничего не было. Она поднялась со стула, пятясь назад перед явностью моего волнения, которое как бы наступало на нее. Вдруг у стены она вспомнила, что есть на свете способ прекратить все это разом, и – отказала мне...»

Борис Пастернак.

Из повести «Охранная грамота»

Марбург

Я вздрагивал. Я загорался и гас.

Я трясся. Я сделал сейчас предложение, –

Но поздно, я сдрейфил, и вот мне – отказ.

Как жаль ее слез! Я святого блаженней.

Я вышел на площадь. Я мог быть сочтен

Вторично родившимся. Каждая малость

Жила и, не ставя меня ни во что,

В прощальном значении своем подымалась.

Плитняк раскалялся, и улицы лоб

Был смугл, и на небо глядел исподлобья

Булыжник, и ветер, как лодочник, греб

По липам. И все это были подобья.

Но, как бы то ни было, я избегал

Их взглядов. Я не замечал их приветствий.

Я знать ничего не хотел из богатств.

Я вон вырывался, чтоб не разреветься.

Инстинкт прирожденный, старик-подхалим,

Был невыносим мне. Он крался бок о бок

И думал: «Ребьячья зазноба. За ним,

К несчастью, придется присматривать в оба».

«Шагни, и еще раз», – твердил мне инстинкт

И вел меня мудро, как старый схоластик,

Чрез девственный непроходимый тростник

Нагретых деревьев, сирени и страсти.

«Научись шагом, а после хоть в бег», –

Твердил он, и новое солнце с зенита

Смотрело, как сызнава учат ходьбе

Туземца планеты на новой планиде.

Одних это все ослепляло. Другим –

Той тьмою казалось, что глаз хоть выколи.

Копались цыплята в кустах георгин,

Сверчки и стрекозы, как часики, тикали.

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Плыла черепица, и полдень смотрел,

Не смаргивая, на кровли. А в Марбурге  
кто, громко свища, мастерил самострел,  
кто молча готовился к Троицкой ярмарке.  
Желтел, облака пожирая, песок.  
Предгрозые играло бровями кустарника.  
и небо спекалось, упав на кусок  
Кровоостанавливающей арники.  
В тот день всю тебя, от гребенок до ног,  
как трагик в провинции драму Шекспирову,  
носил я с собою и знал на зубок,  
шатался по городу и репетировал.  
Когда я упал пред тобой, охватив  
Туман этот, лед этот, эту поверхность  
(Как ты хороша!) – этот вихрь духоты..  
О чем ты? Опомнись! Пропало.. Отвергнут.  
Тут жил Мартин Лютер. Там – братья Гримм.  
Когтистые крыши. Деревья. Надгробья.  
и все это помнит и тянется к ним.  
Все – живо. и все это тоже – подобья.  
Нет, я не пойду туда завтра. Отказ –  
Полнее прощанья. Все ясно. Мы квиты.  
Вокзальная суতোлка не про нас.  
что будет со мною, старинные плиты?  
Повсюду портпледы разложит туман,  
и в обе оконницы вставят по месяцу.  
Тоска пассажиркой скользнет по томам  
и с книжкой на оттоманке поместится.  
чего же я трушу? Ведь я, как грамматику,  
Бессонницу знаю. У нас с ней союз.  
Зачем же я, словно прихода лунатика,  
явления мыслей привычных боюсь?  
Ведь ночи играть садятся в шахматы  
со мной на лунном паркетном полу,

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Акацией пахнет, и окна распахнуты,

И страсть, как свидетель, сидит в углу.

И тополь – король. Я играю с бессонницей.

И ферзь – соловей. Я тянусь к соловью.

И ночь побеждает, фигуры сторонятся,

я белое утро в лицо узнаю.

1916, 1928, 1945.

\* \* \*

«...Мне хочется рассказать тебе, как однажды в Марбурге со всею целостностью и властной простотой первого чувства пробудилось оно во мне, как сказало оно до того подкупающе ясно, что вся природа этому сочувствовала и на это благословляла – здесь не было пошлых слов и признаний, и это было безотчетно, скоропостижно и лаконично, как здоровье и болезнь, как рождение и смерть. Мне хочется рассказать тебе и про то, как проворонил эту минуту (как известно, она в жизни уже больше не повторяется) глупый и незрелый инстинкт той, которая могла стать обладательницей не только личного счастья, но счастья всей живой природы в этот и в следующие часы, месяцы и, может быть, – годы: потому что в этом ведь только и заключается таинственная прелесть естественности, подавленной ложными человеческими привычками, развратом опытности и развратом морали...»

Борис Пастернак – Леониду Пастернаку.

Из письма мая 1916

Но в те жаркие летние дни и бессонные ночи 1912 года было далеко до такой определенности. Смятенность преодолевалась усиленными занятиями.

\* \* \*

«...Когда уехали Ида и Лена, то после двух-трех дней полной покинутости меня стали замечать здесь; я уже говорил в двух семинариях, в одном сошел за знатока Лейбница и мне навязали реферат. Сегодня я давал продолжительные объяснения без некоторого пафоса о Когеновской логике у Наторпа... [10] . На этой неделе я, значит, открыл шлюзы, и небезуспешно...»

Я думаю взять реферат у Когена...»

Борис Пастернак – Александру Пастернаку.

8 июня 1912

События, пережитые летом 1912 года в Марбурге, определили дальнейшее развитие судьбы Пастернака. Отправляясь в Марбург, он с самыми серьезными намерениями готовился познакомиться с вершинами современной философии и проверить свои силы. Когда же он в августе вернулся в Москву, у него не оставалось сомнений в том, что его истинное призвание – искусство. Лето 1912 года он считал началом своей литературной биографии, написанные тогда стихотворения и навеянные пребыванием здесь картины и образы, составили тематическое содержание его первых лирических книг и были пронесены в памяти через всю жизнь. В «Охранной грамоте» и стихотворении «Марбург» события этого лета представлены как победа призвания над самоубийственными тенденциями молодости.

\* \* \*

«...Удивительно, что я не тогда же уехал на родину. Ценность города была в его философской школе. Я в ней больше не нуждался. Но у него объявилась другая...»

Я ездил к сестре во Франкфурт и к своим, к тому времени перебравшимся в Баварию. Ко мне наезжал брат, а потом отец. Но ничего этого я не замечал. Я основательно занялся стихописаньем. Днем и ночью и когда придется я писал о море, о рассвете, о южном дожде, о каменном угле Гарца...»

Борис Пастернак.

Из повести «Охранная грамота»

Красота города как воплощение многовековой истории, природа и готика, делающие «таким самоочевидным исключительное положение искусства», неотступно требовали отклика и ответа. Дав себе волю следовать своим впечатлениям и воображению, Пастернак стал поэтом.

Родители собирались в Италию и звали с собой Бориса. «Прощай, философия, прощай, молодость...» – эти слова из «Охранной грамоты» выгравированы теперь на бронзовой доске, вделанной в фасад дома, где Пастернак прожил три летних месяца 1912 года.

\* \* \*

«...У меня остались крохи от средств, отложенных на жизнь и учение в Германии. На этот неизрасходованный остаток я съездил в Италию. Я видел Венецию, кирпично-розовую и аквамаринно-зеленую, как прозрачные камешки, выбрасываемые морем на берег, и посетил Флоренцию, темную, тесную и стройную, – живое извлечение из дантовских терцин [11]. На осмотр Рима у меня не хватило денег...».

Борис Пастернак.

Из очерка «Люди и положения»

\* \* \*

«...Итак, и меня коснулось это счастье. И мне посчастливилось узнать, что можно день за днем ходить на свиданья с куском застроенного пространства, как с живой личностью.

С какой стороны ни идти на пьядцу, на всех подступах к ней стережет мгновенье, когда дыханье учащается и, ускоряя шаг, ноги сами начинают нести к ней навстречу. Со стороны ли мерчерии или телеграфа дорога в какой-то момент становится подобьем преддверья, и, раскинув свою собственную, широко расчерченную поднебесную, площадь выводит, как на прием: кампанилу, собор, дворец дождей и трехстороннюю галерею.

Постепенно привязываясь к ним, склоняешься к ощущенью, что Венеция – город, обитаемый зданьями – четырьмя перечисленными и еще несколькими в их роде. В этом утверждении нет фигуральности. Слово, сказанное в камне архитекторами, так высоко, что до его высоты никакой риторике не дотянуться...

В стихах я дважды пробовал выразить ощущение, навсегда связавшееся у меня с Венецией. Ночью перед отъездом я проснулся в гостинице от гитарного арпеджио, оборвавшегося в момент пробуждения. Я поспешил к окну, под которым плескалась вода, и стал вглядываться в даль ночного неба так внимательно, точно там мог быть след мгновенно смолкнувшего звука. Судя по моему взгляду, посторонний сказал бы, что я спросонья исследую, не взошло ли над Венецией какое-нибудь новое созвездие, со смутно готовым представленьем о нем как о Созвездьи гитары...»

Борис Пастернак.

Из повести «Охранная грамота»

Вскоре по возвращении этот незабываемый город стал темой стихотворения, к которому Пастернак возвращался снова в 1928-м, добываясь большего пластического соответствия виденному.

Венеция

Я был разбужен спозаранку

Щелчком оконного стекла.

Размокшей каменной баранкой

В воде Венеция плыла.

Все было тихо, и, однако,



Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)

Во сне я слышал крик, и он  
Подобьем смолкнувшего знака  
Еще тревожил небосклон.  
Он вис трезубцем Скорпиона  
Над гладью стихших мандолин  
И женщиною оскорбленной,  
Быть может, издан был вдали.  
Теперь он стих и черной вилкой  
Торчал по черенку во мгле.  
Большой канал с косою ухмылкой  
Оглядывался, как беглец.  
Туда, голодные, противясь,  
Шли волны, шлендая с тоски,  
И гондолы рубили привязь,  
Точа о пристань тесаки.  
За лодочную их стоянкой  
В остатках сна рождалась явь.  
Венеция венецианкой  
Бросалась с набережных вплавь.

1913, 1928

В середине августа Пастернак приехал к родителям, жившим в русском пансионе поселка Марина ди Пиза. Через неделю туда приехала из Швейцарии Ольга Фрейденберг.

\* \* \*

«...У дяди меня встретили с восторгом. Только Боря держался отчужденно. Он, видимо, переживал большой духовный рост... По вечерам черная итальянская ночь наполнялась необычайной музыкой – это он импровизировал, а тетя, большой и тонкий музыкант, сидела у темного окна и вся дрожала. Мы поехали с Борей осматривать Пизу – собор, башню, знаменитую падающую... Я хотела смотреть и идти дальше, охватывать впечатлением и забывать. А Боря с путеводителем в руках, тщательно изучал все детали собора, все фигуры барельефов, все карнизы и порталы. Меня это бесило. Его раздражало мое легкомыслие. Мы ссорились. Я отошла в сторону, а он наклонялся, читал, опять наклонялся, всматривался, ковырялся. Мы уже не разговаривали друг с другом... Я мечтала удрать...»

Ольга Фрейденберг.

Записки

Пастернак возвращался в Москву через Феррару, Инсбрук и Австрию.

\* \* \*

«...По черной неблагодарности, глубоко вообще вкорененной в человека, я находил, что мне в Италии недостает глубины и тяжеловесности германского духа... Позднее в Вене я понял, какое наказание попасть из Италии в другую страну... Тут я измерил, как артистична итальянская улица, как одарен и гениален ее звук и воздух, и

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
насколько бездарным кажется людское прозябанье после ее, немного мошеннического  
оптимизма...»

Борис Пастернак – Раисе Ломоносовой.

Из письма 20 мая 1927

Предстояло окончание университета, последний год, работа над дипломом.

\* \* \*

«...Между тем приближалось время государственных экзаменов... Кроме этого следовало написать так называемое „кандидатское сочинение“, дававшее право на диплом первой степени. Я выбрал тему по теории знания у Бергсона и Шопенгауэра, Пастернак – по философии Когена. Мы оба работали в университетской библиотеке, сидя недалеко друг от друга. Я видел, как большая кипа бумаги с каждым днем росла возле моего друга. Он писал быстро, не отрываясь, я старался не отставать от него...»

К.Г.Локс.

Из «Повести об одном десятилетии»

Весной 1913 года, одновременно с экзаменами вышел альманах «Лирика», в который вошли пять стихотворений Пастернака. Характеризуя эти стихотворения, Локс писал: «То был подлинно свой голос, еще не в полной силе, но уже в основной тональности... Все дело в том, что для Пастернака слово было не смысловой или логической категорией, а, если так можно выразиться, полифонической. Оно могло пленять его своим музыкальным акцентом или же вторичным и глубоко скрытым в нем значением... Но самое важное заключалось в особом восприятии мира...»

Зимняя ночь

Не поправить дня усильями светилен,

Не поднять теням крещенских покрывал.

На земле зима, и дым огней бессилен

Распрямить дома, полегшие вповал.

Булки фонарей и пышки крыш, и черным

По белу в снегу – косяк особняка:

Это – барский дом. И я в нем гувернером.

Я один – я спать усладил ученика.

Никого не ждут. Но – наглухо портьеру.

Тротуар в буграх, крыльцо замечено.

Память, не ершись! Срастись со мной! Уверуй

И уверь меня, что я с тобой – одно.

Снова ты о ней? Но я не тем взволнован.

Кто открыл ей сроки, кто навел на след?

Тот удар – исток всего. До остального,

Милостью ее, теперь мне дела нет.

Тротуар в буграх. Меж снеговых развилин

Вмерзшие бутылки голых черных льдин.

Булки фонарей, и на трубе, как филин,

Потонувший в перьях, нелюдимый дым.

1913, 1928

С осени 1914 Пастернак более года проработал домашним учителем в семье богатого коммерсанта Морица Филиппа, гувернером его сына Вальтера, который сохранил самые теплые воспоминания об этом времени:

«...Борю в роли учителя я вспоминаю сравнительно хорошо, он очень увлекательно рассказывал, на какую бы тему мы ни говорили, и всегда старался объяснить мне все просто и ясно – будь то физика, история или литература. Но меня тогда интересовали темы реальные, технические, а никак не абстрактные...

Он переводил Клейста «Разбитый кувшин» – я помню, как мы вместе читали корректуры. Он комментировал мне почти каждый стих и указывал намерения поэта, скрывавшиеся под излагаемыми строками...»

\* \* \*

«...Лето после государственных экзаменов я провел у родителей на даче в Молодях, близ станции Столбовой по Московско-Курской железной дороге.

В доме по преданию казаки нашей отступавшей армии отстреливались от наседавших передовых частей Наполеона. В глубине парка, сливавшегося с кладбищем, зарастали и приходили в ветхость их могилы...

Под парком вилась небольшая речка, вся в крутых водорослях. Над одним из омутов полуоборвалась и продолжала расти в опрокинутом виде большая старая береза.

Зеленая путаница ее ветвей представляла висевшую над водой воздушную беседку. В их крепком переплетении можно было расположиться сидя или полулежа. Здесь обосновал я свой рабочий угол. Я читал Тютчева и впервые в жизни писал стихи не в виде редкого исключения, а часто и постоянно, как занимаются живописью или пишут музыку.

В гуще этого дерева я в течение двух или трех летних месяцев написал стихотворения своей первой книги...»

Борис Пастернак.

Из очерка «Люди и положения»

Книга Пастернака «Близнец в тучах» вышла в конце 1913 года в маленьком издательстве «Лирика», созданном на началах складчины друзьями из литературного кружка.

\* \* \*

«...В нее вошло двадцать одно стихотворение, хотя написано к тому времени было значительно больше. Одна тетрадь неизданных стихов хранилась у меня, затем автор отобрал ее и какова была ее участь – не знаю. В выборе стихов деятельное участие, по-видимому, принимали Бобров и Асеев, что, по всей вероятности, сказалось на составе книги. Как следует из предисловия, книга „Близнец в тучах“ рассматривалась как объявление войны символизму, хотя налет символизма в ней достаточно силен. Правильней было бы сказать – это была новая форма символизма, все время не упускавшая из виду реальность восприятия и душевного мира. Последнее придало книге свежесть и своеобразное очарование, несмотря на то, что каждое стихотворение в известном смысле представляло собой ребус.

Пастернак не был гротескным поэтом. Несмотря на все своеобразие взгляда, он не искажал, а только перемещал вещи и их контуры. По существу он был идеалистом, и темы имели для него огромное значение. Тему он не давал в земной ограниченности, загромаждая ее космическими и просто встреченными по дороге частностями. Из непонимания этой его особенности и проистекали все недоразумения, связанные с критикой и оценкой. Помимо скрытого смысла, стихотворения имели свою собственную музыкальную стихию, осложнявшую этот смысл новой семантикой не логического, а музыкального характера. Вот почему «Близнец в тучах» вызвал как восторженное признание ценителей поэзии, учувших новое и могучее дарование, так и идиотский смех эпигонов, создавших себе кумир из заветов Пушкина...»

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
К.Г. Локс.

Из «Повести об одном десятилетии»

\* \* \*

«...Писать эти стихи, перемарывать и восстанавливать зачеркнутое было глубокой потребностью и доставляло ни с чем не сравнимое, до слез доводящее удовольствие.

Я старался избегать романтического наигрыша, посторонней интересности... Я не добивался отчетливой ритмики, плясовой или песенной, от действия которой почти без участия слов сами собой начинали двигаться ноги и руки. Я ничего не выражал, не отображал, не изображал...

Совсем напротив, моя постоянная забота обращена была на содержание, моей постоянной мечтою было, чтобы само стихотворение нечто содержало, чтобы оно содержало новую мысль или новую картину. Чтобы всеми своими особенностями оно было вгравировано внутрь книги и говорило с ее страниц всем своим молчанием и всеми красками своей черной бескрасочной печати.

Например, я писал стихотворение «Венеция» или стихотворение «Вокзал». Город на воде стоял передо мной, и круги и восьмерки его отражений плыли и множились, разбухая, как сухарь в чаю. Или вдали, в конце путей и перронов, возвышался весь в облаках и дымах, железнодорожный прощальный горизонт, за которым скрывались поезда и который заключал целую историю отношений, встречи и проводы и события до них и после них.

Мне ничего не надо было от себя, от читателей, от теории искусства. Мне нужно было, чтобы одно стихотворение содержало город Венецию, а в другом заключался Брестский, ныне Белорусско-Балтийский вокзал...»

Борис Пастернак.

Из очерка «Люди и положения»

\* \* \*

Когда за лиры лабиринт

Поэты взор вперят,

Налево развернется Инд,

Правей пойдет Евфрат.

А посреди меж сим и тем

Со страшной простотой

Легенде ведомый Эдем

Взовьет свой ствольный строй.

Он вырастет над пришлецом

И прошумит: мой сын!

Я историческим лицом

Вошел в семью лесин.

Я – свет. Я тем и знаменит,

Что сам бросаю тень.

Я – жизнь земли, ее зенит,

Ее начальный день.

1913, 1928

Зима  
Прижимаюсь щекою к воронке  
Завитой, как улитка, зимы.  
«По местам, кто не хочет – к сторонке!»  
Шумы-шорохи, гром кутерьмы.  
«Значит – в „море волнуется“? в повесть,  
Завивающуюся жгутом,  
Где вступают в черед не готовясь?  
Значит – в жизнь? Значит – в повесть о том,  
Как нечаян конец? Об уморе,  
Смехе, сутолоке, беготне?  
Значит – вправду волнуется море  
И стихает, не справясь о дне?»  
Это раковины ли гуденье?  
Пересуды ли комнат-тихонь?  
Со своей ли поссорившись тенью,  
Громыхает заслонкой огонь?  
Поднимаются вздохи отдушин  
И осматриваются – и в плач.  
Черным храпом карет перекушен,  
В белом облаке скачет лихач.  
И невыполотые заносы  
На оконный ползут парапет.  
За стаканчиками купороса  
Ничего не бывало и нет [12] .

1913, 1928

\* \* \*

Встав из грохочущего ромба  
Передрассветных площадей,  
Напев мой опечатан plombой  
Неизбываемых дождей.  
Под ясным небом не ищите  
Меня в толпе сухих коллег.  
Я смок до нитки от наитий,  
И север с детства мой ночлег.

Он весь во мгле и весь – подобье  
Стихами отягченных губ,  
С порога смотрит исподлобья,  
Как ночь, на объясненья скуп.  
Мне страшно этого субъекта,  
Но одному ему вдогад,  
Зачем не нареченный некто, –  
Я где-то взят им напрокат.

1913, 1928

\* \* \*

«...Наступила зима, Рождество, на Масленичной неделе я сидел у себя в Брянских комнатах и писал статью об Апулее, изредка встречаясь с Борисом, который вдруг ушел от родителей и поселился в крохотной комнатке в Лебяжьем переулке. За это время я сравнительно редко встречался с ним. Знал, что он дружит с Асеевым и тремя сестрами Синяковыми, приехавшими в Москву из Харькова. Вспомнил я об этом вот почему. На столе в крохотной комнатке лежало Евангелие. Заметив, что я бросил на него вопросительный взгляд, Борис вместо ответа начал мне рассказывать о сестрах Синяковых. То, что он рассказывал, и было ответом. Ему нравилась их дикая биография.

В посаде, куда ни одна нога  
Не ступала, лишь ворожеи да вьюги  
Ступала нога, в бесноватой округе,  
Где и то, как убитые, спят снега...»  
К.Г. Локс.

Из «Повести об одном десятилетии»

Метель  
1

В посаде, куда ни одна нога  
Не ступала, лишь ворожеи да вьюги  
Ступала нога, в бесноватой округе,  
Где и то, как убитые, спят снега, –  
Постой, в посаде, куда ни одна  
Нога не ступала, лишь ворожеи  
Да вьюги ступала нога, до окна  
Дохлестнулся обрывок шальной шлеи.  
Ни зги не видать, а ведь этот посад  
Может быть в городе, в Замоскворечьи,  
В Замостьи, и прочая (в полночь забредший  
Гость от меня отшатнулся назад).

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)

Послушай, в посаде, куда ни одна  
Нога не ступала, одни душегубы,  
Твой вестник – осиновый лист, он безгубый,  
Безгласен, как призрак, белей полотна!  
Метался, стучался во все ворота,  
Кругом озирался, смерчком с мостовой..  
– Не тот это город, и полночь не та,  
И ты заблудился, ее вестовой!  
Но ты мне шепнул, вестовой, неспроста.  
В посаде, куда ни один двуногий..  
Я тоже какой-то.. я сбился с дороги:  
– Не тот это город, и полночь не та.

2

Все в крестиках двери, как в Варфоломееву  
Ночь [13] . Распоряженья пурги-заговорщицы:  
Заваливай окна и рамы заклеивай,  
Там детство рождественской елью топорщится.  
Бушует бульваров безлиственных заговор,  
Они поклялись извести человечество.  
На сборное место, город! За город!  
И вьюга дымится, как факел над нечистью.  
Пушинки непрошено валяются на руки.  
Мне страшно в безлюдьи пороши разнузданной.  
Снежинки снуют, как ручные фонарики.  
Вы узнаны, ветки! Прохожий, ты узнан!  
Дыра полыньи, и мерещится в музыке  
Пурги: – Колиньи, мы узнали твой адрес!  
Секиры и крики: – Вы узнаны, узники  
Уята! – и по двери мелом – крест-накрест.  
Что лагерем стали, что подняты на ноги  
Подонки творенья, метели – сполагоря.  
Под праздник отправятся к праотцам правнуки.  
Ночь Варфоломеева. За город, за город!

1914, 1928

\* \* \*

«...Боря начал поздно. Но и это еще не все! Мало того, что он взялся за стих, не имея маленького опыта (в пустяках хотя бы!), но он тащил в стих такое огромное содержание, что оно в его полудетский (по форме) стих не то, что не лезло, а влезая, разрывало стих в куски, обращало стих в осколки стиха, он распадался просто под этим гигантским напором. А я, видя все это, не мог решиться тащить его к прописям стихотворства (которые были так полезны для Асеева, стихотворца изумительно-переимчивого, стихотворца – как такового, пар экселлянс), ибо явственная трагедия Бори была не в трудностях со стихом, а в одиночестве непостижимого для окружающих содержания, за которое я только и хватался, умоляя его не слушать никаких злоречий, а давать свое во что бы то ни стало».

Сергей Бобров.

Воспоминания

Последняя весна мирного времени отразилась в лирических стихах Пастернака ярким отблеском прощального одухотворения.

\* \* \*

«...Превратности истории были так близко. Но кто о них думал? Аляповатый город горел финифтью и фольгой, как в „Золотом петушке“ [14]. Блестела лаковая зелень тополей. Краски были в последний раз той ядовитой травянистости, с которой они вскоре навсегда расстались...».

Борис Пастернак.

Из повести «Охранная грамота»

Весна

1

Что почек, что клейких заплывших огарков

Налеплено к веткам! Затеplen

Апрель. Возмужалостью тянет из парка,

И реплики леса окрепли.

Лес стянут по горло петлею пернатых

Гортаней, как буйвол арканом,

И стонет в сетях, как стенает в сонатах

Стальной гладиатор органа.

Поэзия! Греческой губкой в присосках [15]

Будь ты, и меж зелени клейкой

Тебя б положил я на мокрую доску

Зеленой садовой скамейки.

Расти себе пышные брыжжи и фижмы,

Вбирай облака и овраги,

А ночью, поэзия, я тебя выжму

Во здравие жадной бумаги.

2

Весна! Не отлучайтесь



Сегодня в город. Стаями  
По городу, как чайки,  
Льды раскричались, таючи.  
Земля, земля волнуется,  
И катятся, как волны,  
Чернеющие улицы –  
Им, ветренницам, холодно.  
По ним плывут, как спички,  
Сгорая и захлебываясь,  
Сады и электрички –  
Им, ветренницам, холодно.  
От кружки синевы со льдом,  
От пены буревестников  
Вам дурно станет. Впрочем, дом  
Кругом затоплен песнью.  
И бросьте размышлять о тех,  
Кто выехал рыбачить.  
По городу гуляет грех  
И ходят слезы падших.

З

Разве только грязь видна вам,  
А не скачет таль в глазах?  
Не играет по канавам –  
Словно в яблоках рысак?  
Разве только птицы cedят,  
В синем небе щибеча,  
Ледяной лимон обеден [16]  
Сквозь соломину луча?  
Оглянись, и ты увидишь  
До зари, весь день, везде,  
С головой Москва, как Китеж, –  
В светло-голубой воде.  
Отчего прозрачны крыши  
И хрустальны колера?

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)

Как камыш, кирпич колыша,  
Дни несутся в вечера.  
Город, как болото, топок,  
Струпья снега на счету,  
И февраль горит, как хлопок,  
Захлебнувшийся в спирту.  
Белым пламенем измучив  
Зоркость чердаков, в косом  
Переплете птиц и сучьев –  
Воздух гол и невесом.  
В эти дни теряешь имя,  
Толпы лиц сшибают с ног.  
Знай, твоя подруга с ними,  
Но и ты не одинок.

1914

В конце февраля 1913 года из литературной группы «Лирика» выделилась более радикальная ее часть и объявила открытие книгоиздательства «Центрифуга». Ее название возникло по ассоциации с начертанной крупными буквами надписью «Центрифуга Шток» на лесопилке в Марбурге, на которую были обращены окна посещавшегося студентами кафе. Основную работу над альманахом взял на себя неутомимый Сергей Бобров, который выступал в нем и под своим именем, и под псевдонимом, и анонимно, со стихами, статьями, острополемическими «Книжными новостями» и библиографическими заметками. Пастернак и Асеев получили от него заказ на стихотворения, которые должны были служить образцом истинного футуризма. Пастернак выполнил заказ и написал статью под названием «Вассерманова реакция», в которой определял различие между истинным футуризмом и ложным. Скандал не замедлил разразиться. Ответный ультиматум был немногословен: оскорбленные требовали личного свидания. Его подписали Вадим Шершеневич, Константин Большаков и Владимир Маяковский.

\* \* \*

«...Итак, летом 1914 года в кофейне на Арбате должна была произойти сшибка двух литературных групп. С нашей стороны были я и Бобров. С их стороны предполагались Третьяков [17] и Шершеневич. Но они привели с собой Маяковского.

Оказалось, вид молодого человека, сверх ожидания, был мне знаком по коридорам Пятой гимназии, где он учился двумя классами ниже и по кулуарам симфонических, где он мне попадался на глаза в антрактах...

Теперь в кофейне, их автор понравился мне не меньше. Передо мной сидел красивый, мрачного вида юноша с басом протодьякона и кулаком боксера, неистоичимо, убийственно остроумный, нечто среднее между мифическим героем Александра Грина и испанским тореадором...

И мне сразу его решительность и взлохмаченная грива, которую он ерошил всей пятерней, напомнили сводный образ молодого террориста-подпольщика из Достоевского, из его младших провинциальных персонажей...»

Борис Пастернак.

Из очерка «Люди и положения»

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Встреча в кафе на Арбате ярко описана в «Охранной грамоте»:

«...Был жаркий день конца мая, и мы уже сидели в кондитерской на Арбате, когда с улицы шумно и молодо вошли трое названных, сдали шляпы швейцару и, не умеряя звучности разговора, только что заглушавшегося трамваями и ломовиками, с непринужденным достоинством направились к нам. У них были красивые голоса. Позднейшая декламационная линия поэзии пошла оттуда. Позиция противника была во всех отношениях превосходной..»

Враги, которых мы должны были уничтожить, ушли непопранными. Скорее условия выработанной мировой были унизительны для нас...»

Об этой встрече сохранились отдельные записи Боброва, сделанные в 1960-х годах. Судя по ним, неожиданно прорвавшийся интерес Пастернака и Маяковского друг к другу помог этой истории закончиться сравнительно мирно.

«...Лицо Бори выражало усталость и тревогу, а лицо Маяка постепенно смягчалось, потом разгладилось совсем. Он подперся рукой и стал внимательно и с интересом слушать Борю. А затем они уже вдвоем не участвовали в нашей журнальной перебранке, они заговорили о другом...»  
\* \* \*

«...Случай столкнул нас на следующий день под тентом греческой кофейни. Большой желтый бульвар лежал пластом, растянувшись между Пушкиным и Никитской..»

Я увидел Маяковского издали и показал его Локсу. Он играл с Ходасевичем в орел и решку. В это время Ходасевич встал и, заплатив проигрыш, ушел из-под навеса по направлению к Страстному. Маяковский остался один за столиком. Мы вошли, поздоровались с ним и разговорились. Немного спустя он предложил кое-что прочесть...

Это была трагедия «Владимир Маяковский», тогда только что вышедшая. Я слушал не помня себя, всем перехваченным сердцем затаив дыхание. Ничего подобного я раньше никогда не слышал...

Собственно, тогда с бульвара я и унес его всего с собою в свою жизнь...»

В «Повести» Пастернака 1929 года, действие которой приходится на лето 1914 года, оно названо «последним по счету летом, когда еще жизнь по видимости обращалась к отдельным и любить что бы то ни было на свете было легче и свойственнее, чем ненавидеть». Перелом века навсегда связался у Пастернака с майскими переговорами с Маяковским и его группой – «ристаньями и прениями», как это названо в стихах: Вчера еще были и воздух и воля,

А нынче ракиты, как мысли растеряны,

А нынче и мысли, и воздух и воля

Из ветра, из пыли, из серого дерева.

Вчера еще были ристанья и прения,

И тяжбы у кровель и зарев о роскоши,

А нынче закат уподоблен сирене,

Влачащейся грудью и гривой по суши.

\* \* \*

«...Вернувшись в совершенном потрясении тогда с бульвара, я не знал, что предпринять. Я сознавал себя полной бездарностью. Это было бы еще с полбеды. Но я чувствовал какую-то вину перед ним и не мог ее осмыслить. Если бы я был моложе, я бросил бы литературу. Но этому мешал мой возраст. После всех метаморфоз я не решился переопределяться в четвертый раз.

Борис Пастернак.

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Из повести «Охранная грамота»

\* \* \*

«...Когда я узнал Маяковского короче, у нас с ним обнаружилось непредвиденные технические совпадения, сходное построение образов, сходство рифмовки. Я любил красоту и удачу его движений. Мне лучшего не требовалось. Чтобы не повторять его и не казаться его подражателем, я стал подавлять в себе задатки, с ним перекликавшиеся, героический тон, который в моем случае был бы фальшив, и стремление к эффектам. Это сузило мою манеру и ее очистило...»

Борис Пастернак.

Из очерка «Люди и положения»

Начало Первой мировой войны Пастернак встретил в имении Петровское на Оке, где жил на даче у поэта Ю.К. Балтрушайтиса в качестве домашнего учителя его сына. Ненасыть первых дней, женский плач и причитания на железнодорожных станциях, стали для Пастернака предвестием национальной катастрофы.

\* \* \*

«...Когда объявили войну, заненастилось, пошли дожди, полились первые бабы слезы. Война была еще нова и в тряс страшна этой новостью. С ней не знали, как быть, и в нее вступали как в студеную воду.

Пассажирские поезда, в которых уезжали местные из волости на сбор, отходили по старому расписанию. Поезд трогался, и ему вдогонку, колотясь головой о рельсы, раскатывалась волна непохожего на плач, неестественно нежного и горького, как рябина, кукованья...

Уже мы проваливались по всегда трудным для огромной и одухотворенной России предметам транспорта и снабженья. Уже из новых слов – наряд, медикаменты, лицензия и холодильное дело – вылупливались личинки первой спекуляции. Тем временем, как она мыслила вагонами, в вагонах этих дни и ночи спешно с песнями вывозили крупные партии свежего коренного населенья в обмен на порченное, возвращавшееся санитарными поездами. И лучшие из девушек и женщин шли в сестры...»

Борис Пастернак.

Из повести «Охранная грамота»

В стихотворении «Дурной сон» автор задается вопросом, как Господь Бог мог допустить такое безумие. Картины искореженной земли и проносащихся по рельсам вагонов, в которых дни и ночи напролет вывозили раненых с фронта и везли новые пополнения, не пробуждают погруженного в сон Небесного Постника. «Засунутый в сон за засов», он не может проснуться и прекратить отвратительный бред человеконенавистничества и взаимоистребления. Перед окнами санитарного поезда разворачивается картина кошмарного сна, построенная на дохристианских образах мифологии и отзвуках языческих народных примет. Во сне он видит выпадающие зубы, что, по народному поверью, означает смерть, но он не в силах оборвать свой «дурной сон».

Дурной сон

Прислушайся к вьюге, сквозь десны процеженной,

Прислушайся к голой побежке бесснежья.

Разбиться им не обо что, и заносы

Чугунною цепью проносятся понизу

Полями, по чернополосице, в поезде,

По воздуху, по снегу, в отзывах ветра,

Сквозь сосны, сквозь дыры заборов безгвоздых,

Сквозь доски, сквозь десны безносых трущоб.

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Полями, по воздуху, сквозь околесицу,

Приснившуюся Небесному Постнику,  
Он видит: попадали зубы из челюсти,  
И шамкают замки, помещия с пришептом,  
Все вышиблено, ни единого в целости,  
И Постнику тошно от стука костей.  
От зубьев пилотов, от флотских трезубцев,  
От красных зазубрин карпатских зубцов.  
Он двинуться хочет, не может проснуться,  
Не может, засунутый в сон на засов.  
И видит еще. Как назем огородника,  
Всю землю сравнивали с землей на Стоходе [18] .  
Не верит, чтоб выси зевнулось когда-нибудь  
Во всю ее бездну, и на небо выплыл,  
Как колокол на перекладине дали,  
Серебряный слиток глотательной впадины,  
Язык и глагол ее, – месяц небесный.  
Нет, косноязычный, гундосый и сиплый,  
Он с кровью заглочен хрящами развалин.  
Сунь руку в крутящийся щебень метели, –  
Он на руку вывалится из расселины  
Мясистой култышкою, мышцей бесцельной  
На жиле, картечиной напрочь отстреленной.  
Его отожгло, как отёкшую тыкву.  
Он прыгнул с гряды на ограду. Он в рытвине.  
Он сорван был битвой и, битвой подхлестнутый,  
Как шар, откатился в канаву с откоса  
Сквозь сосны, сквозь дыры заборов безгвоздых,  
Сквозь доски, сквозь десны безносых трущоб.  
Прислушайся к гулу раздолий неезженных,  
Прислушайся к бешеной их перебежке.  
Расскальзывающаяся артиллерия  
Тарелями [19] ластится к отзывам ветра.  
К кому присоседиться, верстами меряя

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Слова гололедицы, мглы и лафетов?

И сказка ползет, и клочки околесицы,  
мелькая бинтами в желтке ксероформа [20] ,  
Уносятся с поезда в поле. Уносятся  
Платформами по снегу в ночь к семафорам.  
Сопят тормоза санитарного поезда.  
И снится, и снится Небесному Постнику.  
1914, 1928

«...День – как в паутине; время не движется, но капля за каплю всасывается каким-то узлом ненастья, – и подчиняясь этой топкости засасывающего неба, выходишь к вечеру за ворота – за плечами – тургеневская изгородь усадьбы, впереди – свинцовая пустыня, пустыри в слякоти, жнивья, серые-серые, воронье, комья пара, ни души, и только полный, невыносимо многоверстный, кругом очерченный горизонт вокруг тебя... На горизонте – частые поезда товарные, воинские. И это все один и тот же поезд или еще вернее чье-то повторяющееся без конца причитанье об одном, последнем проползшем поезде, который, может быть, прошел и вправду, до этого наваждения, до этой мертвой думы, от которой оторвалась последняя надежда, в последний день, быть может 19-го, когда действительность еще существовала и выходили еще из дому, чтобы вернуться затем домой...»

Борис Пастернак – родителям.

Из письма июля 1914

От осеннего стихотворения на эту тему, вычеркнутого военной цензурой, осталась только первая строфа из шести:  
Осень. Отвыкли от молний.

Идут слепые дожди.

Осень. Поезда переполнены –

Дайте пройти! – Все позади.

Стихотворение «Артиллерист стоит у кормила» было напечатано 20 ноября 1914 года в составленной Маяковским литературной странице газеты «Новь». Земля зарывается в пучину смерти, как подорвавшийся на mine броненосец. Ею управляет мелкий, ординарный «артиллерист-вольнотопределяющийся, скромный и простенький». При своей набожности, он глух к голосу истории, иными словами, глух к Божьей воле:

Он не слышит слов с Капитанского мостика,

Хоть и верует этой ночью в Бога;

И не знает, что ночь, дрожа по всей обшивке

Лесов, озер, церковных приходов и школ

Вот-вот срежется, спрягая в разбивку

С кафедры на ветер брошенный глагол:

Zaw [21]

\* \* \*

«...Через год я уехал на Урал. Перед тем я на несколько дней ездил в Петербург. Война чувствовалась тут меньше, чем у нас. Тут давно обосновался Маяковский, тогда уже призванный.

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Как всегда оживленное движение столицы скрадывалось щедростью ее мечтательных, нуждами жизни не исчерпываемых просторов. Проспекты сами были цвета зимних сумерек, и в придачу к их серебристой порывистости не требовалось много фонарей и снегу, чтобы заставить их мчаться вдаль и играть.

Мы шли с Маяковским по Литейному, он мял взмахами шагов версты улиц [22] , и я, как всегда, поражался его способности быть чем-то бортовым и обрамляющим к любому пейзажу. Искристо-серому Петрограду он в этом отношении шел еще больше, чем Москве...»

Борис Пастернак.

Из повести «Охранная грамота»

Петербург

Как в пулю сажают вторую пулю

Или бьют на пари по свечке,

Так этот раскат побережий и улиц

Петром разряжен без осечки.

О как он велик был! Как сеткой конвульсий

Покрылись железные щеки,

Когда на Петровы глаза навернулись,

Слезя их, заливы в осоке!

И к горлу балтийские волны, как комья

Тоски, подкатили; когда им

Забвенья владело; когда он знакомил

С империей царство, край с краем.

Нет времени у вдохновенья. Болото,

Земля ли, иль море, иль лужа, –

Мне здесь сновиденье явилось, и счеты

Сведу с ним сейчас же и тут же.

Он тучами был, как делами, завален.

В ненастья натянутый парус

Чертежной щетиною ста готовален

Врезалась царская ярость.

В дверях, над Невой, на часах, гайдуками,

Века пожирая, стояли

Шпалеры бессонниц в горячечном гаме

Рубанков, снастей и пицалей.

И знали: не будет приема. Ни мамок,

Ни дядек, ни бар, ни холопей,

Пока у него на чертежный подрамник

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)

Надеты таежные топи.  
Волны толкутся. Мостки для ходьбы.  
Облачно. Небо над буюм, залитым  
Мутью, мешает с толченым графитом  
Узких свистков паровые клубы.  
Пасмурный день растерял катера.  
Снасти крепки, как раскуренный кнастер [23] .  
Дегтем и доками пахнет ненастье  
И огурцами – баркасов кора.  
С мартовской тучи летят паруса  
Наоткось, мокрыми хлопьями в слякоть,  
Тают в каналах балтийского шлака,  
Тлеют по черным следам колеса.  
Облачно. Щелкает лодочный блок.  
Пристани бьют в ледяные ладоши.  
Гулко булыжник обрушивши, лошадь  
Глухо въезжает на мокрый песок.  
Чертежный рейсфедер  
Всадника медного  
От всадника – ветер  
Морей унаследовал.  
Каналы на прибыли,  
Нева прибывает.  
Он северным грифелем  
Наносит трамваи.  
Попробуйте, лягте-ка  
Под тучею серой,  
Здесь скачут на практике  
Поверх барьеров.  
И видят окраинцы:  
За Нарвской, на Охте,  
Туман продирается,  
Отодранный ногтем.  
Петр машет им шляпою,



Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)

И плещет, как прапор,  
Пурги расцарапанный,  
Надорванный рапорт.  
Сограждане, кто это,  
И кем на терзанье  
Распущены по ветру  
Полотнища зданий?  
Как план, как ландкарту  
На плотном папирусе,  
Он город над мартом  
Раскинул и выбросил.  
Тучи, как волосы, встали дыбом  
Над дымной, бледной Невою.  
Кто ты? О, кто ты? Кто бы ты ни был,  
Город – вымысел твой.  
Улицы рвутся, как мысли, к гавани  
Черной рекой манифестов.  
Нет, и в могиле глухой и в саване  
Ты не нашел себе места.  
Волн наводнения не удержишь сваями.  
Речь их, как кисти слепых повитух.  
Это ведь бредишь ты, неменяемый,  
Быстро бормочешь вслух.

1915

Через неделю после встречи нового 1916 года Пастернак уехал на Урал, где поступил конторщиком на химические заводы, работавшие на оборону. Зимний рассвет среди лесистых Уральских гор застал его в медленно шедшем пассажирском поезде между Пермью и горнорудным районом, расположенным на севере Пермской губернии. Граница с Азией проходила где-то рядом, по хребту, из-за которого вставало яркое солнце. Его лучи скользили по склонам, коронуя золотыми отблесками верхушки могучих сосен. В окнах движущегося поезда разворачивалась поразительная панорама, отразившаяся в написанных тогда стихах.

Урал впервые  
Без родовспомогательницы, во мраке, без памяти,  
На ночь натываясь руками, Урала  
Твердыня орала и, падая замертво,  
В мученьях ослепшая, утро рожала.  
Гремя опрокидывались нечаянно задетые

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)

Громады и бронзы массивов каких-то,  
Пыхтел пассажирский. И, где-то от этого  
Шарахаясь, падали призраки пихты.  
Коптивший рассвет был снотворным. Не иначе:  
Он им был подсыпан – заводам и горам –  
Лесным печником, злозязычным Горынычем,  
Как опий попутчику опытным вором.  
Очнулись в огне. С горизонта пунцового  
На лыжах спускались к лесам азиатцы,  
Лизали подошвы и соснам подсовывали  
Короны и звали на царство венчаться.  
И сосны, повстав и храня иерархию  
Мохнатых монархов, вступали  
На устланный наста оранжевым бархатом  
Покров из камки и сусали.

1916

Борис Пастернак – родителям

30 января 1916. Всеволодо-Вильва.

«...Здесь быт, климат, природа, здешнее препровождение времени мое и мои занятия, – все это настолько далеко от Москвы, – хотя бы географически: четырьмя ночами пути по железной дороге отделен я от Ярославского вокзала; – настолько далеко и несходно, что мне не верится, будто назад две недели я еще был в Москве...

Здесь имеется провинциализм и больше, уездовщина, и больше, глухая уральская уездовщина не отстоянной густоты и долголетнего настоя. Но все это или многое уже уловлено Чеховым, хотя надо сказать, нередко со специфической узостью юмориста, обещавшего читателю смешить его. Этот дух не в моем жанре, и литературно вряд ли я мои здешние наблюдения использую. Косвенно, конечно, все эти темы и типы в состав моей туманной костюмерной войдут и в ней останутся. Вообще мне трудно решить, кто я, литератор или музыкант, говорю, трудно решить тут, где я стал как-то свободно и часто и на публике импровизировать, но увы, техникой, пока заниматься не удастся, хотя это первое прикосновение к Ганону [24] и пианизму на днях, вероятно, произойдет...

Я написал новую новеллу. Я заметил теперь и примирился с этим как со стилем, прямо вытекающим из остальных моих качеств и задержанных склонностей, что и прозу я пишу как-то так, как пишут симфонии. Сюжет, манера изложения, стороны некоторых описаний, вообще то обстоятельство: на чем мое внимание останавливается и на чем не останавливается, все это разнообразные полифонические средства, и как оркестром этим надо пользоваться, особенно все это смешивая и исполняя свой вымысел так, чтобы это получилась вещь с тоном, неуклонным движением, увлекательная и т. д...»

3 февраля 1916.

«...А здесь действительно чудесно, я одно время много катался и гулял, теперь

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
стараюсь зацементировать прочно фундамент для работы и занятий музыкой; когда этот фундамент будет достаточно крепок, опять вернусь к местным удовольствиям, которым случай подобный быть может никогда уже не представится, я имею в виду то изобилие, в котором их можно здесь иметь, и ту широту, с которой ими можно пользоваться...

То, что я один здесь – прекрасно, конечно; и я верно понял себя, так себя поняв. Еще лучше то, что вряд ли когда такой образ жизни у меня изменится. Но я дам себе свободу совмещать что угодно с этим одиночеством, необходимым мне настолько, что не папе, который совершенно по характеру иной, чем я, судить о степени необходимости одиночества для меня...»

18 апреля 1916.

«...Река с неделю уже как вскрылась. Вчера совсем не спал. Лег в 12, встал в 2 часа ночи, а в три уже с Лундбергом [25] на реку пошел. Там нас ждали два фабричных мастера и вот мы на паре яванских пирог (на которых одним веслом гребут) сделали 20 верст по реке, воротясь домой по полотну железной дороги с... двумя бекасами и селезнем всего. Я совсем не стрелял, предоставив свое ружье лучшим стрелкам и задумал доставить себе это удовольствие как-нибудь solo. Сегодня встал в пять и пошел берегом. Куда девались вчерашние бекасы? А я, заметив вчера, до какой степени их много, дал патроны наши все до последнего бекасинником набить, и у меня патронов с крупной дробью не было. Правда, и утки, на которых я все же набрел сегодня, близко меня к себе не подпустили бы. Возможности нет по сухому камышу неслышно ступать...»

Ледоход

Еще о всходах молодых

Весенний грунт мечтать не смеет.

Из снега выкатив кадык,

Он берегом речным чернеет.

Заря, как клещ, впилась в залив.

И с мясом только вырвешь вечер

Из топи. Как плотолюбив

Простор на севере зловещем!

Он солнцем давится взаглот

И тащит эту ношу по мху.

Он шлепает ее об лед

И рвет, как розовую семгу.

Увалы хищной тишины,

Шатанье сумерек нетрезвых, –

Но льдин ножи обнажены,

И стук стоит зеленых лезвий.

Немолчный, алчный, скучный хрип,

Тоскливый лязг и стук ножовый,

И сталкивающихся глыб

Скрежещущие пережевы.

1916, 1928

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
На пароходе  
Был утренник. Сводило челюсти,  
И шелест листьев был как бред.  
Синее оперенья селезня  
Сверкал за Камою рассвет.  
Гремели блюда у буфетчика.  
Лакей зевал, сочтя судки.  
В реке на высоте подсвечника,  
Кишмя кишели светляки.  
Они свисали ниткой искристой  
С прибрежных улиц. Било три.  
Лакей салфеткой тщился выскрести  
На бронзу всплывший стеарин.  
Седой молвой, ползущей исстари,  
Ночной былиной камыша  
Под Пермь, на бризе, в быстром бисере  
Фонарной ряби Кама шла.  
Волной захлебываясь, на волос  
От затопленья, за суда  
Ныряла и светильней плавала  
В лампаде камских вод звезда.  
На пароходе пахло кушаньем  
И лаком цинковых белил.  
По Каме сумрак плыл с подслушанным,  
Не пророня ни всплеска, плыл.  
Держа бокал в руке, вы суженным  
Зрачком следили за игрой  
Обмолвок, вившихся за ужином,  
Но вас не привлекал их рой.  
Вы к былям звали собеседника,  
К волне до вас прошедших дней,  
Чтобы последнею отцединой  
Последней капли кануть в ней.  
Был утренник. Сводило челюсти,  
И шелест листьев был как бред.

Синее оперенья селезня

Сверкал за Камою рассвет.

И утро шло кровавой банею,

Как нефть разлившейся зари,

Гасить рожки в кают-компании

И городские фонари.

17 мая 1916. Всеволодо-Вильва

Это стихотворение было написано после двухдневной поездки по делам заводов в Пермь вместе с женой директора завода Ф.Н. Збарской.

В начале лета Пастернак через Екатеринбург, Уфу, Самару и Сызрань вернулся в Москву. За лето и осень он собрал и подготовил к печати свою вторую книгу стихов «Поверх барьеров». Уже сдав книгу в издательство, он писал Сергею Боброву:

«...Что до заглавия – колеблюсь. Колеблюсь оттого, что самостоятельной ценности в отдельном стихотворении не могу сейчас видеть. Старое понятие техничности в книжке тоже не соблюдено, и если подчеркнуть заглавием этот момент, произойдет легко предвосхитимое недоразумение.

Новая техничность, поскольку она у других на практике осуществляется, а у меня в теории существовала... – тоже с очевидностью целым рядом вещей нарушена в сторону старейших даже, чем наши, – привычек... Вот предположительные заглавия: Gradus ad Carnassum, 44 упражнения, Поверх барьеров, Налеты, Раскованный голос, До четырех, Осатаневшим и т. д. и т. д. – Раскованный голос кажется мне le moins mauvais «наименьшим злом»...»

Заглавие для книги выбрал Бобров. Взятые из стихотворения «Петербург» оно передавало рвущую преграды смелость гения. Книга вышла в конце 1916 года, когда Пастернак уже снова уехал, на этот раз в Тихие горы на Каме, на химические заводы Ушковых.

Главной достопримечательностью здесь была река. Он писал оттуда:

«...Здесь так спокойно и ясно, что страшно просто! А Кама какая. Со дня приезда в Казань, до нынешнего – ясные солнечные погоды, теплая безоблачность...»

\* \* \*

С тех пор стал над недрами парка сдвигаться

Суровый, листву леденивший октябрь.

Зарями ковался конец навигации,

Спирало гортань, и ломило в локтях.

Не стало туманов. Забыли про пасмурность.

Часами смеркалось. Сквозь все вечера

Открылся в жару, в лихорадке и насморке,

Больной горизонт – и дворы озирал.

И стынула кровь. Но, казалось, не стынут

Пруды, и – казалось, с последних погод

Не движутся дни, и, казалось – вынут

Из мира прозрачный, как звук, небосвод.

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
И стало видать так далеко, так трудно

Дышать, и так больно глядеть, и такой  
Покой разлился, и настолько безлюдный,  
Настолько беспмятно звонкий покой!

1916

\* \* \*

Потели стекла двери на балкон.  
Их заслонял заметно-зимний фикус.  
Сиял графин. С недопитым глотком  
Вставали вы, веселая на выказ, –  
Смеркалась даль, – спокойная на вид, –  
И дуло в щели, – праведница ликом, –  
И день сгорал, давно остановив  
Часы и кровь, в мучительно великом  
Просторе долго, без конца горев  
На остриях скворешниц и дерев,  
В осколках тонких ледяных пластинок,  
По пустырям и на ковре в гостиной.

1916

\* \* \*

«...В конторе заводов я вел некоторое время военный стол и освобождал целые  
волости военнообязанных, прикрепленных к заводам и работавшим на оборону.

Зимой заводы сообщались с внешним миром допотопным способом. Почту возили из  
Казани, расположенной в двухстах пятидесяти верстах, как во время «Капитанской  
дочки», на тройках. Я один раз проделал этот зимний путь...»

Борис Пастернак.

Из очерка «Люди и положения»

К стихам из книги «Поверх барьеров» Пастернак относился как к поискам средств  
выражения и писал родителям:

«...Сейчас во всех сферах творчества нужно писать только этюды, для себя, с  
технической целью и рядом с этим накапливать такой опыт, который лишен эфемерности  
и случайности...»

Положительными достижениями стилистики новой книги, по мнению Пастернака, были  
«объективный тематизм и мгновенная, рисующая движение живописность». Эти  
качества достигались новаторскими приемами, родственными современной живописи,  
подчеркнутой яркостью, динамическим смещением, разложением формы.

\* \* \*

«...В ноябре или декабре Бобров показал мне книгу Пастернака „Поверх барьеров“,  
которая была своеобразным ответом на совершающиеся события. Несколько  
стихотворений, посвященных войне, были искажены цензурой. Остальные в каком-то  
смысле передавали внутренний смысл разбушевавшихся стихий... В ней все было  
перевернуто, разбросано, разорвано и некоторые строфы напоминали судорожно  
сведенные руки. Как поэтическое явление книга со всей отчетливостью выражала его  
творческий метод, с которым он впоследствии упорно боролся, пока отчасти не

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru) вышел из этой борьбы победителем, добившись понятности и относительной простоты. К тому времени, когда писалось „Поверх барьеров“, у него должно было сложиться некоторое поэтическое самосознание, я не скажу полная уверенность в себе...

Книга вышла в канун революции, в начале 17-го года. Во многом она, по своему внутреннему смыслу, созвучна ей. Поэт часто оказывается тем, что Тютчев назвал «органа глас глухонемой» [26] . Знал ли он об этом? Может быть, иначе он не написал бы своего «Петра»...»

К.Г. Локс.

Из «Повести об одном десятилетии»

Зимнее небо

Цельною льдиной из дымности вынут

Ставший с неделю звездный поток.

Клуб конькобежцев вверху опрокинут.

Чокается со звонкою ночью каток.

Реже-реже-ре-же ступай, конькобежец,

В беге ссекая шаг свысока.

На повороте созвездьем врежется

В небо Норвегии скрежет конька.

Воздух железом к ночи прикован,

О, конькобежцы! Там – все равно,

Что, как орбиты змеи очковой,

Ночь на земле, и как кость домино;

Что языком обомлевшей лягавой

Месяц к скобе примерзает; что рты,

Как у фальшивомонетчиков, – лавой

Дух захватившего льда налиты [27] .

1915

Душа

О вольноотпущенница, если вспомнится,

О, если забудется, пленница лет.

По мнению многих, душа и паломница,

По-моему – тень без особых примет.

О, – в камне стиха, даже если ты канула,

Утопленница, даже если – в пыли,

Ты бьешься, как билась княжна Тараканова,

Когда февралем залило равелин [28] .

О внедренная! Хлопоча об амнистии,

Кляня времена, как клянут сторожей,

Стучатся опавшие годы, как листья,  
В садовую изгородь календарей.

1915

Раскованный голос  
В шалющую полночью площадь,  
В сплославшую белую бездну  
Незримому ими – «Извозчик!»  
Низринуть с подъезда. С подъезда  
Столкнуть в воспаленную полночь  
И слышать сквозь темные спаи  
Ее поцелуев – «На помощь!»  
Мой голос зовет, утопая.  
И видеть, как в единоборстве  
С метелью, с лютейшей из лютен,  
Он – этот мой голос – на черствой  
Узде выплывает из мути...

1915

\* \* \*

Я понял жизни цель и что  
Ту цель, как цель, и эта цель –  
Признать, что мне невоготу  
Мириться с тем, что есть апрель.  
Что дни – кузнечные мехи  
И что растекся полосой  
От ели к ели, от ольхи  
К ольхе, железный и косой,  
И жидкий, и в снега дорог,  
Как уголь в пальцы кузнеца,  
С шипеньем впившийся поток  
Зари без края и конца.  
Что в берковец [29] церковный зык,  
Что взят звонарь в весовщики,  
Что от капели, от слезы  
И от поста болят виски.

1915



Стрижи  
Нет сил никаких у вечерних стрижей  
Сдержать голубую прохладу.  
Она прорвалась из горластых грудей  
И льется, и нет с нею сладу.  
И нет у вечерних стрижей ничего,  
что б там, наверху, задержало  
Витийственный возглас их: о торжество,  
Смотрите, земля убежала!  
Как белым ключом закипая в котле,  
Уходит бранчливая влага, –  
Смотрите, смотрите – нет места земле  
От края небес до оврага.

1915

После дождя  
За окнами давка, толпится листва,  
И палое небо с дорог не подобрано.  
Все стихло. Но что это было сперва!  
Теперь разговор уж не тот и по-доброму.  
Сначала всё опрометью, вразноряд  
Ввалилось в ограду деревья развенчивать,  
И попраным парком из ливня – под град,  
Потом от сараев – к террасе бревенчатой.  
Теперь не надышишься крепью густой.  
А то, что у тополя жилы полопались, –  
Так воздух садовый, как соды настой,  
Шипучкой играет от горечи тополя.  
Со стекол балконных, как с бедер и спин  
Озябших купальщиц, – ручьями испарина.  
Сверкает клубники мороженный клин,  
И градинки стелются солью поваренной.  
Вот луч, покатаюсь с паутины, залег  
В крапиве, но кажется, это не надолго,  
И миг недалек, как его уголек  
В кустах разожжется и выдует радугу.

1915, 1928

Импровизация

Я клавишей стаю кормил с руки

Под хлопанье крыльев, плеск и клёкот.

Я вытянул руки, я встал на носки,

Рукав завернулся, ночь терлась о локоть.

И было темно. И это был пруд

И волны. – И птиц из породы люблю вас,

Казалось, скорей умертвят, чем умрут

Крикливые, черные, крепкие клювы.

И это был пруд. И было темно.

Пылали кубышки с полуночным дегтем.

И было волною обглодано дно

У лодки. И грызлись птицы у локтя.

И ночь полоскалась в гортанях запруд.

Казалось, покамест птенец не накормлен,

И самки скорей умертвят, чем умрут

Рулады в крикливом, искривленном горле.

1915

Из поэмы

(Отрывок)

Я тоже любил, и дыханье

Бессонницы раннею ранью

Из парка спускалось в овраг, и впотьмах

Выпархивало на архипелаг

Полян, утопавших в лохматом тумане,

В полыни и мяте и перепелах.

И тут тяжелел обожанья размах,

Хмелел, как крыло, обожженное дробью,

И бухался в воздух, и падал в ознобе,

И располагался росой на полях.

А там и рассвет занимался. До двух

Несметного неба мигали богатства,

Но вот петухи начинали пугаться

Потемок и силились скрыть перепуг,

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)

Но в глотках рвались холостые фугасы,  
И страх фистулой голосил от потуг,  
И гасли стожары, и, как по заказу,  
С лицом пучеглазого свечегаса  
Показывался на опушке пастух.  
Я тоже любил, и она пока еще  
Жива, может статься. Время пройдет,  
И что-то большое, как осень, однажды  
(Не завтра, быть может, так позже когда-нибудь)  
Зажжется над жизнью, как зарево, сжалившись  
Над чащей. Над глупостью луж, изнывающих  
По-жабьи от жажды. Над заячьей дрожью  
Лужаек, с ушами ушитых в рогожу  
Листвы прошлогодней. Над шумом, похожим  
На ложный прибой прожитого. Я тоже  
Любил, и я знаю: как мокрые пожни  
От века положены году в подножье,  
Так каждому сердцу кладется любовью  
Знобящая новость миров в изголовье.  
Я тоже любил, и она жива еще.  
Все так же, катясь в ту начальную рань,  
Стоят времена, исчезая за краешком  
Мгновенья. Все так же тонка эта грань.  
По-прежнему давнее кажется давешним.  
По-прежнему схлынувши с лиц очевидцев,  
Безумствует быль, притворяясь незнающей,  
Что больше она уж у нас не жилица.  
И мыслимо это? Так значит, и впрямь  
Всю жизнь удаляется, а не длится  
Любовь, удивленья мгновенная дань?  
1916, 1928

\* \* \*

«...Когда в марте 1917 года на заводах узнали о разразившейся в Петербурге революции, я поехал в Москву...

Из Тихих гор гнали в кибитке, крытом возке на полозьях, вечер, ночь напролет и  
Страница 59

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
часть следующего дня. Замотанный в три азяма и утопая в сене, я грузным кулем перекашивался на дне саней, лишенный свободы движений. Я дремал, клевал носом, засыпал и просыпался и закрывал и открывал глаза.

Я видел лесную дорогу, звезды морозной ночи. Высокие сугробы горой горбили узкую проезжую стезжку. Часто возок крышей наезжал на нижние ветки нависших пихт, осыпал с них иней и с шорохом проволакивался под ними, таща их на себе. Белизна снежной пелены отражала мерцание звезд и освещала путь. Светящийся снежный покров пугал в глубине, внутри чащи, как вставленная в лес горящая свеча.

Три лошади, запряженные гусем, одна другой в затылок, мчали возок, то одна, то другая сбиваясь в сторону и выходя из ряда. Ямщик поминутно выравнивал их и, когда кибитка клонилась набок, соскакивал с нее, бежал рядом и плечом подпирал ее, чтобы она не упала...

Ямской стан в лесу, совершенно, как в сказках о разбойниках. Огонек в избе. Шумит самовар, и тикают часы. Пока доvezший кибитку ямщик разоблачается, отходит от мороза и негромко, по-ночному, во внимание к спящим за перегородкой, разговаривает с собирающей ему поесть становихой, новый утирает губы, застегивает армяк и выходит на мороз закладывать свежую тройку.

И опять гон во всю, свист полозьев и дремота и сон...»

Борис Пастернак.

Из очерка «Люди и положения»

Локс встретил на улице сияющего Пастернака в первые дни его возвращения в Москву.

\* \* \*

«...Он был счастлив, он был доволен. „Подумайте, – сказал он мне при первой встрече, – когда море крови и грязи начинает выделять свет...“ Тут красноречивый жест довершил его восторг. Тотчас было приступлено к делу и задуман роман из времени Великой французской революции. Помню ряд книг, взгромоздившихся на его столе, взятых из университетской библиотеки, из Румянцевской, не знаю еще откуда. Огромные тома с планами Парижа той эпохи, где изображались не только улицы, но и дома на этих улицах, книги с подробностями быта, нравов, особенностей времени – все это требовало колоссальной работы. Понятно, что замысел скоро оборвался. Воплотилось только несколько сцен в драматической форме, которые потом были напечатаны в одной из газет. Однако он читал мне начало одной главы. Ночь, человек сидит за столом и читает Библию. Это все, что у меня осталось в памяти. Характерно тем не менее, что прежде всего ему пришла в голову французская революция. Казалось, было бы проще идти по прямым следам, писать о русской революции, но правильный инстинкт художника подсказывал ему верное решение. Роман об эпохе можно писать после того, как она закончилась...»

К.Г. Локс.

Из «Повести об одном десятилетии»

Приехав в Москву, Пастернак снова снял ту маленькую комнату в Лебяжьем переулке с видом на Кремль, воспоминание о которой связывалось у него с творчески счастливым 1913-м годом. Таким же, как он надеялся, будет и теперешний, 1917-й. Он возобновил свои отношения с друзьями. Вскоре по приезде к нему пришла в гости Елена Виноград. Она была двоюродной сестрой друга его детства Александра Штиха, они были знакомы уже много лет.

Из суеверья  
Коробка с красным померанцем

Моя каморка.

О, не об номера ж мараться [30]

По гроб, до морга!

Я поселился здесь вторично  
Из суеверья.  
Обоев цвет, как дуб, коричневы,  
И – пенье двери.  
Из рук не выпускал защелки,  
Ты вырывалась,  
И чуб касался чудной челки  
И губы – фиалок.  
О неженка, во имя прежних  
И в этот раз твой  
Наряд щебечет, как подснежник  
Апрелю: «Здравствуй!»  
Грех думать – ты не из весталок:  
Вошла со стулом,  
Как с полки, жизнь мою достала  
И пыль обдула.

1917

Свою маленькую комнату Пастернак назвал спичечным коробком с фирменной этикеткой того времени – изображением огненно-красного померанца, то есть горького апельсина. Елена Виноград навсегда запомнила то платье, в котором тогда была. Она признавалась:

«...Я подошла к двери, собираясь выйти, но он держал дверь и улыбался, так сблизилась чуб и челка. А „ты вырывалась“ сказано слишком сильно, ведь Борис Леонидович по сути своей был не способен на малейшее насилие, даже на такое, чтобы обнять девушку, если она этого не хотела. Я просто сказала с укоризной: „Боря“, и дверь тут же открылась...»

Елене Виноград было 20 лет, она училась на Высших женских курсах. Недавно она потеряла на войне жениха. Желание утешить ее горе толкало Пастернака к ней. Она очень любила лес и природу. Их совместные прогулки описаны в стихах Пастернака, давших начало книге «Сестра моя жизнь».

Воробьевы горы  
Грудь под поцелуи, как под рукомыльник!

Ведь не век, не сряду, лето бьет ключом.  
Ведь не ночь за ночью низкий рев гармоник  
Подымаем с пыли, топчем и влечем.  
Я слышал про старость. Страшны прорицанья!  
Рук к звездам не вскинет ни один бурун.  
Говорят – не веришь. На лугах лица нет,  
У прудов нет сердца. Бога нет в бору.  
Расколышь же душу! Всю сегодня выпень.

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)

Это полдень мира. Где глаза твои?

Видишь, в высях мысли сбились в белый кипень

Дятлов, туч и шишек, жара и хвои.

Здесь пресеклись рельсы городских трамваев.

Дальше служат сосны, дальше им нельзя.

Дальше – воскресенье. Ветки отрывая,

Разбежится просек, по траве скользя.

Просевая полдень, Троицын день, гулянье,

Просит роща верить: мир всегда таков.

Так задуман чащей, так внушен поляне,

Так на нас, на ситцы пролит с облаков.

1917

\* \* \*

«...Множество восторженных и насторожившихся душ останавливали друг друга, стекались, толпились и, как в старину сказали бы, „собранные“, думали вслух. Люди из народа отводили душу и беседовали о самом важном, о том, как и для чего жить и какими способами устроить единственное мыслимое и достойное существование.

Заразительная всеобщность их подъема стирала границу между человеком и природой. В это знаменитое лето 1917 года, в промежутке между двумя революционными сроками, казалось, вместе с людьми митинговали и ораторствовали дороги, деревья и звезды. Воздух из конца в конец был охвачен горячим тысячеверстным вдохновением и казался личностью с именем, казался ясновидящим и одушевленным...

Это ощущение повседневности, на каждом шагу наблюдаемой и в то же время становящейся историей, это чувство вечности, сошедшей на землю и всюду попадающей на глаза, это сказочное настроение попытался я передать в тогда написанной по личному поводу книге лирики «Сестра моя жизнь».

Борис Пастернак.

Из фрагмента «Сестра моя жизнь»

Весенний дождь  
Усмехнулся черемухе, всхлипнул, смочил

Лак экипажей, деревьев трепет.

Под луною на выкате гуськом скрипачи

Пробираются к театру. Граждане, в цепи!

Лужи на камне. Как полное слез

Горло – глубокие розы, в жгучих

Влажных алмазах. Мокрый нахлест

Счастья – на них, на ресницах, на тучах.

Впервые луна эти цепи и трепет

Платьев и власть восхищенных уст

Гипсовую эпопею лепит,

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)

Лепит никем не лепленный бюст.  
В чьем это сердце вся кровь его быстро  
Хлынула к славе, схлынув со щек?  
Вон она бьется: руки министра  
Рты и аорты сжали в пучок.  
Это не ночь, не дождь и не хором  
Рвущееся: «Керенский ура!»,  
Это слепящий выход на форум  
Из катакомб, безысходных вчера.  
Это не розы, не рты, не ропот  
Толп, это здесь, пред театром – прибой  
Заколебавшейся ночи Европы,  
Гордой на наших асфальтах собой.

1917

Свидетели многочисленных уличных сборищ, Пастернак и Елена Виноград как-то оказались вечером на Театральной площади в день приезда в Москву военного министра А.Ф. Керенского. Его выступление в Большом театре перелилось в приветственный митинг на площади. Министра в открытом автомобиле засыпали красными розами. В стихотворении, посвященном митингу 26 мая 1917 года, Пастернак передал поразившее его чувство на глазах рождающейся истории, – «чувство вечности, сошедшей на землю».

Плачущий сад  
Ужасный! – Капнет и вслушается:  
Всё он ли один на свете  
Мнет ветку в окне, как кружевце,  
Или есть свидетель.  
Но давится внятно от тягости  
Отеков – земля ноздревая,  
И слышно: далеко, как в августе,  
Полуночь в полях назревает.  
Ни звука. И нет соглядатаев.  
В пустынности удостоверюсь,  
Берется за старое – скатывается  
По кровле, за желоб и через.  
К губам поднесу и прислушаюсь:  
Всё я ли один на свете, –  
Готовый навзрыд при случае, –

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Или есть свидетель.

Но тишь. И листок не шелохнется.

Ни признака зги, кроме жутких  
Глотков и плескания в шлепанцах,  
И вздохов и слез в промежутке.

1917

Девочка

Ночевала тучка золотая

На груди утеса-великана.

Из сада, с качелей, с бухты-барахты  
Вбегает ветка в трюмо!

Огромная, близкая, с каплей смарагда [31]

На кончике кисти прямой.

Сад застлан, пропал за ее беспорядком,  
За бьющей в лицо кутерьмой.

Родная, громадная, с сад, а характером –  
Сестра! Второе трюмо!

Но вот эту ветку вносят в рюмке  
И ставят к раме трюмо.

Кто это, – гадает, – глаза мне рюмит [32]

Тюремной людской дремой?

1917

\* \* \*

Ты в ветре, веткой пробуящем,

Не время ль птицам петь,

Намокшая воробышком

Сиреневая ветвь!

У капель – тяжесть запонок,

И сад слепит, как плес,

Обрызганный, закапанный

Миллионом синих слез.

Моей тоскою вынянчен

И от тебя в шипах,

Он ожил ночью нынешней,

Забормотал, запах.



Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Всю ночь в окошко торкался,

И ставень дребезжал.

Вдруг дух сырой прогорклости

По платью пробежал.

Разбужен чудным перечнем

Тех прозвищ и времен,

Обводит день теперешний

Глазами анемон.

1917

\* \* \*

Душистую веткою машучи,

Впивая впотымах это благо,

Бежала на чашечку с чашечки

Грозой одуренная влага.

На чашечку с чашечки скатываясь,

Скользнула по двум, – и в обеих

Огромную каплей агатовую

Повисла, сверкает, робеет.

Пусть ветер, по таволге [33] веющий,

Ту капельку мучит и плющит.

Цела, не дробится, – их две еще

Целующихся и пьющих.

Смеются и вырваться силятся

И выпрямиться, как прежде,

Да капле из рылец не вылиться

И не разлучатся, хоть режьте.

1917

В июне 1917 года Елена Виноград уехала в Саратовскую губернию составлять списки для выборов в органы местного самоуправления – земства. «Уезжая, она оставила вместо себя заместительницу», – написал Пастернак объяснение к стихотворению, посвященному фотографии смеющейся Елены.

Заместительница

Я живу с твоей карточкой, с той, что хохочет,

У которой суставы в запястьях хрустят,

Той, что пальцы ломает и бросить не хочет,

У которой гостят и гостят и грустят.

Что от треска колод, от бравады Ракочи [34] ,

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)

От стекляшек в гостиной, от стекла и гостей  
По пианино в огне пробежится и вскочит –  
От розеток, костяшек, и роз, и костей.  
Чтоб прическу ослабив, и чайный и шалый,  
Зачаженный бутон заколов за кушак,  
Провальсировать к славе, шутя, полушалок  
Закусивши, как муку, и еле дыша.  
Чтобы комкая корку рукой мандарина  
Холодящие дольки глотать, торопясь  
В опоясанный люстрой, позади, за гардиной,  
Зал, испариной вальса запахший опять.

1917

Через некоторое время Пастернак поехал к Елене и провел в Романовке, где она была в то время, четыре дня, – «из четырех громадных летних дней сложило сердце эту память правде», – писал он об этой поездке позже, вспоминая «из всех картин, что память сберегла», их ночную прогулку по степи. Этой прогулке посвящено стихотворение «Степь». Ночной туман, скрывавший небо и землю, постепенно рассеивался, проступали отдельные предметы, мир создавался заново у них на глазах. Вспоминались первые слова Книги Бытия: «В начале сотворил Бог небо и землю».

Степь  
Как были те выходы в тишь хороши!  
Безбрежная степь, как марина.  
Вздыхает ковыль, шуршат мураши,  
И плавает плач комариный.  
Стога с облаками построились в цепь  
И гаснут, вулкан на вулкане.  
Примолкла и взмокла безбрежная степь,  
Колеблет, относит, толкает.  
Туман отовсюду нас морем обстиг,  
В волчках волочась за чулками,  
И чудно нам степью, как морем, брести  
Колеблет, относит, толкает.  
Не стог ли в тумане? Кто поймет?  
Не наш ли омет? Доходим. – Он.  
– Нашли! Он самый и есть. – Омет,  
Туман и степь с четырех сторон.  
И Млечный Путь стороной ведет

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)

На Керчь, как шлях, скотом пропылен.  
Зайти за хаты, и дух займет:  
Открыт, открыт с четырех сторон.  
Туман снотворен, ковыль, как мед,  
Ковыль всем Млечным Путем рассорён.  
Туман разойдется, и ночь обоймет  
Омет и степь с четырех сторон.  
Тенистая полночь стоит у пути,  
На шлях навалилась звездами,  
И через дорогу за тын перейти  
Нельзя, не топча мирозданья.  
Когда еще звезды так низко росли,  
И полночь в бурьян окунало,  
Пылал и пугался намокший муслин,  
Льнул, жался и жаждал финала?  
Пусть степь нас рассудит и ночь разрешит,  
Когда, когда не: – В Начале  
Плыл Плач Комариный, Ползли Мураши,  
Волчцы по Чулкам Торчали?  
Закрой их, любимая! Запорошит!  
Вся степь как до грехопаденья:  
Вся – миром объята, вся – как парашют,  
Вся – дыбящееся виденье!

1917

Душная ночь  
Накрапывало, – но негнулись  
И травы в грозном мешке.  
Лишь пыль глотала дождь в пилюлях,  
Железо в тихом порошке.  
Селенье не ждало целенья,  
Был мак, как обморок глубок,  
И рожь горела в воспаленьи,  
И в лихорадке бредил Бог.  
В осиротелой и бессонной,

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Сырой, всемирной широте

С постов спасались бегством стоны,  
Но вихрь, зарывшись, коротел.

За ними в бегстве слепли следом  
Косые капли. У плетня  
Меж мокрых веток с ветром бледным

Шел спор. Я замер. Про меня!  
Я чувствовал, он будет вечен,  
Ужасный, говорящий сад.

Еще я с улицы за речью  
Кустов и ставней – не замечен;

Заметят – некуда назад:  
Навек, навек заговорят.

1917

Еще более душный рассвет  
Все утро голубь ворковал

У вас в окне.

На желобах,  
Как рукава сырых рубах,  
Мертвели ветки.

Накрапывало. Налегке  
Шли пыльным рынком тучи,  
Тоску на рыночном лотке,  
Боюсь, мою

Баюча.

Я умолял их перестать.  
Казалось, – перестанут.  
Рассвет был сер, как спор в кустах,  
Как говор арестантов.

Я умолял приблизить час,  
Когда за окнами у вас  
Нагорным ледником

Бушует умывальный таз  
И песни колотой куски,  
Жар наспанной щеки и лоб

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)

В стекло горячее, как лед,  
На подзеркальник льет.  
Но высь за говором под стяг  
Идущих туч  
Не слышала мольбы  
В запорошенной тишине,  
Намокшей, как шинель,  
Как пыльный отзвук молотьбы,  
Как громкий спор в кустах.  
Я их просил –  
Не мучьте!  
Не спится.  
Но – моросило, и топчась  
Шли пыльным рынком тучи,  
Как рекруты, за хутор, поутру.  
Брели не час, не век,  
Как пленные австрийцы,  
Как тихий хрип,  
Как хрип:  
«Испить,  
Сестрица».

1917

\* \* \*

Дик прием был, дик приход,  
Еле ноги уволок.  
Как воды набрала в рот,  
Взор уперла в потолок.  
Ты молчала. Ни за кем  
Не рвался с такой тугой.  
Если губы на замке,  
Вешай с улицы другой.  
Нет, не на дверь, не в пробой,  
Если на сердце запрет,  
Но на весь одной тобой

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Немутимо белый свет.

Чтобы знал, как балки брус  
По-над лбом проволоку,  
Что в глаза твои упрусь,  
В непрорубную тоску.  
Чтоб бежал с землей знакомств,  
Видев издали, с пути  
Гарь на солнце под замком,  
Гниль на веснах взаперти.  
Не вводи души в обман,  
Оглуши, завесь, забей.  
Пропитала, как туман,  
Грудю белых отрубей.  
Если душным полднем желт  
Мышью пахнувший овин,  
Обличи, скажи, что лжет  
Лжесвидетельство любви.

1917

\* \* \*

Попытка душу разлучить  
С тобой, как жалоба смычка,  
Еще мучительно звучит  
В названьях Ржакса и Мучкап [35] .  
Я их, как будто это ты,  
Как будто это ты сама,  
Люблю всей силою тщеты  
До помрачения ума.  
Как ночь, уставшую сиять,  
Как то, что в астме – кисея,  
Как то, что даже антресоль  
При виде плеч твоих трясло.  
Чей шопот реял на брезгу [36] ?  
О, мой ли? Нет, душою – твой,  
Он улетучивался с губ  
Воздушной капли спиртовой.

Как в неге прояснялась мысль!

Безукоризненно. Как стон.

Как пеной, в полночь, с трех сторон

Внезапно озаренный мыс.

1917

В то лето Пастернак пережил «чудо становления книги», как он называл впоследствии то состояние поэтического подъема, когда одно стихотворение рождалось непосредственно вслед за другим как развитие мелодии, слагаясь в циклы, или главы, из которых составлялась книга. Стихов было написано гораздо больше, чем вошло в книгу, они подвергались строгому отбору. Пастернак никогда не считал отдельное стихотворение чем-то ценным, в его глазах смысл представляла собой только книга стихов, создающая особый мир, со своим воздухом, небом и землей. Стихотворная книга принципиально отличается от сборника, включающего написанные по разным поводам вещи, лишенные единства взгляда, чувства и дыхания.

\* \* \*

«...Книга есть кубический кусок горячей, дымящейся совести – и больше ничего.. Без нее духовный род не имел бы продолжения. Он перевелся бы. Ее не было у обезьян. Ее писали. Она росла, набиралась ума, видала виды, – и вот она выросла и – такова. В том, что ее видно насквозь, виновата не она. Таков уклад духовной вселенной.

А недавно думали, что сцены в книге – инсценировки. Это – заблуждение. Зачем они ей? Забыли, что единственное, что в нашей власти, это суметь не исказить голоса жизни, звучащего в нас.

Неумение найти и сказать правду – недостаток, который никаким умением говорить неправду не покрыть. Книга – живое существо. Она в памяти и в полном рассудке: картины и сцены – это то, что она вынесла из прошлого, запомнила и не согласна забыть...

Ни у какой истинной книги нет первой страницы. Как лесной шум, она зарождается Бог весть где, и растет, и катится, будя заповедные дебри, и вдруг, в самый темный, ошеломительный и панический миг, заговаривает всеми вершинами сразу, докатившись...»

Борис Пастернак.

Из статьи «Несколько положений», 1918

Сложив весла

Лодка колотится в сонной груди,

Ивы нависли, целуют в ключицы,

В локти, в уключины – о, погоди,

Это ведь может со всяким случиться!

Этим ведь в песне тешатся все.

Это ведь значит – пепел сиреневый,

Роскошь крошеной ромашки в росе,

Губы и губы на звезды выменивать!

Это ведь значит – обнять небосвод,

Руки сплести вокруг Геракла громадного,

Это ведь значит – века напролет

Ночи на шелканье славок проматывать!

1917

Не трогать  
«Не трогать, свежее выкрашено», –  
Душа не береглась,  
И память – в пятнах икр и щек,  
И рук, и губ, и глаз.  
Я больше всех удач и бед  
За то тебя любил,  
Что пожелтый белый свет  
С тобой – белей белил.  
И мгла моя, мой друг, боюсь,  
Он станет как-нибудь  
Белей, чем бред, чем абажур,  
Чем белый бинт на лбу!

1917

Подражатели  
Пекло, и берег был высок.  
С подплывшей лодки цепь упала  
Змеей гремучею – в песок,  
Гремучей ржавчиной – в купаву.  
И вышли двое. Под обрыв  
Хотелось крикнуть им: «Простите,  
Но бросьтесь, будьте так добры,  
Не врозь, так в реку, как хотите.  
Вы верны лучшим образцам.  
Конечно, ищущий обрящет.  
Но... бросьте лодкою бряцать:  
В траве терзается образчик».

1919

\* \* \*  
Ты так играла эту роль!  
Я забывал, что сам – суфлер!  
Что будешь петь и во второй,  
Кто б первой не совлек.



Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Вдоль облаков шла лодка. Вдоль

Лугами кошених кормов.

Ты так играла эту роль,  
Как лепет шлюз – кормой!

И низко рея на руле  
Касаткой об одном крыле,  
Ты так! – ты лучше всех ролей  
Играла эту роль.

1917

Как у них  
Лицо лазури пышет над лицом

Недышащей любимицы реки.

Подыметса, шелохнется ли сом, –

Оглушены. Не слышат. Далекы.

Очам в снопах, как кровлям, тяжело.

Как угли, блещут оба очага.

Лицо лазури пышет над челом

Недышащей подруги в бочагах,

Недышащей питомицы осок.

То ветер смех люцерны вдоль высот,

Как поцелуй воздушный, пронесет,

То княженикой с топи угощен,

Ползет и губы пачкает хвощом

И треплет речку веткой по щеке,

То киснет и хмелеет в тростнике.

У окуня ли екнул плавники, –

Бездонный день – огромен и пунцов,

Поднос Шелони [37] – черен и свинцов.

Не свесть концов и не поднять руки...

Лицо лазури пышет над лицом

Недышащей любимицы реки.

1917

Пастернак старался разбить печальную убежденность Елены в том, «что чересчур хорошего в жизни не бывает» или «что всегда все знаешь наперед», – как она писала ему, – научить ее верить в достижимость счастья. Но ни стихи, ни письма Пастернака не утешали ее, после гибели жениха она не могла найти для себя место в жизни и писала Борису:

\* \* \*

«...Живет, смотрит и говорит едва одна треть моя, две трети не видят и не смотрят, всегда в другом месте...

В Романовке с Вами я яснее всего заметила это: я мелкой была, я была одной третью, старалась вызвать остальную себя – и не могла...

Вы пишете о будущем... для нас с Вами нет будущего – нас разъединяет не человек, не любовь, не наша воля, – нас разъединяет судьба. А судьба родственна природе и стихии и ей я подчиняюсь без жалоб.

На земле этой нет Сережи. Значит от земли этой я брать ничего не стану. Буду ждать другой земли, где будет он, и там, начав жизнь несломанной, я стану искать счастья...

Я несправедливо отношусь к Вам – это верно. Мне моя боль кажется больнее Вашей – это несправедливо, но я чувствую, что я права. Вы неизмеримо выше меня. Когда Вы страдаете, с Вами страдает и природа, она не покидает Вас, также как и жизнь, и смысл, Бог. Для меня же жизнь и природа в это время не существуют. Они где-то далеко, молчат и мертвы...»

\* \* \*

Сестра моя – жизнь и сегодня в разливе

Расшиблась весенним дождем обо всех,

Но люди в брелоках высоко брюзгливы

И вежливо жалят, как змеи в овсе.

У старших на это свои есть резоны.

Бесспорно, бесспорно смешон твой резон,

Что в грозу лиловы глаза и газоны

И пахнет сырой резедой горизонт.

Что в мае, когда поездов расписание

Камышинской веткой [38] читаешь в купе,

Оно грандиозней Святого писанья,

И черных от пыли и бурь канапе.

Что только нарвется, разлаявшись, тормоз,

На мирных сельчан в захолустном вине,

С матрацев глядят, не моя ли платформа,

И солнце, садясь, соболезнает мне.

И в третий плеснув, уплывает звоночек

Сплошным извиненьем: жалею, не здесь.

Под шторку несет обгорающей ночью,

И рушится степь со ступенек к звезде.

Мигая, моргая, но спят где-то сладко,

И фата-морганой любимая спит

Тем часом, как сердце, плеща по площадкам,

Вагонными дверцами сыплет в степи.

1917

Через некоторое время Пастернак снова поехал к Елене. Начинаясь сентябрь. Теперь она жила в уездном городе Балашове. Елена Александровна до конца жизни вспоминала того медника около дома, где она жила, и юродивого на базаре, которых упоминал Пастернак в своем стихотворении.

Балашов

По будням медник подле вас

Клепал, лудил, паял,

А впрочем – масла подливал

В огонь, как пай к паям.

И без того душило грудь,

И песнь небес: «Твоя, твоя!»

И без того лилась в жару

В вагон, на саквояж.

Сквозь дождик сеялся хорал

На гроб и в шляпы молокан,

А впрочем – ельник подбирал

К прощальным облакам.

И без того взошел, зашел

В больной душе, щемя, мечась,

Большой, как солнце, Балашов

В осенний ранний час.

Лазурью июльской облит,

Базар синел и дребезжал.

Юродствующий инвалид

Пиле, гундося, подражал.

Мой друг, ты спросишь, кто велит,

Чтоб жглась юродивого речь?

В природе лип, в природе плит,

В природе лета было жечь.

1917

\* \* \*

Мой друг, ты спросишь, кто велит

Чтоб жглась юродивого речь?

Давай ронять слова,

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Как сад – янтарь и cedру,

Рассеяннo и щедрo,

Едва, едва, едва.

Не надо толковать,

Зачем так церемонно

Мареной и лимоном

Обрызнута листва.

Кто иглы заслезил

И хлынул через жерди

На ноты к этажерке

Сквозь шлюзы жалюзи.

Кто коврик за дверьми

Рябиной иссурьмил,

Рядном сквозных, красивых

Трепещущих курсивов.

Ты спросишь, кто велит,

Чтоб август был велик,

Кому ничто не мелко,

Кто погружен в отделку

Кленового листа

И с дней экклезиаста [39]

Не покидал поста

За теской алебаstra?

Ты спросишь, кто велит,

Чтоб губы астр и далий

Сентябрьские страдали?

Чтоб мелкий лист раки́т

С седых кариатид

Слетал на сырость плит

Осенних госпиталей?

Ты спросишь, кто велит?

– Всесильный БОГ деталей

Всесильный БОГ любви

Ягайлов и Ядвиг [40] .

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Не знаю, решена ль

Загадка зги загробной,

Но жизнь, как тишина

Осенняя – подробна.

1917

\* \* \*

Весна была просто тобой,

И лето – с грехом пополам,

Но осень, но этот позор голубой

Обоев, и войлок, и хлам!

Разбитую клячу ведут на махан,

И ноздри с коротким дыханьем

Заслушались мокрой ромашки и мха,

А то и конины в духане.

В прозрачность заплаканных дней целиком

Губами и глаз полыханьем

Впиваешься, как в помутнелый флакон

С невыдохшимися духами.

Не спорить, а спать. Не оспаривать,

А спать. Не распахивать наспех

Окна, где в беспмятных заревах

Июль, разгораясь, как яспис [41] ,

Расплавливал стекла и спаривал

Тех самых пунцовых стрекоз,

Которые нынче на брачных

Брусах – мертвей и прозрачней

Осыпавшихся папирос.

Как в сумерки сонно и зябко

Окошко! Сухой купорос [42] .

На донышке склянки – козявка

И гильзы задохшихся ос.

Как с севера дует! Как щупло

Нахохлилась стужа! О вихрь,

Общупай все глубины и дупла,

Найди мою песню в живых!

1917

Послесловье

Нет, не я вам печаль причинил.

Я не стоил забвения родины.

Это солнце горело на каплях чернил,

Как в кистях запыленной смородины.

И в крови моих мыслей и писем

Завелась кошениль.

Этот пурпур червца от меня независим.

Нет, не я вам печаль причинил.

Это вечер из пыли лепился и, пышучи,

Целовал вас, задохшись в охре пыльцой.

Это тени вам щупали пульс. Это, вышедши

За плетень, вы полям подставляли лицо

И пылали, пlying, по олифе калиток,

Полумраком, золою и маком залитых.

Это – круглое лето, горев в ярлыках

По прудам, как багаж солнцепеком заляпанных,

Сургучом опечатало грудь бурлака

И сожгло ваши платья и шляпы.

Это ваши ресницы, слипались от яркости,

Это диск одичалый, рога истесав

Об ограды, бодаясь, крушил палисад.

Это – запад, карбункулом вам в волоса

Залетев и гудя, угасал в полчаса,

Осыпая багрянец с малины и бархатцев.

Нет, не я, это – вы, это ваша краса.

1917

\* \* \*

Здесь прошелся загадки таинственный ноготь.

– Поздно, выплюсь, чем свет перечту и пойму.

А пока не разбудят, любимую трогать

Так, как мне, не дано никому.

Как я трогал тебя! Даже губ моих медью

Трогал так, как трагедией трогают зал.

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)

Поцелуй был, как лето. Он медлил и медлил,

Лишь потом раздражалась гроза.

Пил, как птицы. Тянул до потери сознания,

Звезды долго горлом текут в пищевод,

Соловьи же заводят глаза с содроганьем,

Осушая по капле ночной небосвод.

1917

27 октября 1917 года в Москве было установлено военное положение, и в воскресенье 29-го числа началась орудийная пальба. На улицах стали строить баррикады и рыть окопы. Такой окоп был вырыт и в Сивцевом Вражке, недалеко от дома, где снимал комнату Борис Пастернак. Его брат Александр в своих воспоминаниях описал увиденные из окон дома на Волхонке отряды юнкеров, которые избрали себе укрытием парапеты сквера у храма Христа Спасителя. Борис успел прийти на Волхонку в момент некоторого затишья и застрял там на три дня. Дом простреливался с двух сторон. Через стекла и дерево рам пробивались отдельные пули.

\* \* \*

«...От невообразимого шума и гама, в который вмешивался треск пулемета и густой бас канонады – мы сразу оглохли, будто пробкой заткнуло уши. Долго выстоять было трудно, хотя страха я не ощутил никакого: стрельба шла перекидным огнем через двор; но общая картина звукового пейзажа была такова, что больно было ушам и голове; визг металла, форменным образом режущего воздух, был высок и свистящ – невозможно было находиться в этом аду...»

Так длилось долго, казалось – вечность! Выходить на улицу нельзя было и думать. Телефон молчал, лампочки не горели и не светили, а только изредка вдруг самоосвещались красным полусветом, дрожа и только на доли минуты...»

А.Л. Пастернак.

Воспоминания

Но когда на третий день вдруг прекратился обстрел, тишина показалась еще более неестественной и страшной и так действовала на нервы, что страшно было ее нарушить разговором. Борис подошел к пианино, но тотчас отошел прочь, увидев какой ужас его намерение вызвало в брате. Он вскоре ушел к себе.

\* \* \*

«...В не убиравшуюся месяцами столовую смотрели с Сивцева Вражка зимние сумерки, террор, крыши и деревья Приарбатья. Хозяин квартиры, бородатый газетный работник чрезвычайной рассеянности и добродушия, производил впечатление холостяка, хотя имел семью в Оренбургской губернии... При наступлении темноты постовые открывали вдохновенную пальбу из наганов. Они стреляли то пачками, то отдельными редкими вопрошаньями в ночь, полными жалкой безотзывной смертоносности, и так как им нельзя было попасть в такт и много гибло от шальных пуль, то в целях безопасности по переулкам вместо милиции хотелось расставить фортепьянные метрономы...»

Борис Пастернак.

Из повести «Охранная грамота»

Вдохновение

По заборам бегут амбразуры,

Образуются бреши в стене,

Когда ночь оглашается фуруй

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Повестей, неизвестных весне.

Без клещей приближенье фургона  
Вырывает из ниш костыли  
Только гулом свершенных прогонов,  
Подымающих пыль издали.  
Этот грохот им слышен впервые.  
Завтра, завтра понять я вам дам,  
Как рвались из ворот мостовые,  
Вылетая по жарким следам,  
Как в российскую хвойную скорбкость  
Скипидарной, как утро, струи  
Погружали постройки свой корпус  
И лицо окунал конвоир.  
О, теперь и от лип не в секрете:  
Город пуст по зарям оттого,  
Что последний из смертных в карете  
Под стихом и при нем часовой.  
В то же утро, ушам не поверя,  
Протереть не успевши очей,  
Сколько бедных, истерзанных перьев  
Рвется к окнам из рук рифмачей!

1921

В последнем четверостишии речь идет о чтении утренних газет, ежедневно  
заполняемых рифмованными прописями пробудившихся борзописцев. Этот же сюжет  
повторяется в стихах из цикла «К Октябрьской годовщине» (1927), рисующих картины  
той осени.

\* \* \*

Густая слякоть клейковиной  
Полощет улиц колею:  
К виновному прилип невинный,  
И день, и дождь, и даль в клею.  
Ненастье настигает скаты,  
Гремит железом пласт о пласт,  
Свергает власти, рвет плакаты,  
Натравливает класс на класс.  
Костры. Пикеты. Мгла. Поэты



Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Уже печатают тюки

Стихов потомкам на пакеты  
И нам под кету и пайки.  
Тогда, как вечная случайность,  
Подкрадывается зима  
Под окна прачечных и чайных  
И прячет хлеб по закромам.  
Коротким днем, как коркой сыра,  
Играют крысы на софе  
И, протаскив по всей квартире,  
Укатывают за буфет.  
На смену спорам оборонцев –  
Как север, ровный Совнарком [43] ,  
Безбрежный снег, и ночь и солнце,  
С утра глядящее сморчком.  
Пониклый день, серье и быдло,  
Обидных выдач жалкий цикл,  
По виду – жизнь для мотоциклов  
И обданных повидлой игл.  
Для галок и красногвардейцев,  
Под черной кожи мокрый хром.  
Какой еще заре зардеться  
При взгляде на такой разгром?  
На самом деле ж это – небо  
Намыкавшейся всласть зимы,  
По всем окопам и совдепам [44]  
За хлеб восставшей и за мир.  
На самом деле это где-то  
Задетый ветром с моря рой  
Горящих глаз Петросовета,  
Вперенных в небывалый строй.  
Да, это то, за что боролись.  
У них в руках – метеорит.  
И будь он даже пуст, как полюс,

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Спасибо им, что он открыт.

Однажды мы гостили в сфере  
Преданий. Нас перевели  
На четверть круга против зверя.  
Мы – первая любовь земли.

1927

После разгона Учредительного собрания, ставшего крушением надежд на установление в стране законности и порядка, – подтверждением страшных предчувствий стало убийство революционными матросами в ночь с 7-го на 8 января 1918 года в Мариинской больнице двух депутатов: министра Временного правительства А.И. Шингарева и государственного контролера Ф.Ф. Кокошкина.

\* \* \*

Мутится мозг. Вот так? В палате?  
В отсутствие сестер?  
Ложились спать, снимали платье.  
Курок упал и стер?  
Кем были созданы матросы,  
Кем город в пол-окна,  
Кем ночь творцов; кем ночь отбросов,  
Кем дух, кем имена?  
Один ли Ты, с одной страстью,  
Бессмертный, крепкий дух,  
Надмирный, принимал участие  
В творенье двух и двух?  
Два этих – пара синих блузок.  
Ничто. Кровоподтек.  
Но если тем не «мир стал узок»,  
Зачем их жить завлек?  
Сарказм на Маркса. О, тупицы!  
Явитесь в чем своем.  
Блесните! Дайте нам упиться!  
Чем? Кровью? – Мы не пьем.  
Так вас не жизнь парить просила?  
Не жизнь к верхам звала?  
Пред срывом пухнут кровью жилы  
В усильях лжи и зла.

1918

Русская революция  
Как было хорошо дышать тобою в марте  
И слышать на дворе, со снегом и хвоей,  
На солнце, поутру, вне лиц, имен и партий,  
Ломающее лед дыхание твое!  
Казалось, облака несут, плывя на запад,  
Народам со дворов, со снегом и хвоей,  
Журчащий как ручьи, как солнце сонный запах –  
Всё здешнее, всю грусть, всё русское твое.  
И теплая капель, буравя спозаранку  
Песок у желобов, грачи и звон тепла  
Гремели о тебе, о том, что иностранка,  
Ты по сердцу себе приют у нас нашла.  
Что эта изо всех великих революций  
Светлейшая, не станет крови лить, что ей  
И Кремль люб, и то, что чай тут пьют из блюда.  
Как было хорошо дышать красой твоей!  
Казалось, ночь свята, как копоть в катакомбах [45]  
В глубокой тишине последних дней поста.  
Был слышен дерн и дром [46] , но не был слышен Зомбарт [47] .  
И грудью всей дышал Социализм Христа.  
Смеркалось тут... Меж тем свинец к вагонным дверцам  
(Сиял апрельский день) – вдали, в чужих краях  
Навешивался вспех ганноверцем, ландверцем [48] .  
Дышал локомотив. День пел, пчелой роясь.  
А здесь стояла тишь, как в сердце катакомбы.  
Был слышен бой сердец. И в этой тишине  
Почудилось: вдали курьерский неся, пломбы  
Тряслись, и взвод курков мерещился стране.  
Он – «С Богом, – кинул, сев; и стал горланить: –  
К черту! –  
Отчизну увидав: – Черт с ней, чего глядеть!  
Мы у себя, эй жги, здесь Русь, да будет стерта!  
Еще не всё сплылось; лей рельсы из людей!

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Лети на всех парах! Дыми, дави и мимо!

Покуда целы мы, покуда держит ось.

Здесь не чужбина нам, дави, здесь край родимый.

Здесь так знакомо всё, дави, стесненья брось!»

Теперь ты – бунт. Теперь ты – топки полыханье.

И чад в котельной, где на головы котлов

Пред взрывом плещет ад Балтийскою лоханью

Людскую кровь, мозги и пьяный флотский блёв.

1918

В стихотворении, не издававшемся при жизни Пастернака и сохранившемся в бумагах его брата, особое возмущение автора вызвано открытой ненавистью Ленина к России и всему русскому, весенней тишине противостоит громовая резкость («стал горланить») ленинских призывов к насилию. В заметке 1957 года, посвященной лету 1917 года и роли Ленина, Пастернак писал о «не имеющей примера смелости его обращения к разбушевавшейся стихии», о его «готовности не считаться ни с чем». Заметка была написана по требованию редакции, не допускавшей к изданию очерк Пастернака «Люди и положения» без каких-либо слов о его отношении к революции. Общая тональность восхищения атмосферой революционного лета давала возможность в положительном смысле воспринимать откровенно страшные слова о «душе и совести» «великой русской бури», «лицом и голосом» которой стал Ленин. Теперь время дало возможность снять со слов Пастернака вуаль заглушавшего смысл обязательного тона славословий и обнажить точную правду высказанных Ленину обвинений: «...Он, не колеблясь, взял на себя ответственность за кровь и ломку, каких не видел мир, он не побоялся кликнуть клич к народу, воззвать к самым затаенным и заветным его чаяньям, он позволил морю разбушеваться, ураган пронесся с его благословения...»

\* \* \*

«...Настала зима, какую именно предсказывали. Она еще не так пугала, как две наступившие вслед за нею, но была уже из их породы, темная, голодная и холодная, вся в ломке привычного и перестройке всех основ существования, вся в нечеловеческих усилиях уцепиться за ускользящую жизнь.

Их было три подряд, таких страшных зимы, одна за другой, и не всё, что кажется теперь происшедшим с семнадцатого на восемнадцатый год, случилось действительно тогда, а произошло, может статься, позже. Эти следовавшие друг за другом зимы слились вместе и трудно отличимы одна от другой. Старая жизнь и молодой порядок еще не совпадали. Между ними не было ярой вражды, как через год, во время гражданской войны, но недоставало и связи. Это были стороны расставленные отдельно, одна против другой, и не покрывавшие друг друга...»

Борис Пастернак.

Из романа «Доктор Живаго»

Весной 1918 года Елена Виноград вышла замуж за наследника текстильных мануфактур А.Н. Дороднова, чтобы успокоить мать, волновавшуюся за ее судьбу, и уехала с мужем в село Яковлевское Костромской губернии. Еще год тому назад Пастернак боялся подобного шага и старался удержать Елену от тривиальности такого поступка, от ненужной жертвы и писал:

\* \* \*

Достатком, а там и пирами

и мебелью стиля жакоб

Иссушат, убьют темперамент,

Гудевший как ветвь жуком.

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Он сыплет искры с зубьев,

Когда, сгребя их в ком,  
Ты бесов самолюбя  
Терзаешь гребешком.  
В осанке твоей: «С кой стати?»,  
Любовь, а в губах у тебя  
Насмешливое: «Оставьте,  
Вы хуже малых ребят».  
О свежесть, о капля смарагда  
В упившихся ливнем кистях,  
О сонный начес беспорядка,  
О дивный, божий пустяк!

1917

Забегая вперед скажем, что брак Елены не был счастливым, а наследственные заводы ее мужа вскоре были национализированы. Первым откликом Пастернака на известие о замужестве Елены стало стихотворение:

\* \* \*  
Весна, я с улицы, где тополь удивлен,  
Где даль пугается, где дом упасть боится,  
Где воздух синь, как узелок с бельем  
У выписавшегося из больницы.  
Где воздух пуст, как прерванный рассказ,  
Оставленный звездой без продолженья  
К недоумению тысяч шумных глаз,  
Бездонных и лишенных выраженья.

1918

Согласие Елены на этот поспешный брак представлялось Пастернаку страшной победой мужской силы и соблазна обеспеченности над женской неискушенностью. Образ поверженной амазонки уподобляется в его стихотворении падению героини «Фауста» Гретхен:

Маргарита  
Разрывая кусты на себе, как силок,  
Маргаритиных стиснутых губ лиловой,  
Горячей, чем глазной Маргаритин белок,  
Бился, щелкал, царил и сиял соловей.  
Он как запах от трав исходил. Он как ртуть  
Очумелых дождей меж черемух висел.  
Он кору одурял. Задыхаясь ко рту

Подступал. Оставался висеть на косе.

И, когда изумленной рукой проводя  
По глазам, Маргарита влеклась к серебру,  
То казалось, под каской ветвей и дождя  
Повалилась без сил амазонка в бору.  
И затылок с рукою в руке у него,  
А другую назад заломила, где лег,  
Где застрял, где повис ее шлем теневой,  
Разрывая кусты на себе, как силок.

1919

\* \* \*

Мне в сумерки ты всё – пансионеркою,  
Всё – школьницей. Зима. Закат лесничим  
В лесу часов. Лежу и жду, чтоб смерклося.  
И вот – айда! Аукаемся, кличем.  
А ночь, а ночь! Да это ж ад, дом ужасов!  
Проведай ты, тебя б сюда пригнало!  
Она – твой шаг, твой брак, твое замужество,  
И тяжелей дознаний трибунала.  
Ты помнишь жизнь? Ты помнишь, стаяй горлинок  
Летели хлопья грудью против гула.  
Их вихрь крутил, кутя, валясь прожорливо  
С лотков на снег, их до панелей гнуло!  
Перебегала ты! Ведь он подсовывал  
Ковром под нас салазки и кристаллы!  
Ведь жизнь, как кровь из облака пунцового  
Пожаром вьюги озарясь, хлестала!  
Движенье, помнишь? Помнишь время? Лавочниц?  
Палатки? Давку? За разменом денег  
Холодных, звонких, – помнишь, помнишь давешних  
Колоколов предпраздничных гуденье?  
Увы, любовь! Да, это надо высказать!  
Чем заменить тебя? Жирами? Бромом?  
Как конский глаз, с подушек, жаркий, искоса

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Гляжу, страшась бессонницы огромной.

Мне в сумерки ты будто всё с экзамена,  
Всё – с выпуска. Чиж, мигрень, учебник.  
Но по ночам! Как просят пить, как пламенны  
Глаза капсюль и пузырьков лечебных!

1918–1919

Елена Александровна вспоминала, что как-то зимой, грустная, расстроенная, приходила к Пастернаку в Сивцев Вражек. Он ее утешал, говорил, что скоро жизнь возьмет свое и все наладится и «в Охотном ряду снова будут зайцы висеть». Отголоски этого разговора слышны в этом стихотворении, включенном в цикл «Болезнь», написанный после перенесенной в ноябре 1918 года тяжелой инфлуэнцы, унесший в тот год множество жизней. Ослабленный недоеданием, больной находился в критическом состоянии. Горячечный бред, холод в комнате, которую нельзя было натопить из-за отсутствия дров. Его выходила мать, переехавшая на время к сыну. В стихах этого цикла отразились пронесившиеся в болезненном сознании обрывки тяжелых событий этого года и страшные картины террора. Классическое уподобление государства, в данном случае – Кремля – кораблю, отразившееся в следующем стихотворении, берет свое начало в Элегии греческого поэта VI века до новой эры Феогнида.

Кремль в буран 1918 года  
Как брошенный с пути снегам  
Последней станцией в развалинах,  
Как полем в полночь, в свист и гам,  
Бредущий через силу в валяных,  
Как пред концом, в упаде сил  
С тоски взывающий к метелице,  
Чтоб вихрь души не угасил,  
К поре, как тьмою все застелется,  
Как схваченный за обшлага  
Хохочущею вьюгой нарочный,  
Ловящий кисти башлыка,  
Здороваящуюся в наручных,  
А иногда! – А иногда,  
Как пригнанный канатом накороть  
Корабль, с гуденьем, прочь к грядам  
Срывающийся чудом с якоря,  
Последней ночью, несравним  
Ни с чем, какой-то странный, пенный весь,  
Он, Кремль, в оснастке стольких зим,  
На нынешней срывает ненависть.  
И грандиозный, весь в былом,

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)

Как визионера дивинация [49] ,  
Несется, грозный, напролом,  
Сквозь неистекший в девятнадцатый.  
Под сумерки к тебе в окно  
Он всю медью звонниц ломится.  
Боится, видно, – год мелькнет, –  
Упустит и не познакомится.  
Остаток дней, остаток вьюг,  
Сужденных башням в восемнадцатом,  
Бушует, прядает вокруг,  
Видать – не нагулялись насыто.  
За морем этих непогод  
Предвижу, как меня, разбитого,  
Ненаступивший этот год  
Возьметса сызнова воспитывать.

1918–1919

январь 1919 года  
Тот год! Как часто у окна  
Нашептывал мне, старый: «Выкинься».  
А этот, новый, все прогнал  
Рождественскую сказкой Диккенса [50] .  
Вот шепчет мне: «Забудь, встряхнись!»  
И с солнцем в градуснике тянется  
Тот-в-точь, как тот дарил стрихнин  
И падал в пузырек с цианистым.  
Его зарей, его рукой,  
Ленивым веяньем волос его  
Почерпнут за окном покой  
У птиц, у крыш, как у философов.  
Ведь он пришел и лег лучом  
С панелей, с снеговой повинности.  
Он дерзок и разгорячен,  
Он просит пить, шумит, не вынести.  
Он вне себя. Он внес с собой



Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Дворовый шум и – делать нечего:

На свете нет тоски такой,  
Которой снег бы не вылечивал.

1919

Зима в том году выдалась особенно снежной. В стихотворении упоминается снеговая повинность, то есть обязанность, возложенная на сословия, лишённые избирательных прав и рабочих карточек, расчищать улицы, занесённые длительными снегопадами, разгружать товарные составы. Об участии Пастернака в такой работе вспоминала его сестра Лидия:

«...В первые послереволюционные годы холода и голода, когда приходилось заниматься тяжёлым физическим трудом, главным образом именно нам с Борей выпадала редкая и счастливая возможность принести домой полный мешок мороженой картошки, напилённых от разрушенного дома дров или пойти в соседнюю деревню за санями с крестьянскими продуктами. Однажды после снегопада, а это случалось часто в послереволюционные зимы, транспорт перестал ходить и целые поезда с самыми важными товарами стояли один за другим на окраинах Москвы, правительство издало декрет о мобилизации неслужащего населения на расчистку путей... Ранним зимним серым утром наша маленькая группа встретилась с соседями, на вид столь же оробевшими, и мы вместе пошли на окраину города по ещё пустым улицам. Мы представляли собой грустное зрелище, – те, что ждали нас, главным образом пожилые люди из старой интеллигенции, худые, с бледными лицами, усталые, в неподходящей для работы одежде, с трудом волочили ноги по грязному снегу; казалось, мы никогда не доберёмся до места. Когда мы, наконец, добрались, солнце встало, небо было голубым и казалось необъятным, сугробы ослепительно сверкали, было радостно и свежо. Нам дали ломы и лопаты и показали, где нужно работать. Для меня это было подобно замечательной лыжной прогулке, и даже ещё лучше – в этом была целесообразность. Я не могла понять, как другие оставались угрюмы и огорчались. Испытанное Борей живо описано им в одной из лучших глав романа „Доктор Живаго“ – расчистка железнодорожных путей во время зимней поездки в Сибирь семьи Живаго...».

Гложущая боль утраты сказалась в цикле «Разрыв», первоначальное название которого «Приступ» соотносится со словами из 3-го стихотворения «приступ печали» и более соответствует тому душевному состоянию, которое переживал Пастернак, узнав о замужестве Елены Виноград.

Разрыв

1

О стыд, ты в тягость мне! О совесть, в этом раннем

Разрыве столько грез, настойчивых ещё!

Когда бы человек, – я был пустым собраньем

Висков и губ и глаз, ладоней, плеч и щек!

Тогда б по свисту строф, по крику их, по знаку,

По крепости тоски, по юности её

Я б уступил им всем, я б их повел в атаку,

Я б штурмовал тебя, позорище мое!

2

От тебя все мысли отвлеку

Не в гостях, не за вином, так на небе.

У хозяев, рядом, по звонку

Отопрут кому-нибудь когда-нибудь.

Вырвусь к ним, к бряцанью декабря.

Только дверь – и вот я! Коридор один.

«Вы оттуда? Что там говорят?

Что слышать? Какие сплетни в городе?

Ошибается ль еще тоска?

Шепчет ли потом: «Казалось – вылитая»,

Приготовясь футов с сорока

Разлететься восклицаньем: «Вы ли это?»

Пощадят ли площади меня?

Ах, когда б вы знали, как тоскуется,

Когда вас раз сто в течение дня

На ходу на сходствах ловит улица!»

3

Помешай мне, попробуй. Приди покусись потушить

Этот приступ печали, гремящей сегодня, как ртуть

в пустоте Торричелли [51] .

Воспрети, помешательство, мне, – о, приди, посягни!

Помешай мне шуметь о тебе! Не стыдись, мы – одни.

О, туши ж, о, туши! Горячее!

4

Разочаровалась! Ты думала – в мире нам

Расстаться за реквиемом лебединым?

В расчете на горе, зрачками расширенными

В слезах, примеряла их непобедимость?

На мессе б со сводов посыпалась стенопись,

Потрясись игрой на губах Себастьяна [52] .

Но с нынешней ночи во всем моя ненависть

Растянутасть видит, и жаль, что хлыста нет.

Впотьмах, моментально опомнясь, без медлящего

Раздумья решила, что все перепашет.

Что – время. Что самоубийство ей не для чего,

Что даже и это есть шаг черепаший.

5

Мой друг, мой нежный, о точь-в-точь, как ночью,  
Страница 90

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)

в перелете с Бергена [53] на полюс,  
Валящим снегом с ног гагар сносимый жаркий пух,  
Клянусь, о нежный мой, клянусь, я не неволюсь,  
Когда я говорю тебе – забудь, усни, мой друг.  
Когда, как труп затертого до самых труб норвежца [54] ,  
В виденьи зим, не движущих заиндевевших мачт,  
Ношусь в сполохах глаз твоих шутивым – спи, утешься,  
До свадьбы заживет, мой друг, угомонись, не плачь.  
Когда совсем как север вне последних поселений,  
Украдкой от арктических и неусыпных льдин,  
Полночным куполом полощущий глаза слепых тюленей,  
Я говорю – не три их, спи, забудь: все вздор один.

б

Рояль дрожащий пену с губ оближет.  
Тебя сорвет, подкосит этот бред,  
Ты скажешь: – милый! – Нет, – вскричу я, – нет!  
При музыке?! – Но можно ли быть ближе,  
Чем в полутьме, аккорды, как дневник,  
Меча в камин комплектами, погодно?  
О пониманье дивное, кивни,  
Кивни, и изумишься! – ты свободна.  
Я не держу. Иди, благотвори.  
Ступай к другим. Уже написан Вертер [55] ,  
А в наши дни и воздух пахнет смертью:  
Открыть окно – что жилы отворить.

1918

\* \* \*

«...А ужасная зима была здесь в Москве, Вы слышали, наверное. Открылась она так. Жильцов из нижней квартиры погнал Изобразительный отдел вон; нас, в уваженье к отцу и ко мне, пощадили, выселять не стали. Вот мы и уступили им полквартиры, уплотнились.

Очень, очень рано, неожиданно рано выпал снег, в начале октября зима установилась полная. Я словно переродился и пошел дрова воровать у Ч.К [56] . по соседству. Так постепенно сажень натаскал. И еще кое-что в том же духе. – Видите вот и я – советский стал. Я к таким ужасам готовился, что год мне, против ожиданий, показался сносным и даже счастливым – он протек «еще на земле», вот в чем счастье...

Тут советская власть постепенно выродилась в какую-то мещанскую атеистическую богадельню. Пенсии, пайки, субсидии, только еще не в пелеринках интеллигенция и

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru) гулять не водят парами, а то совершенный приют для сирот, держат впроголодь и заставляют исповедовать неверье, молясь о спасенье от вши, снимать шапки при исполнении интернационала и т. д. Портреты ВЦИКа [57] , курьеры, присутственные и неприсутственные дни. Вот оно. Ну стоило ли такую кашу заваривать».

Борис Пастернак – Дмитрию Петровскому

Из письма 6 апреля 1920

\* \* \*

«...Когда я теперь пытаюсь вспомнить его точный облик, ясно вижу его в последние годы перед нашей разлукой сидящим за столом, за работой, в шерстяном свитере, ноги в валенках, перед ним кипящий самовар, стакан крепкого чая, до которого легко можно дотянуться рукой. Он его постоянно доливал, пил, продолжая писать. Я вижу еще, как он присел перед голландкой, мешая поленья – этого он никому не доверял делать, – или как он идет тихо, не спеша, аккуратно несет полную лопату горящего угля из одной печки в другую, потом старательно подметает упавшие куски; я вспоминаю, что так однажды у него загорелись валенки. Я вижу еще, как давным-давно, когда я была маленькой, он импровизировал на рояле поздно вечером, наполняя темноту печалью и невыразимой тоской. Под его пальцами выростала музыка бушующих волн, целый мир, неведомый, с ужасом любви и разлуки, поэзии и смерти; Боря переставал быть нашим братом и становился чем-то непостижимым, страшным, демоном, гением. Со слезами на глазах мы плакали, моля Бога, чтоб Он его нам вернул. Но он часто возвращался, когда мы уже спали...»

Лидия Пастернак-Слейтер.

Из «Заметок»

\* \* \*

Сейчас мы руки углем замараем,  
Вмуруем в камень самоварный дым,  
И в рукопашной с медным самураем,  
С кипящим солнцем в комнаты влетим.  
Но самурай закован в серый панцирь.  
К пустым сараям не протоптан след.  
Пролеты комнат канули в пространство.  
Зари не будет, в лавках чаю нет.  
Тогда скорей на крышу дома слазим,  
И вновь в роях недвижных верениц  
Москва с размаху кувыркнется наземь,  
Как ящик из-под киевских яиц.  
Испакощенный тѣс ее растащен.  
Взамен оград какой-то чародей  
Огородил дощатый шорох чащи  
Живой стеной ночных очередей.  
Кругом фураж, не дожранный морозом.  
Застряв в бурана бледных челюстях,  
Чернеют крупы палых паровозов

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
и лошадей, шарахнутых врасяг.

Пещерный век на пустырях щербатых

Понурыми фигурами проныр

Напоминает города в Карпатах:

Москва – войны прощальный сувенир.

Дырявя даль, и тут летали ядра,

Затем, что воздух родины заклят,

И половина края – люди кадра,

А погибать без торгу – их уклад.

Затем, что небо гневно вечерами,

Что распорядок штатский позабыт,

И должен рдеть хотя б в военной раме

Военной формы не носивший быт.

Теперь и тут некстати блещет скатерть

Зимы; и тут в разрушенный очаг,

Как наблюдатель на аэростате,

Косое солнце смотрит натошак.

Из романа в стихах «Спекторский», 1928

В поздние годы «образ разрухи» был осмыслен Пастернаком логически как откровенное лицемерие слов Ленина о борьбе с разрухой, тогда так революционной тактикой большевиков, методом, призыванием и специальностью было

«...заводить разруху там, где ее не было, анархической, насильнической расправой со всем имеющимся налицо, точно жизнь – сырье для их исторической обработки. Но органическая действительность не минерал, с нею надо договариваться, а не ломать и дробить ее. Ленин хочет ввести новые формы плавания на смену прежним и для того, чтобы разбить противников, выпускает воду из бассейна, называет этот акт победой над старой теорией водоплавания, пробует плавать по-новому, удивляется, что у него не выходит, и рвет и мечет против всех по поводу того, что в бассейне нет воды, как будто воду выпустили они, а не он...»

Пастернак поступил на службу в Комиссию по охране культурных ценностей, созданную при Наркомпросе во главе с В.Я. Брюсовым. Работа состояла в оформлении «охранных грамот» на библиотеки, художественные собрания и жилую площадь. Кроме службы, пришлось, оставив оригинальные работы, взяться за переводы.

Необходимым подспорьем стал также огород. Летом 1918 года родители с сестрами жили на даче друзей на Очаковской платформе по Киевской железной дороге. Подняли и засеяли несколько грядок, в предчувствии голодной зимы растили овощи и картошку. Борис приезжал туда в субботу вечером и проводил там воскресенье. Именно здесь по воскресеньям, наработавшись за день на огороде, после вечерней поливки он написал цикл стихотворений «Тема с вариациями». Взаимосвязанность работы на земле и за письменным столом определялась для Пастернака значением слова «культура», которое своим латинским происхождением подтверждало это единство.

Стихи, посвященные Пушкину – «Тема с вариациями», легли в основу новой стихотворной книги. Пастернак выбрал переломный момент пушкинской биографии, его прощание с романтизмом. Последний год пребывания Пушкина в Одессе был отмечен крушением надежд, связанных с кишиневским кружком генерала Орлова. Поиски

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru) свободы толкали его в игру страстей, любовь перемежалась муками ревности. Его стихотворение «К морю» («Прощай, свободная стихия...») – прощание с морем, как олицетворением романтических идеалов и мечты о свободе. Сходный момент прощания с молодостью и романтизмом переживал в это время сам Пастернак.

«Сестру мою жизнь» Пастернак посвятил Лермонтову как вечно живому началу творческой смелости, и Демон был образом лермонтовского мятежного духа; олицетворением пушкинской глубины и тайны в «Темах с вариациями» стал Сфинкс. ореол таинственности, отличавший пушкинские стихи кишиневского периода, мог вызывать ассоциации со сфинксом, но главный опорой в создании этого образа стало генетическое родство «Египта древнего живущих изваяний» и африканского происхождения Пушкина.

Известной иллюстрацией к стихотворению Пушкина стала картина Репина и Айвазовского «Прощай, свободная стихия». Л.О. Пастернак писал этот сюжет в Одессе в 1911 году. Обе эти композиции отразились в цикле Пастернака.

Тема

Скала и шторм. Скала и плащ и шляпа.

Скала и Пушкин. Тот, кто и сейчас,

Закрыв глаза, стоит и видит в сфинксе

Не нашу дичь: не домыслы втупик

Поставленного грека, не загадку,

Но предка: плоскогубого хамита [58] ,

Как оспу, перенесшего пески,

Изрытого, как оспю, пустыней,

и больше ничего. Скала и шторм.

В осатаненьи льющееся пиво

С усов обрывов, мысов, скал и кос,

Мелей и миль. И гул, и полыханье

Окаченной луной, как из лохани,

Пучины. Шум и чад и шторм взасос.

Светло как днем. Их озаряет пена.

От этой точки глаз нельзя отвлечь.

Прибой на сфинкса не жалеет свеч

И заменяет свежими мгновенно.

Скала и шторм. Скала и плащ и шляпа.

На сфинсовых губах – соленый вкус

Туманностей. Песок кругом заляпан

Сырыми поцелуями медуз.

Он чешуи не знает на сиренах,

И может ли поверить в рыбий хвост

Тот, кто хоть раз с их чашечек коленных

Пил бившийся как об лед отблеск звезд?

Скала и шторм и – скрытый ото всех  
Нескромных – самый странный, самый тихий,  
Играющий с эпохи Псамметиха  
Углами скул пустыни детский смех...

1918

«Вторая, подражательная вариация» ориентирована на вступление к «Медному всаднику» и, помимо прямого цитирования первых строк, она воспроизводит размер и ритмический рисунок пушкинского оригинала с забегающими друг за друга анжамбеманами. Здесь также не назван по имени герой стихотворения, как у Пушкина Петр I, – что поднимает его на уровень неназываемого бога.

На берегу пустынных волн  
Стоял он, дум великих полн.  
Был бешен шквал. Песком сгущенный,  
Кровавился багровый вал.  
Такой же гнев обуревал  
Его, и чем-то возмущенный,  
Он злобу на себе срывал.  
В его устах звучало «завтра»,  
Как на устах иных «вчера».  
Еще не бывших дней жара  
Воображалась в мыслях кафру [59] ,  
Еще не выпавший туман  
Густые целовал ресницы.  
Он окунал в него страницы  
Своей мечты. Его роман [60]  
Вставал из мглы, которой климат  
Не в силах дать, которой зной  
Прогнать не может никакой,  
Которой ветры не подымут  
И не рассеют никогда  
Ни утро мая, ни страда.  
Был дик открывшийся с обрыва  
Бескрайний вид. Где огибал  
Купальню гребень белогривый,  
Где смерч на воле погибал,  
В последний миг еще качаясь,

Трубя и в отклике отчаясь,  
Борясь, чтоб захлебнуться вмиг  
И сгинуть вовсе с глаз. Был дик  
Открывшийся с обрыва сектор  
Земного шара, и дика  
Необоримая рука,  
Пролившая соленый нектар  
В пространство слепнувших снастей,  
На протяженье дней и дней,  
В сырые сумерки крушений,  
На милость черных вечеров...  
На редкость дик, на восхищенье  
Был вольный этот вид суров.  
Он стал спускаться. Дикий чашник  
Гремел ковшом, и через край  
Бежала пена. Молочай,  
Полынь и дрок за набалдашник  
Цеплялись, затрудняя шаг,  
И вихрь степной свистел в ушах.  
И вот уж бережок, пузырясь,  
Заколыхал камыш и ирис  
И набежала рябь с концов.  
Но неподернуто-свинцов  
Посередине мрак лиловый.  
А рябь! Как будто рыболова  
Свинцовый грузик заскользил,  
Осунулся и лег на ил  
С непереимчивой ужимкой,  
С какою пальцу самолетов [61]  
Умеет намекнуть без слов:  
Вода, мол, вот и вся поимка.  
Он сел на камень. Ни одна  
Черта не выдала волненья,  
С каким он погрузился в чтение



Евангелья морского дна.  
Последней раковине дорог  
Сердечный шелест, капля сна,  
Которой мука солона,  
Ее сковавшая. Из створок  
Не вызвать и клинком ножа  
Того, чем боль любви свежа.  
Того счастливейшего всхлипа,  
Что хлынул вон и создал риф,  
Кораллам губы обагрив,  
И замер на устах полипа.

1918

Любовно рисуются знакомые с детства картины Одесского взморья, штормового лета 1911 года. Замыкает тему «Вариация третья, макрокосмическая», возвращаясь к уподоблению Сфинкса и Пушкина. При этом Сахара, к которой «прислушивается» Сфинкс, оказывается той «пустыней мрачной и скупой», где усталый путник повстречал на перепутье шестикрылого посланника Божия. Вдохновенная ночь создания «Пророка» знаменует собой рождение нового отношения к своему призванию, новый уровень послушания полученным впечатлениям, осознанную жертвенность. Просветленность, посещающая творца в такие минуты и именуемая откровением, – это чувство непосредственной причастности к жизни мироздания, которая позволяет услышать «неба содроганье и гад морских подводный ход», ощутить ветерок с Марокко и увидеть восход солнца на Ганге.

\* \* \*

Мчались звезды. В море мылись мысы.  
Слепла соль. И слезы высыхали.  
Были темны спальни. Мчались мысли,  
И прислушивался сфинкс к Сахаре.  
Плыли свечи. И казалось, стынет  
Кровь колосса. Заплывали губы  
Голубой улыбкою пустыни.  
В час отлива ночь пошла на убыль.  
Море тронул ветерок с Марокко.  
Шел самум. Храпел в снегах Архангельск.  
Плыли свечи. Черновик «Пророка»  
Просыхал, и брезжил день на Ганге.

Поэма «Цыганы» была для Пушкина знаком критического отношения к герою литературных канонов романтизма и одновременно отражением душевной усталости от пережитых страстей того года, – подобные моменты переживал Пастернак, создавая свои «Вариации». Они стали ответом на весенние события в жизни Елены Виноград и означали отказ от типических, банальных ситуаций, диктуемых романтическим миропониманием.

Облако. Звезды. И сбоку –  
Шлях и – Алеко. – Глубок  
Месяц Земфирина ока: –  
Жаркий бездонный белок.  
Задраны к небу оглобли.  
Лбы голубее олив.  
Табор глядит исподлобья,  
В звезды мониста вперив.  
Это ведь кровли Халдеи  
Напоминает! Печет,  
Лунно: а кровь холодеет.  
Ревность? Но ревность не в счет!  
Стой! Ты похож на сирийца.  
Сух, как скопец-звездочет.  
Мысль озарилась убийством.  
Мщенье? Но мщенье не в счет!  
Тень как навязчивый евнух.  
Табор покрыло плечо.  
Яд? Но по кодексу гневных  
Самоубийство не в счет!  
Прянул, и пыхнули ноздри.  
Не уходился еще?  
Тише, скакун, – заподозрят.  
Бегство? Но бегство не в счет!

Гордая позиция самостоятельного существования была подорвана прямой необходимостью спасать от голода родителей и сестер. Критический момент заставил Пастернака летом 1920 года обратиться в Лито Наркомпроса с ходатайством об академическом пайке. Перечисляя сделанные за 7 месяцев переводные работы, которые в итоге составили более 10 наименований и 12 тысяч стихов, он писал:

«...Это именно та степень напряжения, та форма и та каторжная обстановка работы, когда ее проводник и исполнитель, первоначально двинутый на этот путь силою призванья, постепенно покидает область искусства, а затем и свободного ремесла и наконец, вынуждаемый обстоятельствами видит себя во власти какого-то непосильного профессионального оброка, который длится, становится все тяжелей и тяжелей и которого нельзя прервать в силу роковой социальной инерции. Между тем единственный источник продовольствования, ему доступный, – спекулятивный рынок становится все более и более недостижим, все дальше и дальше уходит от него в область какого-то сказочного и трагического издевательства над его несвоевременным гражданским простодушием... Я знаю, два основанья требуются для него „пайка“. Наличие действительной потребности, скажем лучше – нужды. Как мог, я показал ее... Другое основанье для получения академического пайка – художественное значенье соискателя, его одаренность. Здесь кончается мое

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
заявление. Кому об этом и судить, как не Лито, если вообще это выяснимо.

Член-учредитель Всероссийского Профсоюза писателей. Член президиума Профсоюза поэтов.

Б. Пастернак».

\* \* \*

«...Современные течения вообразили, что искусство как фонтан, тогда, как оно – губка. Они решили, что искусство должно бить, тогда как оно должно всасывать и насыщаться. Они сочли, что оно может быть разложено на средства изобразительности, тогда как оно складывается из органов восприятия. Ему следует всегда быть в зрителях и глядеть всех чище, восприимчивей и верней, а в наши дни оно познало пудру, уборную и показывается с эстрады; как будто на свете есть два искусства и одно из них, при наличии резерва, может позволить себе роскошь самоизвращения, равную самоубийству. Оно показывается, а оно должно тонуть в райке, в неизвестности, почти не ведая, что на нем шапка горит, и что, забившееся в угол, оно поражено светопрозрачностью и фосфоресценцией, как некоторую болезнью...»

Б. Пастернак.

Из статьи «Несколько положений», 1918

Характерным явлением этих лет были литературные кафе, которые некоторым образом заменяли исчезнувшие издательства, служа распространению поэзии среди публики. Поэты читали свои произведения посетителям, выступления переходили в диспуты и споры. Непременным участником таких вечеров был Маяковский, ставший, по словам Пастернака, «живой истиной и оправданием этого поприща», тогда как он сам, устыдившись однажды «сибаритской доступности победы эстрадной», сторонился подобных выступлений.

Шекспир

Извозничий двор и встающий из вод

В уступах – преступный и пасмурный Тауэр,

И звонкость подков, и простуженный звон

Вестминстера, глыбы, закутанной в траур.

И тесные улицы; стены, как хмель,

Копящие сырость в разросшихся бревнах,

Угрюмых, как копоть, и бражных, как эль,

Как Лондон, холодных, как поступь, неровных.

Спиралями, мешкотно падает снег.

Уже запирали, когда он, обрюзгший,

Как сползший набрюшник, пошел в полусне

Валить, засыпая уснувшую пустошь.

Оконце и зерна лиловой слюды

В свинцовых ободьях. – «Смотря по погоде.

А впрочем... А впрочем, соснем на свободе.

А впрочем – на бочку! Цирюльник, воды!»

И, бреясь, гогочет, держась за бока,

Словам остряка, не уставшего с пира

Цедить сквозь приросший мундштук чубука  
Убийственный вздор.

А меж тем у Шекспира

Остриль пропадает охота. Сонет,  
Написанный ночью с огнем, без помарок,  
За дальним столом, где подкисший ранет [62]  
Нырять, обнявшись с клешнею омара,  
Сонет говорит ему:

«Я признаю  
Способности ваши, но, гений и мастер,  
Сдается ль, как вам, и тому на краю  
Бочонка, с намыленной мордой, что мастью  
Весь в молнию я, то есть выше по касте,  
Чем люди, – короче, что я обдаю  
Огнем, как, на нюх мой, зловоньем ваш кнастер?  
Простите, отец мой, за мой скептицизм  
Сыновний, но сэр, но милорд, мы – в трактире.  
Что мне в вашем круге? Что ваши птенцы  
Пред плещуцей чернью? Мне хочется шири!  
Прочтите вот этому. Сэр, почему ж?  
Во имя всех гильдий и биллей! Пять ярдов –  
И вы с ним в бильярдной, и там – не пойму,  
Чем вам не успех популярность в бильярдной?»  
– Ему?! Ты сбесился? – И кличет слугу,  
И, нервно играя малаговой веткой [63] ,  
Считает: полпинты, французский рагу –  
И в дверь, запустя в привиденье салфеткой.

Претензии сонета к автору, обрекающему своих «птенцов» на узость трактирного круга, – это предостережения Маяковскому, лирическая сила которого терпела ущерб от выступлений в кафе, где он завоевывал дешевую популярность завсегдаев и рукоплесканье черни. Иронический вопрос: «Чем вам не успех популярность в бильярдной?» – открыто обращен к Маяковскому, страстному игроку в бильярд. Точностью попадания этого упрека он вызывает бешенство у героя стихотворения. В образе Шекспира Пастернак емко и лаконично рисует характерные детали поведения и внешнего облика Маяковского, – «остряка, не уставшего с пира // Цедить сквозь приросший мундштук чубука // Убийственный вздор». Современники запомнили и передали в своих воспоминаниях примеры «убийственного» остроумия Маяковского, которое с особенной страстью проявлялось во время публичных диспутов, а его приросшая к губе папираса запечатлена также на многих фотографиях.

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
В 1922 году надписывая Маяковскому только что вышедшую книгу «Сестра моя жизнь», Пастернак выразил трагическое недоумение, которое вызывал отказ его друга от высоких возможностей лирического самовыражения в пользу поденной мелочи случайных и временных задач. Сопоставляя бесстрашие раннего Маяковского и силу его гневного вызова обществу с теперешними бессодержательными и «неуклюже зарифмованными прописями», Пастернак писал:

Маяковскому  
Вы заняты нашим балансом,  
Трагедией ВСНХ [64] ,  
Вы, певший Летучим голландцем [65]  
Над краем любого стиха.  
Холщовая буря палаток  
Раздулась гудящей Двиной  
Движений, когда вы, крылатый,  
Возникли борт о борт со мной.  
И вы с прописями о нефти?  
Теряясь и оторопев,  
Я думаю о терапевте,  
Который вернул бы вам гнев.  
Я знаю, ваш путь неподделен,  
Но как вас могло занести  
Под своды таких богаделен  
На искреннем этом пути.

1922

\* \* \*

«...Я никогда не пойму, какой ему был прок в размагничиваньи магнита, когда, в сохраненьи всей внешности, ни песчинки не двигала подкова, вздыбливавшая перед тем любое воображенье и притягивавшая какие угодно тяжести ножками строк. Едва ли найдется в истории другой пример того, чтобы человек, так далеко ушедший в новом опыте, в час, им самим предсказанный, когда этот опыт, пусть и ценой неудобств, стал бы так насущно нужен, так полно бы от него отказался...»

Б. Пастернак.

Из повести «Охранная грамота»

В первых числах мая 1921 года в Москву приезжал Александр Блок, уже совсем больной. В очерке «Люди и положения» Пастернак вспоминал, что

«...представился ему в коридоре или на лестнице Политехнического музея в вечер его выступления в аудитории музея. Блок был приветлив со мной, сказал, что слышал обо мне с лучшей стороны, жаловался на самочувствие, просил отложить встречу с ним до улучшения его здоровья...»

Встрече не суждено было состояться, через два месяца Москву потрясло известие о его смерти.

\* \* \*

«...С Блоком прошли и провели свою молодость я и часть моих сверстников... У Блока было все, что создает великого поэта, – огонь, нежность, проникновение, свой образ мира, свой дар особого все претворяющего прикосновения, своя сдержанная,

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
скрадывающаяся, вобравшаяся в себя судьба...

Прилагательные без существительных, сказуемые без подлежащих, прятки, взбудораженность, юрко мелькающие фигурки, отрывистость – как подходил этот стиль к духу времени, таившемуся, сокровенному, едва вышедшему из подвалов, объяснявшемуся языком заговорщиков, главным лицом которого был город, главным событием – улица...

Черты действительности как током воздуха занесены вихрем блоковской впечатлительности в его книги. Даже самое далекое, что могло показаться мистикой, что можно бы назвать «божественным». Это не метафизические фантазии, а рассыпанные по всем его стихам клочки церковно-бытовой реальности, места из ектеньи, молитвы перед причащением и панихидных псалмов, знакомые наизусть и сто раз слышанные на службах.

Суммарным миром, душой, носителем этой действительности был город блоковских стихов, главный герой его повести, его биографии.

Этот город, этот Петербург Блока – наиболее реальный из Петербургов, нарисованных художниками новейшего времени. Он до безразличия одинаково существует в жизни и воображении, он полон повседневной прозы, питающей поэзию драматизмом и тревогой, и на улицах его звучит то общеупотребительное, будничное просторечие, которое освежает язык поэзии.

В то же время образ этого города составлен из черт, отобранных рукой такую нервную, и подвергся такому одухотворению, что весь превращен в захватывающее явление редчайшего внутреннего мира...»

Борис Пастернак.

Из очерка «Люди и положения»

Ветер  
(Отрывки о Блоке)

Кому быть живым и хвалимым,  
Кто должен быть мертв и хулим, –  
Известно у нас подхалимам  
Влиятельным только одним.  
Не знал бы никто, может статья,  
В почете ли Пушкин иль нет,  
Без докторских их диссертаций,  
На все проливающих свет.  
Но Блок, слава Богу иная,  
Иная, по счастью, статья.  
Он к нам не спускался с Синая [66] ,  
Нас не принимал в сыновья.  
Прославленный не по программе  
И вечный вне школ и систем,  
Он не изготовлен руками  
И нам не навязан никем.  
Он ветрен, как ветер. Как ветер,

Шумевший в имени в дни,  
Как там еще филька-фалетер [67]  
Скакал в голове шестерни.  
И жил еще дед-якобинец [68] ,  
Кристалльной души радикал,  
От коего ни на мизинец  
И ветреник внук не отстал.  
Тот ветер, проникший под ребра  
И в душу, в течение лет  
Недоброю славой и доброй  
Помянут в стихах и воспет.  
Тот ветер повсюду. Он – дома,  
В деревьях, в деревне, в дожде,  
В поэзии третьего тома [69] ,  
В «Двенадцати», в смерти, везде.  
Зловещ горизонт и внезапен,  
И в кровоподтеках заря,  
Как след незаживших царапин  
И кровь на ногах косаря.  
Нет счета небесным порезам,  
Предвестникам бурь и невзгод,  
И пахнет водой и железом  
И ржавчиной воздух болот.  
В лесу, на дороге, в овраге,  
В деревне или на селе  
На тучах такие зигзаги  
Сулят непогоду земле.  
Когда ж над большою столицей  
Край неба так ржав и багрян,  
С державою что-то случится,  
Постигнет страну ураган.  
Блок на небе видел разводы.  
Ему предвещал небосклон  
Большую грозу, непогоду,

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)

Великую бурю, циклон.

Блок ждал этой бури и встряски.

Ее огневые штрихи

Боязнь и жаждой развязки

Легли в его жизнь и стихи.

1956

Особое место среди немногочисленных вещей, помеченных 1920–1921 годом, занимает следующее стихотворение:

\* \* \*

Нас мало. Нас может быть трое

Донецких, горячих и адских

Под серой бегущей корою

Дождей, облаков и солдатских

Советов, стихов и дискуссий

О транспорте и об искусстве.

Мы были людьми. Мы эпохи.

Нас сбило и мчит в караване,

Как тундру под тендера вздохи

И поршней и шпал порыванье.

Слетимся, ворвемся и тронем,

Закружимся вихрем вороньим,

И – мимо! – Вы поздно поймете.

Так, утром ударивши в ворох

Соломы – с момент на намете, –

След ветра живет в разговорах

Идущего бурно собранья

Деревьев над кровельной дранью.

1921

Очевидность тех троих, которым посвящено стихотворение и кто подходил под эту мерку, была заметна в то время многим.

\* \* \*

«...Меня очень любят там „в Лито Наркомпроса“, – зеленейшая молодежь начинает мне подражать, делает из меня мэтра. Поправлюсь: речь идет только о той молодежи, которая не ловится на удочку громких слов, выступлений, популярности, признанности и так далее. Меня выделяют (меня и Маяковского) – Брюсов и за ним вся его служилая свита в Лито...»

Борис Пастернак – Дмитрию Петровскому

Из письма 12 января 1921



Оценки, данные Брюсовым Маяковскому и Пастернаку в обзоре «Вчера, сегодня и завтра русской поэзии» действительно достаточно высоки:

«...В центре деятельности футуристов 1917–1922 года стояли два поэта В. Маяковский и Б. Пастернак... Но оба они поэты настолько значительные, что выходят из рамок одной школы; значение их деятельности нельзя ограничить выполнением одной, хотя бы и важной задачи момента; самое творчество их не умещается в гранях одного пятилетия... Стихи Пастернака удостоились чести, не выпадавшей стихотворным произведениям (исключая те, что запрещались царской цензурой) приблизительно с эпохи Пушкина: они распространялись в списках. Молодые поэты знали наизусть стихи Пастернака, еще нигде не появившиеся в печати, и ему подражали полнее, чем Маяковскому, потому что пытались схватить самую сущность его поэзии...»

Третьим в число «донецких, горячих и адских» в то время с полным основанием входил Асеев, о нем как перворазрядном поэте неподдельной самобытности и о разнообразии его лирического темперамента Пастернак писал в рецензии на его книгу «Оксана». Они не виделись с 1915 года, когда Асеева призвали в армию, и его возвращение в Москву в 1921 году было огромной радостью для Пастернака, воспоминания о «далеком и милом прошлом» снова очень сблизили их.  
\* \* \*

«...Поколению (не исключая Маяковского) была свойственна одаренность общехудожественная, распространенного типа, с перевесом живописных и музыкальных начал. В отличие от сверстников, Асеев с самого начала удивлял редкой формой поэтического дара в его словесно-первичной классической форме...»

Б. Пастернак.

«Другу, замечательному товарищу», 1939

Летом 1921 года Борис Пастернак познакомился с Евгенией Владимировной Лурье. В то время она училась живописи во ВХУТЕМАСе, в мастерской П.П. Кончаловского. О ее знакомстве с Пастернаком вспоминал Михаил Штих:

«...Мы очень быстро и крепко подружились. Я стал бывать по вечерам в ее комнате в большом доме на Рождественском бульваре. Подолгу говорили о жизни, об искусстве, я читал ей стихи, которые помнил в великом множестве, – Блока, Ахматову и, конечно, Пастернака...»

И вот однажды, когда мы с ней были по какому-то делу на Никитской, я сообразил, что в соседнем переулке, он, кажется, тогда назывался Георгиевским, живет Боря. И мы решили наугад, экспромтом заглянуть к нему. Он был дома, был очень приветлив, мы долго и хорошо говорили с ним. Он пригласил еще заходить. И через некоторое время мы пришли опять. На этот раз я ушел раньше Жени, и она с Борей проводила меня до трамвая. И я как-то машинально попрощался с ними сразу двумя руками и вложил руку Жени в Борину. И Боря прогудел: «Как это у тебя хорошо получилось...»

В сентябре 1921 года художник Л.О. Пастернак с женой и дочерьми уехали в Германию, сыновья остались в Москве. Борис пригласил Женю Лурье придти забрать краски, оставшиеся после отъезда отца. В ее приходы он стал читать ей свой неоконченный роман о девочке Жене Люверс и письма Пушкина к жене и загадывал по книге, будет ли она его женой. Под новый год она уехала к родителям в Петроград. Вслед за ней туда полетели письма:

22 декабря 1921.

«Женичка, я из твоего отсутствия не создам культа, мне кажется, что я не думаю о тебе, сегодня первый „спокойный“ день у меня за последний месяц, – но – весь этот день у меня, со вчерашнего безостановочно колеблющееся сердцебиение, точно эти пульсации имитируют что-то твое, дорогое и тихое, может быть, ту золотую рыбкувую уклончивость, с которой начинаешь ты: «Ах попалась... [70] »

Такова и погода, таковы и встречи. То есть я без шума и без драматизма, звуковым и душевным образом, полон и болен тобою...»

23 декабря 1921.

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
«Женичка, душа и радость моя и мое будущее, женичка, скажи мне что-нибудь, чтобы я не помешался от быстроты, внезапно меня задевающих и срывающих с места. Женичка, мир так переменялся с тех дней, которые когда-то нежились на страницах наших учебников, когда некоторых из нас снимали – куколкой с куклой на руках [71] ! и не попадались тогда эти птички, а щебет их срисовывал ветром по лазури уже нарисованные весной в полдень побеги распустившихся лип, и журчанье этой рисовальной резвости ручьями лилось через окошко в некоторые дневники и ручьями – под карандаш, срисовывавший маму с тихой фотографии на тихую бумагу... [72] »

Вслед за письмами Пастернак поехал и сам. В периоды грустно складывающихся обстоятельств их дальнейшей жизни, он часто возвращался мыслью ко времени их первой близости, ища опоры в этих воспоминаниях:

«...В разлуке я ее постоянно вижу такой, какую она была, пока нас не оформило браком, то есть пока я не узнал ее родни, а она – моей. Тогда то, чем был полон до того воздух, и для чего мне не приходилось слушать себя и запрашивать, потому что это признание двигалось и жило рядом со мной в ней, как в изображении, ушло в дурную глубину способности, способности любить или не любить. Душевное значение рассталось со своими вседневными играющими формами. Стало нужно его воплощать и осуществлять...»

Борис Пастернак – Марине Цветаевой

Из письма 11 июля 1926

\* \* \*

О как она была смела,

Когда едва из-под крыла

Любимой матери, шутя,

Свой детский смех мне отдала

Без прекословий и помех –

Свой детский мир и детский смех, –

Обид не знавшее дитя,

Свои заботы и дела.

...

Из стихотворения «Стихи мои, бегом, бегом...», 1931

В апреле 1922 года в издательстве Гржебина в Москве вышла книга «Сестра моя жизнь». Пастернак с особым удовольствием надписывал дарственные экземпляры Маяковскому и Асееву, Ахматовой и Кузмину, Мандельштаму и Катаеву и многим другим.

Н.Н. Вильям-Вильмонт описал вечеринку, устроенную Пастернаком по случаю аванса от Гржебина, на которой он читал «Разрыв» и «Болезнь» – благодарные для декламации:

«...Читал он тогда не так, как позднее, начиная со „Второго рождения“, а, впрочем, уже с „Высокой болезни“ и со „Спекторского“, не просто и неторопливо-раздумчиво, а стремительно-страстно, поражая слух яростно-гудящим словесным потоком... даже его мычание было напоено патетической полнозвучностью. Начал он с „Разрыва“, и словно грозно взревший водопад, обрушились на нас и на меня его стихи. Подбор гостей: Штихи – трое, Бобров – в роли весельчака, Юлиан Анисимов и Вера Оскаровна, Локс, читавший тогда курс теории прозы, потом Александр Леонидович и совсем поздно Маяковский и Большаков...»

Такого рода вечера собирались у Пастернаков достаточно регулярно, угощение было самое скромное – чай и бутерброды: самовар собственноручно ставил хозяин, недостаток угощения скрашивался чтением стихов и музыкой.

По восстановлению дипломатических отношений России с Германией Пастернак начал

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
хлопоты, чтобы вместе с молодой женой поехать в Берлин к родителям. Туда уже перебралась часть русских издательств, в которых печатались его книги: второе издание «Сестры моей жизни» и недавно оконченные «Темы и вариации».

Решили плыть морем из Петрограда, так было дешевле, тем более что багаж брали большой: живописные работы Евгении Владимировны, которая намеревалась продолжить за границей свое образование, ящики с книгами. Накануне отъезда из Москвы Пастернака внезапно вызвал к себе Троцкий. Об этом разговоре известно из письма Пастернака к Брюсову, написанного через четыре дня после этого, 15 августа 1922 года:

«...Он более получаса беседовал со мною о предметах литературных, жалко, что пришлось говорить главным образом мне, хотелось больше его послушать, а надобность в такой декларативности явилась не только от двух-трех его вопросов... потребность в таких изъяснениях вытекала прямо из перспектив заграничных, чреватых кривотолками, искаженьями истины, разочарованиями в совести уехавшего. Он спросил меня (ссылаясь на Сестру и еще кое-что, ему известное) – отчего я „воздерживаюсь“ от откликов на общественные темы... Ответы и разъяснения мои сводились к защите индивидуализма истинного, как новой социальной клеточки нового социального организма...»

Утром 17 августа они с женой погрузились на пароход «Гакен», плывший из Петрограда в Штеттин.

Отплытие

Слышен лепет соли каплющей.

Гул колес едва показан.

Тихо взявши гавань за плечи,

Мы отходим за пакгаузы.

Плеск и плеск, и плеск без отзыва.

Разбегаясь со стенаньем,

Вспыхивает бледно-розовая

Моря ширь берестяная.

Треск и хруст скелетов раковых,

И шипит, горя, берёста.

Ширь растет, и море вздрагивает

От ее прироста.

Берега уходят ельничком, –

Он невзрачен и тщедушен.

Море, сумрачно бездельничая,

Смотрит сверху на идущих.

С моря еще по морошку

Ходит и ходит лесками

Грохнув и борт огороша,

Ширящееся плесканье.

Виден еще, еще виден

Берег, еще не без пятен

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Путь, – но уже необыден

И, как беда, необъятен.

Страшным полуоборотом,  
Сразу меняясь во взоре,  
Мачты въезжают в ворота  
Настежь открытого моря.

Вот оно! И, в предвкушеньи  
Сладко бушующих новшеств,  
Камнем в пучину крушений  
Падает чайка, как ковшик.

1922. Финский залив

Впечатления от Германии отразились в цикле стихов, написанных в Берлине. Два из них посвящены первым дням, проведенным в Штеттине, на берегу Северного моря. В них явственно слышны отголоски того облегчения, которое пережил человек, освободившийся от страшных снов революционной Москвы. Несомненно, что предотъездный допрос Троцкого добавил краски этим видениям.

Морской штиль  
Палящим полднем вне времен

В одной из лучших экономий [73]

Я вижу движущийся сон –

Историю в сплошной истоме.

Прохладой заряжен револьвер

Подвалов, и густой салют

Селитрой своды отдают

Гостям при входе в полдень с воли.

В окно ж из комнат в этом доме

Не видно ни с каких сторон

Следов знакомой жизни, кроме

Воды и неба вне времен.

Хватясь искомого приволья,

Я рвусь из низких комнат вон.

Напрасно! За лиловый фольварк,

Под слуховые окна служб

Верст на сто в черное безмолвье

Уходит белой лентой глушь.

Верст на сто путь на запад занят

Клубничной пеной, и янтарь

Той пены за собою тянет  
Глубокой ложкой вал винта.  
А там, с обмылками в обнимку,  
С бурлящего песками дна,  
Как кверху всплывшая клубника,  
Круглится цельная волна.

1922

Перелет  
А над обрывом, стих, твоя опешит  
Зарвавшаяся страстность муравья,  
Когда поймешь, чем море отмель крошит,  
Поскальзываясь, шаркая, ревя.  
Обязанность одна на урагане:  
Перебивать за поворотом грусть  
И сразу перехватывать дыханье,  
И кажется ее нетрудно блюсть.  
Беги же вниз, как этот спуск ни скользок,  
Где дачницыно щелкает белье,  
И ты поймешь, как мало было пользы  
В преследованьи рифмой форм ее.  
Не осмотришь и времени не выбрав  
И поглощенный полностью собой,  
Нечаянно, но с фырканием всех фибров  
Летит в объятья женщины прибой.  
Где грудь, где руки брызгавшейся рыбки?  
До лодок доплеснулся жидкий лед.  
Прибой и землю обдал по ошибке..  
Такому счастью имя – перелет.

1922–1923

Образ трепещущей рыбки в конце стихотворения восходит к упоминавшейся выше в письме к Жене Лурье ее «золотой рыбковой уклончивости». Свое сознательное нежелание писать о ней любовные стихи («преследование рифмой форм ее») Пастернак объяснял в позднейших письмах к ней суеверной боязнью потерять ее, подобно тому, как это случилось с Еленой Виноград после написания стихов «Сестры моей жизни».

В середине октября в Берлин приехал Маяковский. Вместе с Пастернаком они выступали с чтением стихов 20 октября 1922 года. По воспоминаниям В.Л. Андреева,

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Пастернак читал из «Сестры моей жизни»:

«..Он произносил слова стихов ритмично и глухо. Почти без жестов, в крайнем напряжении и абсолютной уверенности в музыкальной точности произносимого слова...

По мере того, как я слушал Пастернака, все становилось стихами. Как Орфей, он превращал в поэзию окружающий мир: сутулая спина Эренбурга, красные, возбужденные глаза Шкловского; новый смокинг Дули Кубрика, фигура официанта в заношенной белой тужурке, мраморные столики кафе... Глуховатый голос зажигал произносимые слова, и строка вспыхивала, как цепочка уличных фонарей. Лицо Пастернака было сосредоточенно, замкнуто в самом себе. Я подумал, что таким было лицо Бетховена, сквозь глухоту вслушивающегося в свою музыку...

В один и тот же вечер я услышал – в первый раз! – Маяковского и Пастернака; Маяковский потряс, возвысил и уничтожил меня: уничтожил нечто казавшееся незыблемым; в стихи Пастернака я влюбился без памяти...»

Бабочка – буря  
Бывалый гул былой Мясницкой

Вращаться стал в моем кругу,  
И, как вы на него ни цыцкай,  
Он пальцем вам – и ни гугу.  
Он снится мне за массой действий,  
В рядах до крыш горящих сумм,  
Он сыплет лестницы, как в детстве,  
И подымает страшный шум.  
Напрасно в сковороды били,  
И огорчалась кочерга.  
Питается пальбой и пылью  
Окуклившийся ураган.  
Как призрак порчи и починки,  
Объевший веточки мечтам,  
Асфальта алчного личинкой  
Смолу котлами пьет почтаamt.  
Но за разгромом и ремонтом,  
К испугу сомкнутых окон,  
Червяк спокойно и дремотно  
По закоулкам ткет кокон.  
Тогда-то, сбившись с перспективы,  
Мрачатся улиц выхода,  
И бритве ветра тучи гриву  
Подбрасывает духота.  
Сейчас ты выпорхнешь, инфанта,  
И, сев на телеграфный столб,

Расправишь водяные банты

Над топотом промокших толп.

1923

Стихотворение передает воспоминания детства, охватившие Пастернака при встрече с родителями и жизни с ними рядом в берлинском пансионе. Из окна пансиона через крыши многоэтажных домов и берлинского почтамта, украшенного иллюминированными столбцами ежедневно падающего денежного курса («ряды до крыш горящих сумм»), он увидел Мясницкую начала века, ремонт и перестройку здания старого московского почтамта летом 1910 года, увиденную из окон квартиры грозу в городе, обернувшуюся страшным ураганом 16 июня 1904 года. Образ инфанты-бабочки, последовательно прошедшей разные метаморфозы личинки и кокона, уподобленный в стихотворении нарастанию бури, опирается на портрет Инфанта Маргариты Веласкеза. В первоначальном автографе текст предварялся эпиграфом из стихотворения фета «Метаморфозы», где стадии развития бабочки соответствуют постепенному взрослению девочки. Пастернак надеялся встретить в Берлине Марину Цветаеву, которой летом он послал восторженное письмо по поводу ее стихотворной книги «Версты».

\* \* \*

«...Весной 1922 года, когда она была уже за границей, я в Москве купил маленькую книжечку ее „Верст“. Меня сразу покорило лирическое могущество цветаевской формы, кровно пережитой, не слабогрудой, круто сжатой и сгущенной, не запыхивающейся на отдельных строчках, охватывающей без обрыва ритма целые последовательности строф развитием своих периодов.

Какая-то близость скрывалась за этими особенностями, быть может, общность испытанных влияний или одинаковых побудителей в формировании характера, сходная роль семьи и музыки, однородность отправных точек, целей и предпочтений.

Я написал Цветаевой... письмо, полное восторгов и удивления по поводу того, что я так долго прозевывал ее и так поздно узнал. Она ответила мне...»

Борис Пастернак.

Из очерка «Люди и положения»

В своем письме от 29 июня 1922 года Цветаева вспоминала их случайные московские встречи и разминовения с Пастернаком и просила прислать «Сестру мою жизнь», потому что до сих пор не читала его стихов, кроме случайных вещей. Она давала свой берлинский адрес и объясняла: «Я в Берлине надолго, хотела ехать в Прагу, но там очень трудна внешняя жизнь...» Надежды остаться в Берлине не оправдались, и, несмотря на опасения, Цветаевой пришлось перебраться в Прагу, где ее муж получил стипендию. Пастернак писал ей 12 ноября 1922 года:

«Я был огорчен и обескуражен, не застав Вас в Берлине. Расставаясь с Маяковским, Асеевым, Кузминым и некоторыми другими, я в той же линии и в том же духе рассчитывал на встречу с Вами и с Белым.

Однако разочарование на Ваш счет – истинное еще счастье против разочарования Белым. Здесь все перессорились, найдя в пересечении произвольно полемических и театрально приподнятых копий фикцию, заменяющую отсутствующий предмет. Казалось бы, надо уважать друг друга всем членам этой артели, довольствуясь взаимным недовольством, – без которого фикции бы не было. Последовательности этой я не встретил даже в Белом...»

К новому 1923 году вышла книга Пастернака «Темы и вариации». «Ответственность» за название лежит на стихотворном цикле о Пушкине, но определяющим моментом было также то, «что книга построилась как некое музыкальное произведение, где основные мелодии разветвляются и, не теряя связи с основной темой, вступают в самостоятельную жизнь», – как объяснял Пастернак Вадиму Андрееву. Андреев запомнил слово «именно построилась», а не «я построил».

Здесь в Берлине Пастернак столкнулся с удивлявшей его всю жизнь формулой выражения любви к его поэзии, сочетающейся с признанием в непонимании его стихов: «Все тут, словно сговорившись, покончили со мной, сошедшись на моей „полной

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru) непонятности". Создавалось мнение, что для того, чтобы любить Пастернака, вовсе не нужно его понимать и его стихи в этом не нуждаются. Б.К. Зайцев говорил ему о его „высокообразительной и неподдельной непонятности“. В. Андреев признался, что „полюбил непонятность“ его стихов и «что именно кажущаяся непонятность – прекрасна, что трудность их восприятия оправдана и даже необходима, что автор имеет право ждать от читателя встречного усилия».

Но я хочу, – сказал в ответ Пастернак, чтобы мои стихи были понятны зырянам», – и добавил, что «здесь в Берлине, у него появилось чувство, что ему все надо начинать сызнова... Я пишу, а мне все кажется, что вода льется мимо рукомойника»...»

Посылая Цветаевой книгу «Темы и вариации», он снабдил ее такой надписью:

«Несравненному поэту Марине Цветаевой, „донецкой, горючей и адской“ (стр. 76) от поклонника ее дара, отважившегося издать эти высеки и опилки, и теперь кающегося.

Б. Пастернак. 21.1.23. Берлин».

Указанная в скобках страница книги соотносит цитату со стихотворением «Нас мало. Нас может быть трое...», тем самым причисляя Цветаеву к наиболее близким ему именам в современной поэзии.

\* \* \*

«...Передо мной книга Б. Пастернака „Сестра моя жизнь“...

Стихи Пастернака читаю в первый раз. (Слышала – изустно – от Эренбурга, но от присущей мне фронды, – нет, позабыли мне в люльку боги дар соборной любви! – от исконной ревности, полной невозможности любить вдвоем – тихо упорствовала: «Может быть и гениально, но мне не нужно!»). – С самим Пастернаком я знакома почти что шапочно: три-четыре беглых встречи. – Слышала его раз, с другими поэтами в Политехническом Музее. Говорил он глухо и почти все стихи забывал. Отчужденностью на эстраде явно напоминал Блока. Было впечатление мучительной сосредоточенности, хотелось – как вагон, который не идет – подтолкнуть... «Да ну же...», и так как ни одного слова так и не дошло (какая-то бормота, точно медведь просыпается) нетерпеливая мысль: «Господи, зачем так мучить себя и других!»

Внешнее осуществление Пастернака прекрасно: что-то в лице зараз и от араба и от его коня: настороженность, вслушивание, – и вот-вот... Полнейшая готовность к бегу. – Громадная, тоже конская, дикая и робкая роскошь глаз. (Не глаз, а око). Впечатление, что всегда что-то слушает, непрерывность внимания и – вдруг – прорыв в слово – чаще довременное какое-то: точно утес заговорил, или дуб. Слово (в беседе) как прерывание исконных немот. Да не только в беседе, то же и с гораздо большим правом опыта могу утвердить и о стихе. Пастернак живет не в слове, как дерево – не явственностью листвы, а корнем (тайной). Под всей книгой – неким огромным кремлевским ходом – тишина.

Тишина, ты лучшее

Из всего, что слышал...

»

Марина Цветаева.

Из статьи «Световой ливень»

Втянутый против желания в литературную жизнь Берлина, Пастернак писал Н.Н. Вильяму-Вильямоту:

«...В результате длинного ряда „гражданских“ свар и потасовок, без которых эмиграции, очевидно, не жизнь, я, по всеми молчаливо прощенной мне детскости и жизненной незначительности, этой стихией пощажённый и оставлённый в стороне, был внезапно ею замечен, потревожен и воззван к деятельности. Еле-еле отделался ценою ухода в одиночество, уже полное и, боюсь, окончательное...»

В начале января Пастернак сел за работу, которая, по его словам, «несчастной трудностью писанья по-настоящему» всегда вызывала «периферическое, волнообразное



Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru) и вихревое влечение к людям в моменты настигнутости этим трудом». Он вступил в интенсивную переписку с друзьями.

\* \* \*

«...Я оглядываюсь кругом, присматриваюсь к себе, и одновременно готов придти к двум выводам. Что никто сейчас из живущих не чувствует искусства в его специфической требовательности к автору с той остротой, что я, и никто, вероятно, не настолько, как я, – бездарен. Все что-то делают, что-то или о чем-то пишут, и за двумя-тремя исключениями, друг друга стоят. Ни труда этого (легкого и почетного), ни благополучья я разделить не в состоянии. Есть какой-то мне одному свойственный тон. Как мало дорожил я им, пока был им беснуем! Вне этого тона я не способен пользоваться даже тем небогатым кругом скромнейших ощущений, которые доступны любой современной посредственности, чаще всего – мещанской. Будто исчезновением этой одержимости я прямо-таки выключаюсь из всего обихода, на весь срок ее исчезновения. На днях после пятилетнего отсутствия у меня в зрчках кажется опять забежали эти зайчики. До этой недавней радости я не раз рвался домой. Теперь же повременю. Занялся развитием одного отрывка, однако, эта проба ввела меня в тон брошенной когда-то большой работы (романа). Если за этой небольшой работой сохраню в целостности эту загнипнотизированность, возьмусь за продолжение романа...»

Борис Пастернак – Вячеславу Полонскому

Из письма 10 января 1923

Из Берлина Пастернаки уехали 23 марта 1923 года. Марина Цветаева надеялась, что Борис заедет в Прагу, ходила «встречать», писала стихи. Переписка продолжалась, постепенно набирая силу.

Весной 1924 года после тяжелой зимы, истощившей силы и все средства, Пастернак отправил жену с новорожденным сыном в Петроград на поправку и отдых к родителям. А сам надеялся как следует поработать, чтобы поправить зашедшие в тупик дела.

Борис Пастернак – Евгении Пастернак  
27–28 мая 1924.

«...Нежно любимая моя, я прямо головой мотаю от мучительного действия этих трех слов, – я часто так живо вижу тебя, ну точно ты тут за спиной, и страшно, страшно люблю тебя, до побледнения порывисто. Ах, какое счастье, что это ты у меня есть! Какой был бы ужас, если бы это было у другого, я бы в муках изощел и кончился.

Твой особый неповторимый перелив голоса, грудной, мой, милый, милый. И когда ты улыбаешься и дуешься в одно время, у тебя чудно щурятся глаза и непередаваемо как-то округляется подбородок, ты знаешь, про что я говорю, нет? – Ну как тебе это сказать. У тебя среди документов такая есть карточка.

Женя, Женечка, Женечка! Ты слышишь? Женечка!

Но, рыбка моя, золотая моя любушка, сейчас эти трамваи пройдут и пароходы отвоюют, улечи миг затишья, вслушайся, Женечка, слышишь, как я с тобой шепчусь. Милая, милая моя сестра, ангел и русалочка, ты всего меня пропитала собою, ты вместо крови пылаешь и кружишься во мне, и всего мне больней, когда раскинутыми руками и высокой большой грудью ты ударяешься о края сердца, пролетая сквозь него, как наездница сквозь обруч, о сожмись, сожмись, мучительница, ты же взорвешь меня, голубь мой, и кто тогда отстоит твою квартиру?!

Ненаглядная моя голубушка, у меня пересыхают губы от ласкательных слов, скользких и свищущих по ним. Я беззвучно смеюсь и грущу, и пирую, и нравлюсь дождю, лепеча тебе весь этот вздор, и широко, замедленно долго, беззаветно и безотчетно, как глубокую большую реку держу тебя в руках и дышу тобою. Красавица моя, что же ты все худенькая еще такая! Милое аттическое бесподобие мое, не увечь моей ширящейся, как туман, особенной, высокой, боготворящей тебя возвеличивающей страсти. Здоровей и поправляйся, толстей, радость моя! Нельзя, недопустимо быть щепкой при таком голосе, при таких губах, при таком взгляде...»

19 июня 1924.

«Дорогая девочка, жена моя и друг! Ведь у меня нет никого родней и лучше тебя на свете, не исключая сестры и отца и Марины [74]. Я не могу видеть тебя как-нибудь иначе, чем поражающе светлой, потому что это чувство не освещать не может. Когда же я перестаю видеть тебя в воображении, и думаю о тебе, то и в угашении справедливой мысли ты выходишь из ее скупых границ. Когда я вспоминаю, что ты не любишь меня, то тут порывисто и возмущенно взвизгивает твой образ, любящий и преданный, верный тебе во весь рост, с головы до ног тебя повторяющий. Это – ты, живая ты, но до боли связанная со мной, видящая, слышащая, понимающая меня. И почему бы тебе с этим образом спорить? Нет такого недостатка, находимого мыслью в тебе, из которого бы ты в следующее же мгновение не вырвалась и не выросла на ее глазах.

Это от того, что чувство, которому бы следовало обратиться к моему воспитанью, не отрываясь воспитывает твой образ. Я сильно люблю тебя.

Эти четыре слова с такой стремительностью и силой оторвались от письма, что пока я наносил их, они были уже неизвестно где. Они прозвучали страшно далеко, точно их произнесли в Тайцах [75]. Они пронесли мимо меня физически заметные, и потрясающим действием обладала именно их неожиданная и мгновенная самостоятельность...»

20 июня 1924.

«...Я до боли размечтался о тебе. Ты неопишима хороша в моей мечте и в нескольких разрозненных и отдельно стоящих воспоминаньях. Я горжусь тобой. – Высотой требований, которые предъявляет твое существо, как краска свету, для того, чтобы существовать. Ты можешь быть и не быть. Вот ты есть, и я души в тебе не чаю, заговариваюсь с тобой и ты требуешь все большего и большего.

Назвать ли мне то счастье, которое я себе обещаю.

Ты убедила меня в том, что существо твое нуждается в поэтическом мире больших размеров и в полном разгаре для того, чтобы раскрыться вполне и дышать, и волновать каждую свою складку. Ты была изумительным, туго скрученным бутонем, когда уловили тебя фотографии твоих детских документов и удостоверений... Твоя сердцевина хватала за сердце тою же твердой и замкнутой скруткой, горьким и прекрасным узлом, когда быстро и беспорядочно распустившаяся по краям, ты имела столько рассказать о мастерских и жемчужинке. Как рассказать тебе о том, что произошло дальше. Мне больно вводить в письмо дешевые пошлости, которые приходится говорить о самом себе. Я расскажу как-нибудь на словах. Но если бы я просто покорился своей природе, горячо любимая моя, я бы ровным, ровным теплом самосгорающего безумья окружил тебя, я бы ходячим славословьем тебе бродил среди друзей и смешил их или тревожил загадочностью своего состояния, я бы недостижимую книгу написал тогда вместо одного того письмеца Кончаловскому [76], и бережно, лепесток за лепестком раскрыл бы твое естественное совершенство, но раскрывшаяся, напоенная и возвращенная зреньем и знаньем поэта, насквозь изниженная влюбленными стихами, как роза – скрипучестью и сизыми тенями, – ты неизбежно бы досталась другому.

О как я это знаю и вижу.

У меня сердце содрогается и сейчас, словно это и случилось, от одного представленья возможности того, и я тебя к этой возможности глухо ревную. Ты неизбежно бы досталась другому прямо из моих рук, потому что с тобою в сильнейшей и болезненнейшей степени повторилось бы, то, что бывало у меня раньше [77]. Я не боюсь это сказать, как ни смешно и жалко это признание на обычный глаз. Но этот глаз – предел пошлости, и, говорю я, глаза этого я не боюсь.

Тогда и началось это странное и смертельно утомившее меня прозябанье, при котором я стал учиться сдержанности, так называемому здоровью и, как это всегда бывает, от производного, от ассистентов перешел к руководящему, к основанию этой чуждой и вначале страшившей меня науки. То есть я стал стараться успевать в бесчувственности, в холоде, и приобретая объективность воззренья, стал переставать видеть тебя или видел искаженно, опороченно этим наблюдающим и судящим глазом... Мне казалось необходимым отказаться от музыки и стихов, от мира, раввавшегося раскинуться над тобой и вокруг тебя волною поклоненья, постиганья и одухотворенного ухода, и как ни странно, я в этом преуспел... Я опустошил себя

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
неслыханно. Прямо хоть плачь...

Я знал, что согрею и расправлю тебя, что ты вольно и без боли распустишься под бережным дыханьем поэзии, я знал, что ты ее и меня полюбишь, что только я буду тем единственным, кто не причинит ни малейшего вреда тому в тебе, что прекрасно и чем в тебе любитесь Бог. Я знал, что это само себя подтачивающее обожанье способно стать вторым рождением для тебя, и конечно оно больше матери, нарочно данной каждому человеку Богом, чтобы быть внимательной к тому, на что Бог не обращает внимания. Я знал, что ты полюбишь меня и скоро запечалишься и станешь недоумевать, узнав, что с этим перегретым и благотворным миром жить нельзя... Я знал, что, огорченная и оскорбленная, ты уйдешь от меня, отдохнувшая и оправившаяся на таком воздухе, вдесятеро прекраснее и моложе, чем была, с раскрывшимися на себя глазами, с душой моей и мукою на кушаке, как с дорожным подарком. К другим...

О, Женя, что я сделал с собой. Для того чтобы заморозить тебя, как это случилось, я должен был убить весь свой смысл. О, теперь послушай. Мне гнусно и мерзит копаться в этом. Слушай, родная сестра моя по страданью, слушай, самопожертвованье, два года делившее со мной могилу, о скажи мне, может ли этот мир мне измениться? Верится ли тебе, чтобы я навсегда разучился жить стихами? О, ведь это невероятно, ведь мне кажется, что возвращается этот мир. О любимая, любимая, где слова взять, чтобы сказать тебе, какими застаёт нас эта, кажется, согласная возродиться, стихия...»

В конце июля Пастернак поехал к жене и сыну в Тайцы, в сентябре вернулись домой.  
\* \* \*

«...Странно попадать в Москву после Петербурга. Дикий, бесцветный, бестолковый, роковой город. Чудовищные цены. В Петербурге они равняются по человеку. Чудовищные неудобства. В Петербурге багаж (8 мест, 12 пудов) был доставлен на тележке. Здесь не привыкли... Чудовищные мостовые. Я сел на полок и уже при выезде с Каланчевской мысленно распростился со всем, что бьется и ломается, что сделано при помощи винтов, гаек, стекла и прочих нерусских предрассудков... Я сидел, взлетал на воздух, падал и взлетал при перескоках через круглые канализационные покрышки, глядя на эту топчущуюся в сухой извешке и песке толпу, понял, что Москва навязана мне рождением, что это мое пассивное приданое, что это город моих воспоминаний о вас и вашей жизни, резиденция нашего громоздкого инвентаря, кукольная оболочка всех моих становлений – несовершеннолетия, созревания трех последовательных призваний и, короче говоря, легко обобщимого и самостоятельно смыкающегося прошлого...

Вероятно через месяц я поступлю на службу...

Без регулярного заработка мне слишком бы беспокойно жилось в обстановке, построенной сплошь, сверху донизу, по периферии всего государства в расчете на то, что все в нем служат, в своем единообразии доступные обозрению и понимаемую постоянного контроля.

Итак я решил служить. К этой мысли склоняет меня более всего одно наблюдение. Два эти года я пользовался почти неограниченной свободой, жизнь была сравнительно легка, и счастье и удача, как сказал бы всякий посторонний человек, мне улыбались. Между тем я ничего не писал или, лучше сказать, не мог писать... Тайну этого странного факта оставляю пока про себя. Но мне хочется оторваться от свободы, счастья, удачи и некоторых преимуществ, которыми я пользовался, потому что при современном положении вещей все это слова в кавычках, потому что об изменении общественного положенья я мечтаю как об истинном освобождении...

Ничем я не буду обязан «обществу» теперешнему и здешнему. Ничем, кроме рядового и честного труда. Все остальное, как когда-то, будет моим собственным делом, будет или не будет, но во всяком случае не будет чужого ума делом. «Любовью», «значеньем», «известностью» я не буду пользоваться, точно так же, как и «заимобразной свободой», «заимобразным званьем». Я буду жить без этих отвратительных ссуд и не буду знаться с ростовщиками этого рода...»

Борис Пастернак – родителям

Из письма 23 сентября 1924

\* \* \*

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Привыкши выковыривать изюм

Певучестей из жизни сладкой сайки,  
я раз оставить должен был стезю  
Объевшегося рифмами всезнайки.  
я бедствовал. У нас родился сын.  
Ребячества пришлось на время бросить.  
Свой возраст взглядом смеривши косым,  
я первую на нем заметил проседь.  
Но я не засиделся на мели.  
Нашелся друг отзывчивый и рьяный.  
Меня без отлагательств привлекли  
К подбору иностранной лениньяны.  
Задача состояла в ловле фраз  
О Ленине. Вниманье не дремало.  
Вылавливая их, как водолаз,  
я по журналам понырять немало.  
Мандат предоставлял большой простор.  
Пуская в дело разрезальный ножик,  
я каждый день форсировал Босфор  
Малодоступных публике обложек.  
То был двадцать четвертый год. Декабрь  
Твердел, к окну оконному притертый.  
И холодел, как оттиск медяка  
На опухоли теплой и нетвердой.

...

Из романа в стихах «Спекторский», 1930

В поисках регулярно оплачиваемой работы Пастернак обратился к своему другу, литературному критику Я.З. Черняку, который предложил ему участвовать в составлении библиографии по Ленину, готовившейся в Институте Ленина при ЦК ВКПб. Ему поручили просмотр иностранных изданий, для чего был выписан пропуск в библиотеку Наркоминдела для просмотра журналов и газет на немецком, французском и английс ком языках.

\* \* \*

«...Архивами называются такие учреждения, где становятся документами и достопримечательностями последние пустяки. Какой ни на есть хлам, на который бы ты и не взглянула, в архиве величается материалом, хранится под ключом и описывается в регистре. Таков уже и мой возраст. Это звучит невероятно глупо. Для других, объективно, я очень еще от него далек. Но у меня хорошее чутье, и я чувствую его издали. Вот в чем его отличие. Что все становится материалом. Что начинаешь видеть свои чувства, которые дают на себя глядеть, потому что почти не движутся и волнуют тебя разом и одной только своей стороной: своей удаленностью,

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
своим стояньем в пространстве. Ты открываешь, что они подвержены перспективе...»

Борис Пастернак – Лидии Пастернак.

Из письма 25 октября 1924

\* \* \*

«...По роду моей работы... мне приходится читать целыми комплектами лучшие из журналов, выходящие на трех языках. Ты даже не представляешь себе, как их много. Там попадаются любопытные вещи. Я врежу себе, на них задерживаясь, так как я подражен по количеству и скорости требуемых от меня находок...»

Борис Пастернак – Жозефине Пастернак

Из письма 31 октября 1924

\* \* \*

Но я не ведал, что проистечет  
Из этих внеслужебных интересов.  
На Рождестве я получил расчет,  
Пути к дальнейшим розыскам отрезав.  
Тогда в освободившийся досуг  
Я стал писать Спекторского, с отвычки  
Занявшись человеком без заслуг,  
Дружившим с упомянутой москвичкой.  
На свете былей непочатый край,  
Ничем не замечательных – тем боле.  
Не лез бы я и с этой, не сыграй  
Статьи о ней своей особой роли.  
Они упали в прошлое снопом  
И озарили часть его на диво.  
Я стал писать Спекторского в слепом  
Повиновеньи силе объектива.  
Я б за героя не дал ничего  
И рассуждать о нем не скоро б начал,  
Но я писал про короб лучевой,  
В котором он передо мной маячил.  
Про мглу в мерцаньи плоски погребной,  
Которой ошибают прозы дебри,  
Когда нам ставит волосы копной  
Известье о неведомом шедевре.  
Про то, как ночью, от норы к норе,  
Дрожа, протягиваются в далекость

Зонты косых московских фонарей  
С тоской дождя, попавшего в их фокус.  
Как носят капли вести о езде,  
И всю-то ночь все цокают да едут,  
Стуча подковой об одном гвозде  
То тут, то там, то в тот подъезд, то в этот.  
Светает. Осень, серость, старость, муть.  
Горшки и бритвы, щетки, папильотки.  
И жизнь прошла, успела промелькнуть,  
Как ночь под стук обшарпанной пролетки.  
Свинцовый свод. Рассвет. Дворы в воде.  
Железных крыш авторитетный тезис.  
Но где тот дом, та дверь, то детство, где  
Однажды мир прорезывался, грезясь?  
Где сердце друга? – Хитрых глаз прищур.  
Знавали ль вы такого-то? – Наслышкой.  
Да, видно, жизнь проста... но чересчур.  
И даже убедительна... но слишком.  
Чужая даль. Чужой, чужой из труб  
По рвам и шляпам шлепающий дождик,  
И, отчуждением обращенный в дуб,  
Чужой, как мельник пушкинский, художник.  
Из романа в стихах «Спекторский», 1930

В выпущенных нами строфах был рассказ о героине романа, русской поэтессе Марии Ильиной, волею судьбы оказавшейся в эмиграции, со статьями о которой рассказчик познакомился в иностранных журналах. В ее образе узнаются черты Марины Цветаевой.

Пастернак характеризовал свою работу в письме Осипу Мандельштаму 31 января 1925 года:

«...Это возвращение на старые поэтические рельсы поезда, сошедшего с рельс и шесть лет валявшегося под откосом. Таковыми были для меня „Сестра“, „Люверс“ и кое-что из „Тем“. Я назвал и „Детство Люверс“, то есть не сказал Вам, проза ли это или стихи. С начала января пишу урывками, исподволь. Трудно невероятно. Все проржавлено, разбито, развинчено, на всем закаляневшие слои наносной бесчувственности, глухоты, насевшей рутины. Гадко. Но работа лежит в стороне от дня, точь-в-точь как было в свое время с нашими первыми поползновениями и счастливейшими работами. Помните? Вот в этом ее прелесть. Она напоминает забытое, оживают запасы сил, казавшиеся отжившими. Домысел чрезвычайности эпохи отпадает. Финальный стиль (конец века, конец революции, конец молодости, гибель Европы) входит в берега, мелеет, мелеет и перестает действовать. Судьбы культуры в кавычках вновь, как когда-то, становятся делом выбора и доброй воли. Кончается все, чему дают кончиться, чего не продолжают. Возьмись продолжать, и не

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru) кончится. Преждевременно желать всему перечисленному конца. И я возвращаюсь к брошенному без продолженья. Но не как имя, не как литератор. Не как призванный по финальному разряду. Нет, как лицо штатское, естественное, счастливо-несчастное, таящееся, неизвестное...».

Но писание «Спекторского» не могло обеспечить Пастернаку необходимого заработка. Сгустившееся к этому времени сознание незначительности всего написанного прежде перерастало в мысль о том, что лирическая поэзия потеряла свое значение и занятие ею не оправдано временем.

\* \* \*

«...Ах, не сберегло меня ничто, и все, что я отдал, уже не вернется ко мне. Нет музыки и не будет, может быть еще будет поэзия..., но не должно быть и ее, потому что надо существовать, а никак не ее требует современность, и придется мне импровизацию словесную также оставить, как и фортепьянную. Это печально. Эта та печаль, которую была окаймлена долготеленная нежность, все сохранившая, и вот выразить ее на деле, в судьбе, пришлось мне.

Но не думайте, что я тут в каком-то особо плохом положении или терзаюсь миражем, призрачными страданиями. В таком положении и Андрей Белый, и многие еще, и веку не до того, что называлось литературой...

Борис Пастернак – Жозефине Пастернак.

Из письма 17 апреля 1924

Интеллигенция испытывает на себе враждебность того косного слоя, который по социальному своему значению (крестьянство) составляет часть революции, по существу же остался верен своим вкусам допетровских времен «немецкой слободы». Все это очень любопытно с точки зрения исторической. Но дышать этой путаницей в высшей степени скользкой и двойственно-условной очень тяжело...»

Борис Пастернак – родителям.

Из письма 23 сентября 1924

Эпоха войн и революций вновь, как в языческие времена, оказалась восприимчивой только к эпосу и мифу, и Пастернак обращается к историческим сюжетам революции 1905 года.

\* \* \*

«...Мы пишем крупные вещи, тянемся в эпос, а это определенно жанр второй руки. Стихи не заражают больше воздуха, каковы бы ни были их достоинства. Разносящей средой звучанья была личность. Старая личность разрушилась, новая не сформировалась. Без резонанса лирика немислима...

Только поэзии не безразлично, сложится ли новый человек действительно, или же только в фикции журналиста. Что она в него верит, видно из того, что она еще тлеет и теплится. Что она не довольствуется видимостью, ясно из того, что она издыхает...»

Из анкеты «Ленинградской правды», 1926

\* \* \*

«...Я работал и работаю над поэмой о 1905 годе. Вернее сказать, – это не поэма, а просто хроника 1905 года в стихотворной форме...

Работа меня очень удовлетворяет: она открывает мне новые горизонты. В наше время лирика почти перестала звучать, и здесь мне приходится быть объективным, от лирики переходить к эпосу. И я не испытываю прежнего разочарования».

Из анкеты «Над чем работают писатели», 1926

\* \* \*

«...Летом 1925 года Пастернак начал писать поэму „Девятьсот пятый год“. В то время он вырвался из круга личных тем, легко и охотно занявшись разработкой социального сюжета, увлекшего его. Борис Леонидович углубился в разыскивание исторических материалов, необходимых для работы, очень радовался, если ему удавалось найти нужные сведения в старых журналах, в книгах, в документах.

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Долгими днями засиживался он в библиотеках, роясь в груди источников, забывая о времени, об усталости, обо всем.

Он надолго был озарен таким желанным для него вдохновением, отдавался ему самозабвенно. Ему нравилось все, составлявшее канву для работы: эпоха, социальные истоки событий, послужившие стимулом для создания этого произведения.

Иногда в процессе работы Борис Леонидович зачитывал нам куски поэмы, казавшиеся ему удачными, или же другие, по его мнению, недостаточно выразившие его замысел...»

Ольга Петровская-Силлова

Из воспоминаний о Б.Л. Пастернаке

В писании революционных поэм Пастернака поддерживала Марина Цветаева. С ней он обменивался письмами, посылал только что написанные главы поэм, посвятил ей «Лейтенанта Шмидта». Он восхищался тем, что она писала в это время, знакомил с ее стихами и поэмами Маяковского и его друзей, читал их и в других собраниях, кое-что ему удалось опубликовать в советских журналах. Цветаева ждала его приезда в Чехию, писала посвященные ему стихи.

Марина Цветаева – Борису Пастернаку  
Рас – стояния: версты, мили...

Нас рас – ставили, рас – садили,

чтобы тихо себя вели,

По двум разным концам земли.

Рас – стояния: версты, дали...

Нас расклеили, распаяли,

В две руки развели, распяв,

И не знали, что это – сплав

Вдохновений и сухожилий...

Не рассорили – рассорили,

Расслоили...

Стена да ров.

Расселили нас, как орлов –

Заговорщиков: версты, дали...

Не расстроили – растеряли.

По трупам земных широт

Рассовали нас, как сирот.

Который уж – ну который – март?!

Разбили нас – как колоду карт!

23 марта 1925

\* \* \*

Русской ржи от меня поклон,



Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Ниве, где баба застится...

Друг! Дожди за моим окном,

Беды и блажи на сердце...

Ты, в погудке дождей и бед –

То ж, что Гомер в гекзаметре.

Дай мне руку – на весь тот свет!

Здесь – мои обе заняты.

17 мая 1925, Вшеноры

Весной 1926 года преодолевая тяжелый душевный кризис, Пастернак закончил поэму «Девятьсот пятый год», две главы которой он послал в Париж Цветаевой для публикации в журнале «Версты», где она сотрудничала.

Главными событиями этого времени стали для Пастернака чтение цветаевской «Поэмы Конца» и полученное от отца известие о том, что его любимый немецкий поэт Райнер Мария Рильке познакомился с его стихами в маленькой русской антологии, изданной И. Эренбургом. Письмо отца пришло одновременно с п о э мой Цветаевой. Сочетание этих впечатлений стало одним из сильнейших переживаний в жизни Пастернака. Он советовал своей сестре достать и прочесть эту поэму:

«...До меня случайно дошла ремингтонная копия одной из последних работ Цветаевой, „Поэма Конца“... Ах какой она артист, и как я не могу не любить ее сильнее всего на свет, как Rilke. Это я тебе не с тем говорю, чтобы тебе что-то доверить, а вот зачем. Почитай ее. У тебя наверное есть знакомые в Париже... Попроси их прислать оттуда тебе все, что ее имеется и почитай. Ты должна там много того же услышать, что и я. Там среди бурной недоделанности среднего достоинства постоянно попадаются куски настоящего, большого, законченного искусства, свидетельствующие о талантливости, достигающей часто гениальности. Так волновали меня только Скрябин, Rilke, Маяковский, Cohen.

К сожалению, я ничего почти из новых ее вещей этих лет не знаю. Мне с оказией привезли ее русскую сказку «Молодец», посвященную мне. Прекрасная романтика, но не то, что лучшие места в «Поэме Конца». Тут кое-что от меня. Но Боже ты мой, в какие чудные руки это немного попало! Обязательно достань, и не для меня, а для себя одной. Все равно, послала бы, не дошло б. И тогда чувствуешь, о, в какой тягостной, но и почетной трагедии мы тут, расплачиваясь духом, играем! Такой вещи тут не написать никому. Ах, какая тоска. Какой ужасный «1905 год»! какое у нас передвижничество!! Для чего все это, для чего я это делаю. Но постоянно так со мной не будет, ты увидишь...

Весь мой «историзм», тяга к актуальности и все вообще диспозиции разлетелись вдребезги от сообщения Rilke и Мариной Поэмы. Это как если бы рубашка лопнула от подъема сердца. Я сейчас совсем как шальной, кругом щепки, и родное мне существует на свете, и какое!»

Из письма 28 марта 1926

Пастернак написал письмо Рильке, где признавался в глубокой любви к его поэзии и огромном влиянии, которое она оказала на него.

«...Я Вам обязан основными чертами своего характера, всем складом духовной жизни. Они созданы Вами...во мне бушует радость, что я посмел быть признан Вами как поэт, и мне так же трудно вообразить это себе, как если бы это был Эсхил или Пушкин.

Когда я пишу это, – ощущение невообразимости такого скрещения судьбы пронизывает меня щемящей невозможностью и не поддается выражению. Меня поразило чудо того, что я попался Вам на глаза. Это известие пронзило меня как током короткого замыкания...»

В письме он представил Рильке Марину Цветаеву как своего близкого друга и его поклонницу и просил в качестве знака, что письмо дошло, послать ей в Париж свои

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
последние книги. Его ответ Пастернак получил через Цветаеву, с которой у Рильке  
завязалась переписка. Цветаевой Пастернак ответил стихотворением, в котором,  
несмотря на игривость тона, слышится тревога за нее, – его испугал  
самоубийственный трагизм «Поэмы Конца».

\* \* \*

Не оперные поселяне,  
Марина, куда мы зашли?  
Общественное гулянье  
С претензиями земли.  
Ну, как тут отдаться занятью,  
Когда по различью путей,  
Как лошади в Римском Сенате,  
Мы дики среди этих детей!  
Походим меж тем по поляне.  
Разбито с десяток эстрад.  
С одних говорят пожеланья,  
С других – по желанью острят.  
Послушай, стихи с того света  
Им будем читать только мы,  
Как авторы Вед и Заветов  
И Пира во время чумы.  
Но только не лезь на котурны,  
Ни на паровую трубу [78] ,  
Исход ли из гущи мишурной?  
Ты их не напишешь в гробу.  
Ты все еще край непочатый,  
А смерть это твой псевдоним.  
Сдаваться нельзя. Не печатай  
И не издавайся под ним.

11 апреля 1926

В постоянном общении с Цветаевой писалось начало поэмы «Лейтенант Шмидт». Пастернак считал, что ей будут понятны задачи, которые он ставил перед собой, и она оценит, насколько это ему удалось. Лейтенант П.П. Шмидт, возглавивший восстание на Черноморском флоте в 1905 году и вскоре после этого расстрелянный, был героем юности Цветаевой. Первоначально Пастернак открывал свою поэму «Посвящением», написанным в виде акростиха Марине Цветаевой. Посылая ей в письме текст этого посвящения, он объяснял: «...Тут понятие (беглый дух): героя, обреченности истории, прохожденья через природу, – моей посвященности тебе. Главное же, как увидишь, это акростих с твоим именем, с чего и начал, слева столбец твоих букв, справа белый лист бумаги и беглый очерк чувства».

\* \* \*

Мельканье рук и ног, и вслед ему:

«Ату его сквозь тьму времен! Резвей,  
Ревя рога! Ату! А то возьму  
И брошу гон и ринусь в сон ветвей».  
Но рог крушит сырую красоту  
Естественных, как листья леса, лет.  
Царит покой, и что ни пень – Сатурн:  
Вращающийся возраст, круглый след.  
Ему б уплыть стихом во тьму времен:  
Такие клады в дуплах и во рту.  
А тут носи из лога в лог: ату!  
Естественный, как листья леса, стон.  
Век, отчего травить охоты нет?  
Ответь листвой, стволами, сном ветвей  
И ветром и травой мне и ей.

1926

Несмотря на краткое пояснение, которое Пастернак дал стихотворению, в котором работа над исторической поэмой уподобляется погоне за ускользящим, как олень, призраком героя, – Цветаева, при всей своей восприимчивости, которую так ценил в ней Пастернак, не поняла его до конца. Ее неуверенность в трактовке сказалась в вопросах, которыми она испещрила свое объяснение:

«...Твой чудесный олень с лейтмотивом „естественный“. Я слышу это слово курсивом, живой укоризной всем, кто не... Когда олень рвет листья рогами – это естественно (ветвь – рог – сочтутся). А когда вы с электрическими пилами – нет. Лес – мой. Лист – мой. (Так я читала?) И зеленый лиственный костер над всем. – Так?».

Пастернак представляет историю в виде леса, через который несется охота, возникающие на каждом шагу картины природы («что ни пень – Сатурн») увлекают лирического поэта красотой и желанием бросить «гон» и отдаться своему прямому интересу погружения в «глубь времен» или в глубину хода естественной жизни. Но вовлеченность («обреченность») в историю, не дает ему этой возможности, и «рог» здесь не «рог оленя», а охотничий, нарушающий «сырую красоту» течения истории («лет»).

Вопросы Цветаевой остались неотвеченными, потому что вскоре ей была послана рукопись первой части поэмы, резко ей не понравившаяся. Она писала:

«...Мой родной Борис, первый день месяца и новое перо. Беда в том, что взял Шмидта, а не Каляева (слова Сережи, не мои), героя времени (безвременья!), а не героя древности, нет еще точнее – на этот раз заимствую у Степуна: жертву мечтательности, а не героя мечты [79] . Что такое Шмидт – по твоей документальной поэме: Русский интеллигент, перенесший 1905 год. Не моряк совсем, до того интеллигент (вспомни Чехова «В море»), что столько-то лет плаванья не отучили его от интеллигентского жаргона. Твой Шмидт студент, а не моряк. Вдохновенный студент конца девяностых годов.

Борис, не люблю интеллигенции, не причисляю себя к ней, сплошь пенсенной... Люблю дворянство и народ, цветение и корни, Блока синевы и Блока просторов. Твой Шмидт похож на Блока-интеллигента. Та же неловкость шуток, та же невеселость ее. В этой вещи меньше тебя, чем в других, ты, огромный, в тени этой маленькой фигуры, заслонен ею. Убеждена, что письма почти дословны, – до того не твои. Ты дал человеческого Шмидта, в слабости естества, трогательного, но такого

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
безнадежного...»

Марина Цветаева – Борису Пастернаку.

Из письма 1 июля 1926

Передавая мнение своего мужа Сергея Эфрона, который видел героя не в Шмидте, а в народовольце и террористе Иване Каляеве, совершившем убийство Великого князя Сергея Александровича, Цветаева выразила непонимание основного настроения поэмы, посвященной человеку, возглавившему дело, в успех которого он не верил, только ради того, чтобы, взяв на себя вину за организацию восстания, спасти от расстрела своих товарищей.

Все отшумело. Вставши поодаль,

Чувствую всюю силой чутья:

Жребий завиден. Я жил и отдал

Душу свою за други своя.

Работа над «Спекторским» растянулась на годы, для ее окончания Пастернак считал нужным «часть фабулы в романе, приходящуюся на военные годы и революцию», передать прозе, «потому что характеристики и формулировки, в этой части более обязательные и разумеющиеся, стиху не под силу». С этой целью весной 1929 года он засел за повесть, параллельно с которой стали появляться стихи. Посылая стихотворение Анне Ахматовой, он писал: «...Я третий месяц очень усиленно работаю над большой повестью, которую пишу с верой в удачу. Я недавно болел, но не прерывал работы. Мне очень хорошо. Далекий от мысли, что я это осуществляю, я вновь, как бывало, умилен до крайности всем тем, что человеку дано почувствовать и продумать. Мне некуда девать это умиление, повесть потеряла бы в плотности, если бы я все это излил на нее одну. Мне приходится исподволь писать стихи. Их теперь, в моем возрасте, я понимаю как долговую расплату с несколькими людьми, наиболее мне дорогими, потому что конечно, именно они – истинные адресаты, к которым должно быть обращено это умиление. Я хочу написать стихотворенье Марине, Вам, Мейерхольдам, Жене и Ломоносовой [80] , нашей заграничной приятельнице...»

Анне Ахматовой

Мне кажется, я подберу слова,

Похожие на вашу первозданность.

А ошибусь, – мне это трын-трава,

я все равно с ошибкой не расстанусь.

я слышу мокрых кровель говорок,

Торцовых плит заглохшие эклоги.

Какой-то город, явный с первых строк,

Растет и отдается в каждом слоге.

Кругом весна, но за город нельзя.

Еще строга заказчица скупая.

Глаза шитьем за лампою слезя,

Горит заря, спины не разгибая.

Вдыхая дали ладожскую гладь,

Спешит к воде, смиряя сил упадок.

С таких гулянок ничего не взять.

Каналы пахнут затхлостью укладок.

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)

По ним ныряет, как пустой орех,  
Горячий ветер и колышет веки  
Ветвей и звезд, и фонарей, и вех,  
И с моста вдаль глядящей белошвейки.  
Бывает глаз по-разному остер,  
По-разному бывает образ точен.  
Но самой страшной крепости раствор –  
Ночная даль под взглядом белой ночи.  
Таким я вижу облик ваш и взгляд.  
Он мне внушен не тем столбом из соли,  
Которым вы пять лет тому назад  
Испуг оглядки к рифме прикололи [81] .  
Но, исходив из ваших первых книг,  
Где крепили прозы пристальной крупницы,  
Он и во всех, как искры проводник,  
Событья былью заставляет биться.

1929

\* \* \*

«..Вы знаете, с какой силой живете во мне, как во всяком, и насколько это лишь естественно, не более того. К этому знанию стихотворение ничего не прибавляет. Затем ясно ли, что речь идет об особом складе электрической силы, которая выражена не только в „Лотовой жене“, и не в образе соляного столба только, а исходит от Вас всегда и никогда не перестанет исходить...»

Борис Пастернак – Анне Ахматовой

Из письма 6 марта 1929.

Анна Ахматова переживала трудное время критических нападок. Ее поэзия рассматривалась как пережиток прошлого. Ее стихи не издавались, она бедствовала. Ее стихотворение «Лотова жена» было открытым признанием в тоске по прошлому. Напоминая Ахматовой о высоте ее поэтических возможностей, о «повествовательной свежести» ее первых книг, Пастернак хотел помочь ей найти в себе силы преодолеть отчаяние и творческое молчание. Ответом Ахматовой на послание Пастернака стало стихотворение 1936 года, с которого у нее после большого перерыва, по ее словам, «пошли стихи».

Борис Пастернак  
Он, сам себя сравнивший с конским глазом,  
Косится, смотрит, видит, узнает,  
И вот уже расплавленным алмазом  
Сияют лужи, изнывает лед.  
В лиловой мгле покоятся задворки,

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Платформы, бревна, листья, облака.

Свист паровоза, хруст арбузной корки,  
В душистой лайке робкая рука.  
Звенит, гремит, скрежещет, бьет прибоем  
И вдруг притихнет, – это значит, он  
Пугливо пробирается по хвоям,  
Чтоб не спугнуть пространства чуткий сон.  
И это значит, он считает зерна  
В пустых колосьях, это значит, он  
К плите дарьяльской, проклятой и черной,  
Опять пришел с каких-то похорон.  
И снова жжет московская истома,  
Звенит вдали смертельный бубенец –  
Кто заблудился в двух шагах от дома,  
Где снег по пояс и всему конец..  
За то, что дым сравнил с Лаокооном,  
Кладбищенский воспел чертополох,  
За то, что мир наполнил новым звоном  
В пространстве новом отраженных строф,  
Он награжден каким-то вечным детством,  
Той щедростью и зоркостью светил,  
И вся земля была его наследством,  
А он ее со всеми разделил.

19 января 1936

\* \* \*

«...Преобладанье грозových начал в атмосфере века сообщило ее творчеству налет гражданской значительности. Эта патриотическая нота, особенно дорогая сейчас, выделяется у Ахматовой совершенным отсутствием напыщенности и напряжения. Вера в родное небо и верность родной земле прорываются у нее сами собой с естественностью природной походки..»

Наряду с нотой национальной гордости, отличительной чертой Ахматовой мы назовем художественный реализм, как главное и постоянное ее отличие.

Эротической абстракции, в которую часто вырождается условно-живое «ты» большинства стихотворных излияний, Ахматова противопоставила голос чувства в значении действительной интриги. Эту откровенность в обращении к жизни она разделяла с Блоком, едва еще тогда складывавшемся Маяковским, шедшим на сцене Ибсеном и Чеховым, Гамсуном и Горьким, с интересом к значащим очевидностям и сильным людям. Это придавало «Вечеру» и «Четкам», первым книгам Ахматовой, оригинальный драматизм и повествовательную свежесть прозы...

Именно они глубже всего врезались в память читателей и по преимуществу создали имя лирике Ахматовой. Когда-то они оказали огромное влияние на манеру

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
чувствования, не говоря уже о литературной школе своего времени...»

Борис Пастернак.

Из статьи «Избранное» Анны Ахматовой». 1943

Марине Цветаевой

Ты вправе, вывернув карман,

Сказать: ищите, ройтесь, шарьте.

Мне все равно, чем сыр туман.

Любая быль – как утро в марте.

Деревья в мягких армяках

Стоят в грунту из гуммигута [82] ,

Хотя ветвям наверняка

Невозмогу среди закута.

Роса бросает ветки в дрожь,

Струясь, как шерсть на меринесе.

Роса бежит, трясся, как еж,

Сухой копной у переносья.

Мне все равно, чей разговор

Ловлю, плывущий ниоткуда.

Любая быль – как вешний двор,

Когда он дымкою окутан.

Мне все равно, какой фасон

Сужден при мне покрою платьев.

Любую быль сметут как сон,

Поэта в ней законопатив.

Клубясь во много рукавов,

Он двинется, подобно дыму,

Из дыр эпохи роковой

В иной тупик непроходимый.

Он вырвется, курясь, из прорв

Судеб, расплющенных в лепеху,

И внуки скажут, как про торф:

Горит такого-то эпоха.

1929

Стихотворение вызвало отсроченный отклик Цветаевой:

\* \* \*

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Тоска по родине! Давно

Разоблаченная морока!  
Мне совершенно все равно –  
Где совершенно одинокой  
Быть, по каким камням домой  
Брести с кошелкою базарной  
В дом, и не знающий, что – мой,  
Как госпиталь или казарма.  
Мне все равно, каких среди  
Лиц оцетиниваться пленным  
Львом, из какой людской среды  
Быть вытесненной – непременно –  
В себя, в единоличье чувств  
Камчатским медведём без льдины,  
Где не ужиться (и не тщусь!),  
Где унижаться – мне едино.  
Не обольщусь и языком  
Родным, его призывом млечным.  
Мне безразлично, на каком  
Не понимаемой быть встречным!  
(Читателем, газетных тонн  
Глотателем, доильцем сплетен...)  
Двадцатого столетья – он,  
А я – до всякого столетья!  
Остолбеневши, как бревно,  
Оставшееся от аллеи,  
Мне все – равны, мне всё – равно,  
И, может быть, еще равнее –  
Роднее бывшее – всего.  
Все признаки с меня, все меты,  
Все даты – как рукой сняло:  
Душа, родившаяся – где-то.  
Так край меня не уберег  
Мой, что и самый зоркий сыщик



Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Вдоль всей души, всей – поперек!

Родимого пятна не сыщет!

Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,

И все – равно, и все – едино.

Но если по дороге – куст

Встает, особенно – рябина...

1934

Вместо стихотворения  
(Акростих)

М гновенный снег, когда булыжник узрен,

А прельский снег, оплошливый снежок!

Р езвись и тай, – земля как пончик в пудре,

И рой огней – как лакомки ожог.

Н есись с небес, лишай деревья весу,

Е рошь березы, швабрами шурша.

Ц енители не смыслят ни бельмеса,

В раги уйдут, не взявши ни шиша.

Е жеминутно можно глупость ляпнуть,

Т огда прощай охулка и хвала!

А ты, а ты, бессмертная внезапность,

Е ще какого случая ждала?

В едь вот и в этом диком снеге летом

О пять поэта оторопь и статья –

И не всего ли подлиннее в этом?

... – как знать?

1929

Мейерхольдам  
Желоба коридоров иссякли.

Гул отхлынул и сплыл, и заглох.

У окна, опоздавши к спектаклю,

Вяжет вьюга из хлопьев чулок.

Рытым ходом за сценой залягте,

И, обуглясь у всех на виду,

Как дурак, я зайду к вам в антракте,

И смешаясь, и слов не найду.

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Я увижу деревья и крыши.

Вихрем кинутся мушки во тьму.  
По замашкам зимы-замухрышки  
Я игру в кошки-мышки пойму.  
Я скажу, что от этих ужимок  
Еле цел я остался внизу,  
Что пакет развязался и вымок  
И что я вам другой привезу.  
Что от чувств на земле нет отбою,  
Что в руках моих – плеск из фойе,  
Что из этих признаний – любое  
Вам обоим, а лучшее – ей.  
Я люблю ваш нескладный развалец,  
Жадной проседи взбитую прядь.  
Если даже вы в это выгались,  
Ваша правда, так надо играть.  
Так играл пред землей молодой  
Одаренный один режиссер,  
Что носился как дух над водою  
И ребро сокрушенное тер.  
И протиснувшись в мир из-за дисков  
Наобум размещенных светил,  
За дрожащую руку артистку  
На дебют роковой выводил.  
Той же пьесой неповторимой,  
Точно запахом краски дыша,  
Вы всего себя стерли для грима.  
Имя этому гриму – душа.

1928

\* \* \*

«Дорогой Всеволод Эмильевич!

Жалею, что заходил к Вам вчера в антрактах. Ничего путного я Вам не сказал, да иначе было бы и неестественно. Но вот сегодня я весь день, как шалый, и ни за что взяться не могу. Это – тоска по вчерашнем вечере. Вот это другой разговор. Это уж доказательство, это я понимаю..

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Когда меня касается дыханье истинного дара, оно превращает меня в совершенного мальчика, ничем не искушенного, я беззаветно привязываюсь к произведению, робею автора, точно никогда не жил и жизни не знаю, и чаще меры тянусь за носовым платком...

...Я преклоняюсь перед Вами обоими и пишу Вам обоим, и завидую Вам, что Вы работаете с человеком, которого любите...»

Борис Пастернак – Всеволоду Мейерхольду.

Из письма 26 марта 1928

Стихотворение обращено к В.Э. Мейерхольду и его жене, актрисе Зинаиде Николаевне Райх, и написано после посещения спектакля «Горе уму». Оно должно было поддержать Мейерхольда, на которого и на З.Н. Райх обрушились несправедливые критические нападки. Образ режиссера как творца мира и создателя человека, возникающий в последних строфах стихотворения соотносится с первыми главами Книги Бытия. Цикл стихотворных посвящений объединяло горячее сочувствие людям, чья судьба нуждалась в поддержке: Ахматовой, Цветаевой, Мейерхольдам. При подготовке книги к ним прибавились написанное ранее, к пятидесятилетнему юбилею, стихотворение Брюсову и несколько позже – Борису Пильняку.

Брюсову

Я поздравляю вас, как я б отца

Поздравил бы при той же обстановке.

Жаль, что в Большом театре под сердца

Не станут стлать, как под ноги, цыновки.

Жаль, что на свете принято скрести

У входа в жизнь одни подошвы; жалко,

Что прошлое смеется и грустит,

А злоба дня размахивает палкой.

Вас чествуют. Слегка страшит обряд,

Где вас, как вещь, со всех сторон покажут

И золото судьбы посеребрят,

И, может, серебрит в ответ обяжут.

Что мне сказать? Что Брюсова горька

Широко разбежавшаяся участь?

Что ум черствеет в царстве дурака?

Что не безделка – улыбаться, мучась?

Что сонному гражданскому стиху

Вы первый настезь в город дверь открыли?

Что ветер смел с гражданства шелуху

И мы на перья разодрали крылья?

Что вы дисциплинировали взмах

Взбешенных рифм, тянувших за глиной,

И были домовым у нас в домах

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)

И дьяволом недетской дисциплины?  
Что я затем, быть может, не умру,  
Что, до смерти теперь устав от гили,  
Вы сами, было время, поутру  
Линейкой нас не умирать учили?  
Ломиться в двери пошлых аксиом,  
Где лгут слова и красноречье храмлет?...  
О! Весь Шекспир, быть может, только в том,  
Что запросто болтает с тенью Гамлет.  
Так запросто же! Дни рожденья есть.  
Скажи мне, тень, что ты к нему желала б?  
Так легче жить. А то почти не снести  
Пережитого слышащихся жалоб.

1923

Обращение к тени в последней строфе объясняется тем, что на юбилейном вечере 15 декабря 1923 года в ответ на официальные поздравления Брюсов прочел цитату из стихотворения А.А. Фета «На 50-летие музы»:

Нас отпевают. В этот день  
Никто не подойдет с хулою.  
Всяк благодарною хвалою  
Немую провожает тень.  
Борису Пильняку  
Иль я не знаю, что, в потемки тычась,  
Вовек не вышла б к свету темнота,  
И я – урод, и счастье сотен тысяч  
Не ближе мне пустого счастья ста?  
И разве я не мерюсь пятилеткой,  
Не падаю, не подымаюсь с ней?  
Но как мне быть с моей грудною клеткой  
И с тем, что всякой косности косней?  
Напрасно в дни великого совета,  
Где высшей страсти отданы места,  
Оставлена вакансия поэта:  
Она опасна, если не пуста.

1931

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Конец двадцатых годов был исторически тяжелым, жестоким временем. У Пастернака появилось чувство конца творческих и жизненных возможностей. Отсюда разговор об опасности «вакансии поэта» и творческих ограничениях, которые приходится терпеть.

\* \* \*

«...Работаю я сейчас над клубком, который последовательными очередями обязался распутать к осени. Это – совокупность трех взаимно связанных работ, по исполнению которых у меня оформится материал для четырехтомного собрания сочинений, а вместе с тем отдельными выпусками будут подготовлены к печати: сборник прозы и „Спекторский“ – роман в стихах...

Часть фабулы в романе, приходящуюся на военные годы и революцию, я отдал прозе, потому что характеристики и формулировки, в этой части всего более обязательные и разумеющиеся, стиху не под силу...

Когда я ее кончу, можно будет приняться за заключительную главу «Спекторского»...

Затем, в пополнение сборника прозы мне останется дописать полуфилософскую биографического содержания вещь, начатую прошлой зимой и брошенную на первой трети. Вчерне она называется «Охранной грамотой»...»

Из анкеты «Писатели о себе», 1929

Осенью 1929 года Пастернак написал последние главы «Спекторского». В окончательном виде растянувшаяся на годы работа встретила недоумение критики и вызвала у автора сомнения в ее художественной состоятельности. Он чистосердечно признавался в этом редактору Ленгиза П.Н. Медведеву, объясняя неудачу несбывшимися надеждами на преобразования в обществе:

«...Когда пять лет назад я принялся за нее, я назвал ее романом в стихах. Я глядел не только назад, но и вперед. Я ждал каких-то бытовых и общественных превращений, в результате которых была бы восстановлена возможность индивидуальной повести, то есть фабулы об отдельных людях, репрезентативно примерной и всякому понятной в ее личной узости, а не прикладной широте. В этом я обманулся, я по-детски преувеличил скорость вероятной дифференциации нового общества и части старого в новых условиях... Я только хочу сказать, что начинал я в состояньи некоторой надежды на то, что взорванная однородность жизни и ее пластическая очевидность восстановится в течение лет, а не десятилетий, при жизни, а не в историческом гаданьи. И как бы я ни был мал, такой ход придал бы мне силы – а ее рост, при живом росте общих нравственных сил, и есть единственная фабула лирического поэта. Потому что даже и о гибели можно в полную краску писать только, когда она обществом уже преодолена и оно вновь находится в состояньи роста...»

Борис Пастернак – П.Н. Медведеву.

Из письма 6 ноября 1929

Ленгиз, с которым был заключен договор на «Спекторского», выражал колебания «по неясности его общественных тенденций» и «идеологической несоответственности» окончания романа. В последних главах дана мрачная картина Москвы 1919 года, зарисовки разрушенного быта чередуются с размышлениями об общественных сторонах уклада, который зачеркивал возможность индивидуальной судьбы и биографии широтой исторического масштаба:

Поэзия, не поступайся ширью.

Храни живую точность: точность тайн.

Не занимайся точками в пунктире

И зерен в мере хлеба не считай.

Недоуменьем меди орудийной

Стесни дыханье и спроси чтеца:

Неужто, жив в охвате той картины,

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)

Он верит в быль отдельного лица?

\* \* \*

«...Все б это ничего, но разговор пошел как с уличным мошенником: на букве идеологии стали настаивать, точно она – буква контракта.

Точно именно в договоре было сказано, что в шахты будут спускать безболезненно, под хлороформом или местной анестезией, и это будет не мучительно, а даже наоборот; и террор не будет страшен. Точно я по договору – выразил готовность изобразить революцию как событие, культурно выношенное на заседаниях Ком. Академии в хорошо освещенных и отопленных комнатах при прекрасно оборудованной библиотеке. Наконец, точно в договор был вставлен предостерегающий меня параграф о том, что изобразить пожар – значит призывать к поджогу...»

Борис Пастернак – П.Н. Медведеву.

Из письма 30 декабря 1929

Образ оскорбленной девочки, выбросившейся из окна и перелетевшей «в руки черни», дан как символ восставшего времени и олицетворение революции.

По всей земле осипшим морем грусти,  
Дымясь, гремел и стлался слух о ней,  
Марусе тихих русских захолустий,  
Поколебавшей землю в десять дней.

Именно эти последние страницы «Спекторского» автор считал «самым достойным местом» романа.

«...Из всей рукописи, находящейся сейчас у Вас, самое достойное (поэтически и по-человечески) место – это страницы конца, посвященные тому, как восстает время на человека и обгоняет его. Это была очень трудная, очень неуловимая по своей широте тема, и я доволен ее разрешением. Я никогда не расстанусь с сознанием, что тут и в этой именно форме я о революции ближайшей сказал гораздо больше и более по существу, чем прагматико-хронистической книжкой «1905-й год» – о революции девятьсот пятого года...»

Борис Пастернак. – П.Н. Медведеву.

Из письма 28 ноября 1929

\* \* \*

«...Как все это, в общем, тяжело! Сколько кругом ложных карьер, ложных репутаций, ложных притязаний! И неужели я самое яркое в ряду этих явлений? Но я никогда ни на что не притязал. Как раз в устраненье этой видимости, совершенно невыносимой, я стал писать «Охранную грамоту». Я готов быть осужденным и вычеркнутым из поминанья за дело, на основаньи моей действительной наличности, но не иначе. Я никогда победителем себя не чувствовал и об этом не думал. Но и «литературой» не занимался. Отсюда усиленный автобиографизм моих последних вещей: я не люблю тут ничем, я отчитываюсь как бы в ответ на обвиненье, потому что давно себя чувствую двойственно и неловко. Поскорей бы довести до конца совокупность этих разъяснительных работ. И тогда я буду надолго свободен, я писательство брошу...»

Борис Пастернак – П.Н. Медведеву.

Из письма 30 декабря 1929

\* \* \*

«...После службы к Пастернаку. Узнал от него, что рукопись „Спекторского“ послана в Ленгиз, но Медведев ответил оттуда, что есть какие-то затруднения с печатанием из-за редакционных неувязок. Борис Леонидович смущен: „Переделывать невозможно...“ Кроме того, он очень рассчитывал на получение гонорара...»

Он сказал, что когда после написания первых глав он перечитывал рукопись, то «Спекторский» представлялся ему как вещь с реальной фабулой. Но в процессе

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru) работы все осложнилось. Думая о конце поэмы, он предполагал, что все устроится, как нужно. «Сейчас же творится такое, что ничего связать нельзя»... Он и теперь считал, что сможет связать конец «Спекторского» с задуманным планом, например, определить героя на службу и пр., но что «это противоречит всему».

«Есть люди, пишущие радостно, но не все же. Для Гоголя всякое писание было трагедией. Я пишу только от несчастья. И так было всегда. Я понимаю, что если смотреть с точки зрения современных требований абсолютно трезво и рассудочно, то все мои писания – бред. Ранние вещи более понятны».

Пастернак сказал далее: «Я хотел бы надолго уйти от всего, если бы был обеспечен. Не стал бы печатать сейчас конец „Спекторского“, дал бы ему отлежаться и переделал бы его. При втором издании „Двух книг“, перечитывая свои стихи в корректуре, я пришел от них в ужас. Футуризм отжил. Для меня живут только стихи, переделанные позднее. Маяковский и Асеев переменились, и я не могу оставаться самим собой. Впрочем, увидев стихи напечатанными, я успокоился».

Я не живу сейчас. Дома, когда ко мне приходят, я в ужасе, так как сам не чувствую себя дома, все временно. Убрал со стен многие произведения отца. Спокойнее только в гостях...»

Лев Горнунг. Из дневниковых записей

«Встреча за встречей»

Пастернака мучило сознание двойственности своего положения при общем догматизме и проработочном характере критики. В 1929 году общественность с восторженным энтузиазмом включилась в кампанию по разоблачению «правой опасности» в литературе, провоцируя и поддерживая истерические потоки самооговаривания. С вызовом человека, доведенного до крайности, Пастернак писал поэту В.М. Саянову, редактору журнала «Звезда», выразившему ему свои симпатии:

«...Ваши слова, что редакция считает меня „одним из наиболее близких и нужных сотрудников Звезды“, лишней раз напоминают мне о ложности моего положения, угнетающего меня год от году все больше, и в котором я не повинен. Ведь я не вредитель. Книги мои выходят не под крепом, не за слоем матовой кальки. В них все прозрачно. Что же вы в них нашли актуального и полезного? Разве я не индивидуальность? Мне никогда это не казалось попутной случайностью, от которой можно отвлечься, что-нибудь сохранив в остатке. Но разве это не то, с чем теперь борются с таким воодушевлением? И как можно признавать меня, если и Британская энциклопедия относится ко мне незаслуженно лестно, в статье о русской литературе [83]. Если бы у меня не было семьи и в нравственном плане я не был средним человеком, то, глядя, что творится кругом, я должен был бы выступить в печати с возражениями против благожелательной критики. Все это скверная и мучительная загадка...»

«Последним годом поэта» назвал Пастернак 1929 год в «Охранной грамоте». Эту, «из века в век повторяю щую странность», применительно к Маяковскому 1930-го и Пушкину 1836 года, он характеризовал так:

«...Вдруг кончают не поддававшиеся завершенью замыслы. Часто к их недовершенности ничего не прибавляют, кроме новой и только теперь допущенной уверенности, что они завершены. И она передается потомству».

Меняют привычки, носятся с новыми планами, не нахвалятся подъемом духа. И вдруг – конец, иногда насильственный, чаще естественный, но и тогда, по нежеланию защищаться, очень похожий на самоубийство...

Что настает время, когда вдруг в одно перерожденное, расширившееся сердце сливаются отклики, давно уже шедшие от других сердец в ответ на удары главного, которое еще живо, и бьется, и думает, и хочет жить. Что множившиеся все время перебои наконец так учащаются, что вдруг выравниваются и, совпав с содроганиями главного, пускаются жить одною, отныне равноударной с ним жизнью. Что это не иносказанье. Что это переживается. Что это какой-то возраст, порывисто кровный и реальный, хотя пока еще и неназванный. Что это какая-то нечеловеческая молодость, но с такой резкой радостью надрывающая непрерывность предыдущей жизни, что за неназванностью возраста и необходимостью сравнений она своей резкостью больше всего похожа на смерть...

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)

Большой, реальный, реально существующий город. В нем зима, в нем мороз. Визгливый, ивового плетенья двадцатиградусный воздух как на вбитых сваях стоит поперек дороги. Все туманится, все закатывается и запропачивается в нем. Но разве бывает так грустно, когда так радостно? Так это не второе рождение? Так это смерть?...»

Те же полные трагического недоумения вопросы со всей остротой стояли в это время перед Пастернаком.

\* \* \*

«...Я стал отягощать искусство прощальными теоретическими вставками, вроде завещательных истин, в каком-то не оставляющем меня чаяньи моего близкого конца, либо полного физического, либо частичного и естественного, либо же, наконец, невольного-условного...»

Борис Пастернак – Лидии Пастернак.

Из письма 26 февраля 1930

Под прикрывающим страшные предчувствия эвфемизмом Пастернак перечисляет в письме к сестре виды своей возможной гибели: самоубийство, скоропостижная смерть или арест. Пастернак чувствует «языком не победимую тяжесть и еле преодолимый сердечный мрак», против его воли отражающийся в работе. «Какой-то безысходный, не тот, лирически молодой, а окостенело разрастающийся автобиографизм все теснее охватывает все то, что я делаю. И тут кончается искусство». Предложение, оборванное на резком диссонансе, было гармонически разрешено и озарено светом лирики.

\* \* \*

О, знал бы я, что так бывает

Когда пускался на дебют,

Что строчки с кровью – убивают,

Нахлынут горлом и убьют.

От шуток с этой подоплекой

Я б отказался наотрез.

Начало было так далеко,

Так робок первый интерес.

Но старость – это Рим, который

Взамен турусов и колес

Не читки требует с актера,

А полной гибели всерьез.

Когда строку диктует чувство,

Оно на сцену шлет раба,

И тут кончается искусство,

И дышат почва и судьба.

1932

\* \* \*

«...Как перерождает, каким пленником времени делает эта доля, это нахождение себя во всеобщей собственности, эта отовсюду прогретая теплом неволя. Потому что и в этом извечная жестокость несчастной России: когда она дарит кому-нибудь любовь, избранник уже не спасется с глаз ее. Он как бы попадает перед ней на римскую



Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
арену, обязанный ей зрелищем за ее любовь. И если от этого не спасся никто, что же сказать мне, любовь к которому затруднена ей так чрезвычайно, как любовь Германии к Heine... Я назвал тебе мой долг перед судьбой...»

Борис Пастернак – Жозефине Пастернак.

Из письма 11 февраля 1932

\* \* \*

«...Я буду говорить сейчас глупости. Но допусти их в их мыслимости, в идеале. Чем больше я буду совершенствоваться, чем ближе буду к правде, тем больше буду говорить о родине, тем больше я буду ее куском. Тем вернее тогда, что я причину ей страданье, что ей со мною будет трудно, что застенчивая (и тем понятная мне и прекрасная) она будет дошедшее до нее скрывать и отворачиваться от меня всякий раз, как между нами будут вырастать природные ее ревнители, перед легкостью и простотой которых ей стыдно будет трудности, которой я ее наградил. Веянье племенного недружелюбья почти никогда меня не касалось. Да я и не увидел бы в нем обиды. Сознание же того, что чем естественнее и безотчетней меня тянет к русской памяти, тем неестественней ей будет со мной – составляет невеселый круг, о котором я никогда не забываю...»

Борис Пастернак – Марине Цветаевой.

Из письма 29 июня 1928

\* \* \*

«...На днях думал о смерти, и конечно твое «Знаю умру на заре [84] » неотступно звучало, я был близок слезам. С тех твоих слов, в том тоне, я записал в духе того, что говорю сейчас.

Рослый стрелок, осторожный охотник,

Призрак с ружьем на разливе души!

Не добирай меня сотым до сотни,

Чувству на корм по частям не кроши.

Дай мне подняться над смертью позорной.

С ночи одень меня в тальник и лед.

Утром спугни с мочажины озерной.

Целься, все кончено! Бей меня в лет.

За высоту ж этой звонкой разлуки,

О пренебрегнутые мои,

Благодарю и целую вас, руки

Родины, робости, дружбы, семьи.

То есть они-то и поднимают на высоту.

Твое, все твое, не оскорбляйся, я не крал, не помню, откуда. И вообще это не так, потому что слова «Бей меня в лёт» (в них весь смысл) должны быть восклицаньем, отделенной точкой, то есть что-то вроде того: Стой до скончания. Бей меня в лёт!

я это тебе не как стихи (слабые!), а чтобы услышала, что мне грустно...»

Борис Пастернак – Марине Цветаевой.

Из письма 29 июня 1928

\* \* \*

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
«...Общеизвестно слово „самоанализ“ и достойная оценка ему давно и навсегда дана. Меньше говорится о том сумасшествии, о том „самоанализе“, который без ведома и тайно от нас, пока нас спасает привычка, и вдруг открыто на наших глазах, когда мы остаемся одни, производит вся наша нервная система, все, что попадает в объектив, когда нас снимают во весь рост. Этот распад, этот от здоровья неотличимый бред, дает отдаленное понятие о грязи и позоре, заключающихся в смерти, в смерти вообще, не в моей для Вас, а в моей без меня. Стараешься держаться на достойной высоте над этим переполохом горячих и щемящих частностей. Начинаешь думать, что прежде, да и всю жизнь, тебя поддерживали на ней друзья, родительская семья, потом твоя собственная, то есть всегда чьи-то другие руки, которые следовало целовать по тому аду, от которого они тебя спасали, и которые не всегда ценил, как они того заслуживали...»

Борис Пастернак – Раисе Ломоносовой.

Из письма 15 июня 1928

\* \* \*

«...Начало апреля застало Москву в белом остолбенении вернувшейся зимы. Седьмого стало вторично таять, и четырнадцатого, когда застрелился Маяковский, к новизне весеннего положения еще не все привыкли...

Между одиннадцатью и двенадцатью все еще разбегались волнистые круги, порожденные выстрелом. Весть качала телефоны, покрывая лица бледностью и устремляясь к Лубянской проезду, двором в дом, где уже по всей лестнице мостились, плакали и жалась люди из города и жильцы дома, ринутые и разбрызганные по стенам плющильной силой события...

За воротами своим чередом шла жизнь, безучастная, как ее напрасно называют. Участье асфальтового двора, вечного участника таких драм, осталось позади.

По резиновой грязи бродил вешний слабоногий воздух и точно учился ходить. Петухи и дети заявляли о себе во всеуслышанье. Ранней весной их голоса странно доходят, несмотря на городскую деловую трескотню...»

Борис Пастернак.

Из «Охранной грамоты»

Смерть поэта  
Не верили, – считали – бредни,  
Но узнавали: от двоих,  
Троих, от всех. Равнялись в строку  
Остановившегося срока  
Дома чиновниц и купчих,  
Дворы, деревья и на них  
Грачи, в чаду от солнцепека  
Разгоряченно на грачих  
Кричавшие, чтоб дуры впредь не  
Совались в грех.  
И как намедни  
Был день. Как час назад. Как миг  
Назад. Соседний двор, соседний  
Забор, деревья, шум грачих.

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Лишь был на лицах влажный сдвиг,  
Как в складках порванного бредня.  
Был день, безвредный день, безвредней  
Десятка прежних дней твоих.  
Толпились, выстроясь в передней,  
Как выстрел выстроил бы их.  
Как сплющив, выплеснул из стока б  
Лещей и щуку минный вспых  
Шутих [85] , заложенных в осоку,  
Как вздох пластов нехолостых.  
Ты спал, постлав постель на сплетне,  
Спал и, оттрепетав, был тих, –  
Красивый, двадцатидвухлетний,  
Как предсказал твой тетраптих [86] .  
Ты спал, прижав к подушке щеку,  
Спал, – со всех ног, со всех лодыг  
Врезаясь вновь и вновь с наскоку  
В разряд преданий молодых.  
Ты в них врезался тем заметней,  
Что их одним прыжком достиг.  
Твой выстрел был подобен этне  
В предгорьи трусов и трусих.  
Друзья же изощрялись в спорах,  
Забыв, что рядом – жизнь и я.  
Так что ж еще? Что ты припер их  
К стене, и стер с земли, и страх  
Твой порох выдает за прах?  
Но мрази только он и дорог.  
На то и рассуждений ворох,  
Чтоб не бежала за края  
Большого случая струя,  
Чрезмерно скорая для хворых.  
Так пошлость свертывает в творог  
Седые сливки бытия.

1930

\* \* \*

«...Он лежал на боку, лицом к стене, хмурый, рослый, под простыней до подбородка, с полукрытым, как у спящего, ртом. Горделиво ото всех отвернувшись, он даже лежа, даже и в этом сне упорно куда-то прорывался и куда-то уходил. Лицо возвращало к временам, когда он сам назвал себя красивым, двадцатидвухлетним, потому что смерть заострив мимику, почти никогда не попадающуюся ей в лапы. Это было выражение, с которым начинают жизнь, а не которым ее кончают. Он дулся и негодовал...

Вдруг внизу, под окном, мне вообразилась его жизнь, теперь уже начисто прошлая. Она пошла вбок от окна в виде какой-то тихой, обсаженной деревьями улицы, вроде Поварской. И первым на ней у самой стены стало наше государство, наше ломящееся в века и навсегда принятое в них, небывалое, невозможное государство. Оно стояло внизу, его можно было кликнуть и взять за руку. В своей осязательной необычности оно чем-то напоминало покойного. Связь между обоими была так разительна, что они могли показаться близнецами.

И тогда я с той же необязательностью подумал, что человек этот был, собственно, этому гражданству единственным гражданином. Остальные боролись, жертвовали жизнью и создавали или же терпели и недоумевали, но все равно были туземцами истекшей эпохи и, несмотря на разницу, родными по ней земляками. И только у этого новизна времен была климатически в крови...»

Борис Пастернак.

Из «Охранной грамоты»

Смерть Маяковского предельно усугубила душевный мрак Пастернака и подтвердила его безысходность. Прощаясь с Маяковским, он прощался со своей молодостью, со всем тем, что наполняло его жизнь и служило оправданием, прощался с живым, полноприемным искусством. Это подтолкнуло его давнее желание съездить за границу, повидать родителей и, может быть, Марину Цветаеву. Но начав хлопоты, он вскоре убедился, что разрешения ему не дают. В крайности он решил просить помощи Горького.

\* \* \*

«...До этой зимы у меня было положено, что как бы ни тянуло меня на запад, я никуда не двинусь, пока начатого не кончу. Я соблазнял себя этим, как обещанной наградой, и только тем и держался. Но теперь чувствую, – обольщаться нечем. Ничего этого не будет, я переоценил свою выдержку, а может быть, и свои силы. Ничего стоящего я не сделаю, никакие отсрочки не помогут. Что-то оборвалось внутри, и я не знаю, – когда; но почувствовал я это недавно. Я решил не откладывать. Может быть, поездка поправит меня, если это еще не полный душевный конец. Я произвел кое-какие попытки и на первых же шагах убедился, что без Вашего заступничества разрешения на выезд мне не получить. Помогите мне, пожалуйста, – вот моя просьба...

Надо ли говорить, в каких чувствах я пишу Вам, и как равно готов принять любой Ваш ответ, потому что с радостью признаю над собой право даже и осудить меня за желание и быть о нем особого мнения. Но если бы Вы нашли нужным замолвить обо мне, Ваше слово всеильно, – я знаю. Будьте же моей судьбой в ту или другую сторону. В обоих случаях равное спасибо».

Борис Пастернак – М. Горькому.

Из письма 31 мая 1930

Горький ответил отказом:

«...Просьбу Вашу я не исполню и очень советую Вам не ходатайствовать о выезде за границу, – подождите!..»

Пастернак не стал оспаривать высказанного недоверия.

\* \* \*

«...Дорогая Марина!

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)

Я хочу, чтобы ты это знала. Этой весной я хлопотал и получил отказ. Я писал Г «орькому», слово которого в этих вопросах всесильно, и вчера получил ответ. Под разными предложениями он отклоняет мою просьбу и советует подождать. Не могу, но хотел бы научиться верить, что это слово что-нибудь значит, то есть что время изменит что-то и приблизит, что это не навсегда, что попытку можно будет возобновить...»

Борис Пастернак – Марине Цветаевой.

Из письма 20 июня 1930

Из недавно опубликованной переписки Горького с наркомом внутренних дел Г.Г. Ягодой, известно, что он сообщал своему адресату, что отказал в просьбе Пастернаку, человеку «безусловно порядочному», опасаясь, что тот, в силу своего «безволия» может поддаться влиянию «белоземigrants». В письме к Ромену Роллану осенью 1930 года Пастернак писал, что своим отказом Горький его «задушил».

\* \* \*

«...Я ничем серьезным не болен, мне ничего непосредственно не грозит. Но чувство конца все чаще меня преследует, и оно исходит от самого решающего в моем случае, от наблюдений над моей работой. Она уперлась в прошлое, и я бессилён сдвинуть её с мертвой точки: я не участвовал в создании настоящего и живой любви у меня к нему нет.

Что всякому человеку положены границы и всему наступает свой конец, отнюдь не открытие. Но тяжело в этом убеждаться на своем примере. У меня нет перспектив, я не знаю, что со мной будет...»

Б. Пастернак – Ольге Фрейденберг.

Из письма 11 июня 1930

Лишившись возможности поехать в Германию, Пастернак присоединился к своим друзьям, собиравшимся в Ирпень под Киевом. В год «великого перелома», то есть коллективизации деревни, ждали голода и надеялись, что на Украине будет сытнее. Удобные комнаты, казавшиеся раем по сравнению с московской скученностью коммунальной квартиры, успешная работа по доработке «Спекторского» в сочетании с оживленными разговорами с друзьями, позволили Пастернаку по-новому взглянуть на окружающее. Сложилась живая атмосфера общения с людьми, глубоко ценившими и любившими его. Это были замечательный музыкант Г.Г. Нейгауз с красавицей женой и детьми, талантливый историк философии В.Ф. Асмус тоже с женой и дочерью, семья младшего брата Александра и его шурин, историк литературы и германист Н.Н. Вильям-Вильмонт. Сочетание музыки в блестящем исполнении Нейгауза, легкости и артистичности его характера с глубокомыслием Асмуса и красноречием Вильям-Вильмонта представляли истинным праздником братства и дружбы, которому век назад поклонялись поэты пушкинской поры. Столетие Болдинской осени и маленькой трагедии Пушкина «Пир во время чумы» рождало непосредственные ассоциации с картинами «сплошной коллективизации», полным ходом шедшей вокруг. Недавняя гибель Маяковского, чтение и разбор его стихов вызвали мысли о бессмертии из диалогов Платона.

Лето

Ирпень – это память о людях и лете,

О воле, о бегстве из-под кабалы,

О хвое на зное, о сером левкое

И смене безветрия, ведра и мглы.

О белой вербене, о терпком терпении

Смолы; о друзьях, для которых малы

Мои похвалы и мои восхваленья,

Мои славословья, мои похвалы.

Пронзительных иволог крик и явление  
Китайкой и углем желтило стволы,  
Но сосны не двигали игол от лени  
И белкам и дятлам сдавали углы.  
Сырели комоды, и смену погоды  
Древесная квакша вещала с сучка,  
И балка у входа ютила удода,  
И, детям в угоду, запечье – сверчка.  
В дни съезда шесть женщин топтали луга.  
Лениво паслись облака в отдаленьи.  
Смеркалось, и сумерек хитрый манёвр  
Сводил с полутьмою зажженный репейник,  
С землею – саженные тени ирпенек  
И с небом – пожар полосатых панёв.  
Смеркалось, и, ставя простор на колени,  
Загон горизонта смыкал полукруг.  
Зарницы вздымали рога по-оленьи,  
И с сена вставали и ели из рук  
Подруг, по приходе домой тем не мене  
От жуликов дверь запиравших на крюк.  
В конце, пред отъездом, ступая по кипе  
Листвы облетелой в жару бредовом,  
Я с неба, как с губ, перетянутых сыпью,  
Налет недомолвок сорвал рукавом.  
И осень, дотоле вопившая выпью,  
Прочистила горло; и поняли мы,  
Что мы на пиру в вековом прототипе –  
На пире Платона во время чумы.  
Откуда же эта печаль, Диотима?  
Каким увереньем прервать забытьё?  
По улицам сердца из тьмы нелюдимой!  
Дверь настезь! За дружбу, спасенье мое!  
И это ли происки Мэри-арфистки,  
Что рока игрою ей под руки лег

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)

и арфой шумит ураган аравийский,

Бессмертья, быть может, последний залог.

1930

Под именем Диотимы, «сведущей женщины» из платоновского диалога «Пир», в стихотворении выведена жена Асмуса Ирина Сергеевна. Под именем Мэри из «Пира во время чумы» Пушкина – пианистка Зинаида Николаевна Нейгауз. Последние слова стихотворения представляют собой перифраз слов Председателя из «Пира во время чумы» Пушкина.

\* \* \*

«...А лето было восхитительное, замечательные друзья, замечательная обстановка. И то, с чем я прощался в весеннем письме к вам, – работа, вдруг как-то отошла на солнце, и мне давно, давно уже не работалось так, как там, в Ирпене. Конечно – мир совершенной оторванности и изоляции, вроде одиночества Гамсуновского Голода [87], но мир здоровый и ровный...»

Борис Пастернак – Ольге Фрейденберг.

Из письма 20 октября 1930

\* \* \*

«...Вечерами собирались и слушали музыку. Борис Леонидович просто обожал игру Генриха Густавовича, а Нейгауз был влюблен в его стихи и часто читал их мне вслух наизусть, пытаясь приобщить меня к ним.

Однажды он выступал в Киеве, играл Е-мо11-ный концерт Шопена для фортепиано с оркестром. Надвигалась гроза, сверкали молнии. Концерт был назначен в городском саду под открытым небом, и мы боялись – не разбежится ли публика, но дождь хлынул после его исполнения. Посвященное Нейгаузу стихотворение Бориса Леонидовича «Баллада» навеяно именно этим концертом...»

Зинаида Пастернак.

Из «Воспоминаний»

В 1950-х годах во время работы над романом «Доктор Живаго» Пастернак вспоминал время своей страстной влюбленности в Зинаиду Николаевну Нейгауз, которая охватила его летом 1930 года, в атмосфере противоречивых чувств подступавших к ним отовсюду гибели и несчастья. Он выразил это в романе, говоря о влечении Юрия Живаго к Ларе.

Открытость характера не позволяла ему делать тайны из своего увлечения. Зинаида Николаевна вспоминала:

«...Вскоре по приезде в Москву он пришел к нам в Трубниковский. Он зашел в кабинет к Генриху Густавовичу, закрыл дверь, и они долго беседовали. Когда он ушел, я увидела по лицу мужа, что что-то случилось. На рояле лежала рукопись двух баллад. Одна была посвящена мне, другая Нейгаузу. Оба стихотворения мне страшно понравились. Генрих Густавович запер дверь и сказал, что ему надо серьезно со мной поговорить. Оказалось, что Борис Леонидович приходил сказать ему, что он меня полюбил и это чувство у него никогда не пройдет. Он еще не представлял себе, как все это сложится в жизни, но он вряд ли сможет без меня жить. Они сидели и плакали, оттого, что очень любили друг друга и были дружны.

Я рассмеялась и сказала, что это все несерьезно. Я просила мужа не придавать этому разговору никакого значения, говорила, что этому не верю, а если это правда, то все скоро пройдет...»

Баллада

Дрожат гаражи автобазы,

Нет-нет, как кость, взблеснет костел.

Над парком падают топазы,

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Слепых зарниц бурлит котел

В саду – табак, на тротуаре –  
Толпа, в толпе – гуденье пчел.  
Разрывы туч, обрывки арий,  
Недвижный Днепр, ночной Подол.  
«Пришел», – летит от вяза к вязу.  
И вдруг становится тяжел,  
Как бы достигший высшей фазы  
Бессонный запах матиол.  
«Пришел», – летит от пары к паре,  
«Пришел», – стволу лепечет ствол.  
Потоп зарниц, гроза в разгаре,  
Недвижный Днепр, ночной Подол.  
Удар, другой, пассаж, – и сразу  
В шаров молочный ореол  
Шопена траурная фраза  
Вплывает, как больной орел.  
Под ним – угар араукарий [88] ,  
Но глух, как будто что обрел,  
Обрывы донизу обшаря,  
Недвижный Днепр, ночной Подол.  
Полет орла как ход рассказа.  
В нем все соблазны южных смол  
И все молитвы и экстазы  
За сильный и за слабый пол.  
Полет – сказанье об Икаре.  
Но тихо с круч ползет подзол,  
И глух, как каторжник на Каре [89] ,  
Недвижный Днепр, ночной Подол.  
Вам в дар баллада эта, Гарри.  
Воображенья произвол  
Не тронул строк о вашем даре:  
Я видел все, что в них привел.  
Запомню и не разбазарю:



Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Метель полных матиол.

Концерт и парк на крутояре.

Недвижный Днепр, ночной Подол.

1930

\* \* \*

Красавица моя, вся статья,

Вся суть твоя мне по сердцу,

Вся рвется музыкою статья,

И вся на рифмы просится.

А в рифмах умирает рок,

И правдой входит в наш мирок

Миров разноголосица.

И рифма не вторенье строк,

А гардеробный номерок,

Талон на место у колонн

В загробный гул корней и лон.

И в рифмах дышит та любовь,

Что тут с трудом выносятся,

Перед которой хмурят бровь

И морщат переносицу.

И рифма не вторенье строк,

Но вход и пропуск за порог,

Чтоб сдать, как плащ за бляшкой

Болезни тяжесть тяжкую,

Боязнь огласки и греха

За громкой бляшкой стиха.

Красавица моя, вся суть,

Вся статья твоя, красавица,

Спирает грудь и тянет в путь,

И тянет петь и – нравится.

Тебе молился Поликлет [90] .

Твои законы изданы.

Твои законы в далях лет.

Ты мне знакома издавна.

1931

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)

\* \* \*

«...Я оставил семью, жил одно время у друзей (и у них кончил „Охранную грамоту“), теперь у других, в квартире Пильняка, в его кабинете. Я ничего не могу сказать, потому что человек, которого я люблю, не свободен, и это жена друга, которого я никогда не смогу разлюбить. И все-таки это не драма, потому что радости здесь больше, чем вины и стыда...»

Борис Пастернак – Сергею Спасскому.

Из письма 15 февраля 1931

\* \* \*

Любимая, – молвы слащавой,

Как угля, вездесуща гарь.

А ты – подспудной тайной славы

Засасывающий словарь.

А слава – почвенная тяга.

О, если б я прямой возник!

Но пусть и так, – не как бродяга,

Родным войду в родной язык.

Теперь не сверстники поэтов,

Вся ширь проселков, меж и лех

Рифмует с Лермонтовым лето

И с Пушкиным гусей и снег.

И я б хотел, чтоб после смерти,

Как мы замкнемся и уйдем,

Тесней, чем сердце и предсердье,

Зарифмовали нас вдвоем.

Чтоб мы согласия сочетаньем

Застлали слух кому-нибудь

Всем тем, что сами пьем и тянем

И будем ртами трав тянуть.

1931

Борис Пастернак – Зинаиде Нейгауз  
30 апреля 1931.

«Родная моя, удивительная, бесподобная, большая, большая!»

Сегодня тридцатое, сейчас утро. Мне хочется все это запомнить. Все ушли из дому, я один с Аидой в Борисовой квартире. Вчера были гости, утром стол стоял еще раздвинутый на две доски под длинной белой скатертью, весь солнечный, заставленный серебром и зеленым стеклом, с двумя горшками левкоев, дверь на балкон была открыта, там тоже было солнце, стекло и зелень.

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Через час я пойду к жене и проведу у нее часть дня, больше, чем бывал там эти месяцы, когда забегал к ней редко и лишь на минутку.

Этим начнется наше прощанье с ней. Я не знал, что оно будет так легко. Что оно будет ясною спокойной весной, среди стихов, вызванных чем-либо столь огромным, маловероятным, очевидным, как ты, со взглядом, открыто и просто вперенным в наше время, с такою верой в землю и ее смысл.

Я не знал, что перед разлукой с ней буду полон чем бы то ни было подобным тебе, – буду переполнен тобой – буду разливать тебя, упрощающую все до полного счастья, – все, чего касается твое влияние, все, на что падает твоя волна. Я не знал, что буду избавлен при прощаньи от душевных подмен, от легкости нелюбви или прирожденного бесчувствия, – но что это будет ничем не омраченное светлое прощанье с дорогим: в мире, равном себе везде, везде живым и милостивым, равном себе без конца, в верном и полном тобой...»

Письма писались из дома Бориса Пильняка, который предоставил Пастернаку на время своего отъезда в Америку свой кабинет. После возвращения хозяина, Пастернак еще некоторое время жил у Пильняка. Аида – имя собаки Пильняка, большого египетского дога.

12 мая 1931.

«Сейчас вернулся [91], телеграмму отправил. Все время вижу вас обоих, тебя и Адика, с закатом, англичанином и пр. Как чудесны эти первые часы пути, когда так облагораживающе сказывается усталость и вдруг получаешь право молчать, сидеть на мягком диване и засматриваться на быстро сменяющиеся картины – право, как бы заслуженное суматохой сборов и волнениями большого, рано начавшегося дня. Природа в дороге кажется наградой, которой тебя признали достойной, это возвышает и трогает – почти что подымаешься в собственном мнении, – ты замечала?..»

А когда возвращаюсь на Волхонку, вижу Женю. Я вижу ее превращающим взглядом разлуки, и она у меня получается такой, какой была гимназисткой – прелестной, беззащитной, принимающей на себя мир, как дуновение ветра или тень, а не вонзающей в него взгляд, или замысел, или деятельное желанье. И сердце исходит у меня болью о ней. О ней, а не по ней. Вот в том-то и дело, что ты есть, а то – должно было быть, и это не теперь, а было всегда. И это не в укор ей. Я мало знал людей, которых бы так стоило и надо было бы любить, как ее, – и не за нравственные только качества, а и за внешность: за историю ее внешности, за судьбу ее внешности и ее метаморфоз.

Но так именно и любит большинство людей. Любят любовью дополняющей, довоспитывающей, отделяются завесой взаимных снисхождений от природы и именно эту завесу зовут жизнью. Любят впрок за то, что набегут года и привычки и осядут прошлым, и прошлого будет так много, что оно станет многотомной людской повестью, будет чем зачитываться и что вспоминать, любят за людскую повесть, которую пишет время, пишет независимо от того, о ком ее пишет и как бы ни были малы описываемые и их помощь пишущему. И сами ничего не делают. Вечно делают за другого и ждут, что он будет делать за тебя, и эту взаимопомощь, извиняющую несовершенство, зовут любовью, а поклоненье несовершенству – нравственностью. Большинство любит любовью должной, а не той, которая есть.

Больше всего меня поразило, что объем моего чувства к тебе существовал раньше, чем я его измерил, что я любил уже тебя до того, как полюбить. Его не надо было хотеть, звать или желать. Твоей самостоятельной красоте не надо было помогать. Она сама пробарабанила мне тогда во сне невероятную радость того, что ты существуешь: что в Ирпене есть дачник, которого Ирина Сергеевна [92] и Женя стали встречать раньше, чем увидел его я, и этот дачник – мое чувство к тебе, моя судьба с тобой, тогда еще неизвестная. Это, с немыслимой чистотой, была любовь, которая есть, а не должна быть...»

28 мая 1931

«Лялюся, золото мое!

Двенадцать часов, пишу тебе перед сном, вижу тихий твой дворик [93], а под окном бредовая, полная грохота и пыли, даже и ночью, – Москва.

Лялечка, к вечеру в дороге мне стало невозможно тоскливо без тебя, мне так стало потому, что день был легкий, облачный, мы ехали лесами, перед тем освеженными дождем, одуряюще пахло березой, и соловьи заглушали шум поезда – и вот эта благодатная немучительность обычно мучительного пути и это свищущее наслаждение, просыревшее до недр и звонкое на версты, переполняло тою же благодарностью, что и ты, и я не знал, куда деваться от нежности к тебе: я чуть не плакал от головокружительной, выпрямляющейся во весь твой цвет, и рост, и голос тоски, и взял письмо твое, единственное полученное в Москве перед отъездом (я возил его с собой в Киев), и как ложиться спать, положил его на грудь под рубашку.

Лялечка, страсть к тебе есть огромное, заплаканное, безмолвно ставящее людей на колени знание, и любить значит любить тебя, любить же тебя значит существовать в посланничестве, в посланничестве ночи, леса и соловьиного свиста.

Милая, жизнь моя, ты – моя жизнь впервые непререкаемая, как до сих пор – в одиночестве. А по приезде нашел несколько писем на столе, и среди них твои. О, ведь их два, а ты не сказала мне, и я ждал одного! Чтоб никогда, никогда ты больше не касалась своего почерка и тем паче своего голоса в письмах! Ты знаешь, первое по времени так потрясло меня, что, не вскрывая второго, я бросился по телефону упрашивать, чтобы освободили меня от Магнитогорска [94] .

Ты знаешь, я бы остался в Москве, но вдвоем с тобой, без отвлекающего соседства спутников и впятером обсуждаемых дорожных впечатлений. И моими мольбами так прониклись, что отказали не сразу, а в некотором страхе за мой рассудок пообещали сделать все возможное и дать ответ к вечеру. Теперь я знаю: переделать этого нельзя, – говорят, вся бригада бы развалилась и никто бы не поехал. Наверное, врут, я ничего не понимаю тут – факт тот, что меня не отпустили. Но позволили, если мне станет невтерпех, прервать поездку и даже улететь назад на аэроплане. Этому придают какое-то политическое значение. Но на совещанье я предупредил, чтобы ничего «нового» от меня не ждали, что я еду с готовой и очень личной верностью жизни и ломать поэта в себе (тебе) не собираюсь, как бы ни было велико строительство, которое увижу...

Милая белая милота моя, бездонно чистая, скромная, покорная, равная, достойная, захватывающая, тихая, тихая – золотая моя! Я все силы приложу, чтобы Лялик поехал с нами [95] . Пока об этом ни слова. Я не знаю, когда буду назад и как все сложится. Тогда видно будет, я ли с ним заеду за тобой в Киев или ты за нами сюда. Но путешествие с ним будет для меня настоящей радостью, и ты увидишь, как я с этим справлюсь! Но письма твои!! Как мне это сказать, чтобы ты поверила? Ты пишешь так чудно, как мне не дано в мечтах: я хотел бы уметь так выражать себя, так нерастрачено-полно, сдержанно-взрывчато, грустно-содержательно. Ты меня многому научишь. Мы удивительно суждены друг другу: тут что-то настолько неожиданно родное, что иногда мне кажется – что-то откроется впоследствии, как в драмах с запоздалыми узнаваниями, какая-то вдруг все объясняющая биографическая подробность...»

\* \* \*

Годами когда-нибудь в зале концертной

Мне Брамса сыграют, – тоской изойду.

Я вздрогну, я вспомню союз шестисердый [96] ,

Прогулки, купанье и клумбу в саду.

Художницы робкой, как сон, крутолобость,

С беззлой улыбкой, улыбкой взхлеб.

Улыбкой, огромной и светлой, как глобус,

Художницы облик, улыбку и лоб.

Мне Брамса сыграют, – я вздрогну, я сдамся,

Я вспомню покупку припасов и круп,

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Ступеньки террасы и комнат убранство,

И брата, и сына, и клумбу, и дуб.  
Художница пачкала красками траву,  
Роняла палитру, совала в халат  
Набор рисовальный и пачки отравы,  
что «Басмой» зовутся и астму сулят [97] .  
Мне Брамся сыграют, – я сдамся, я вспомню  
Упрямую заросль, и кровлю, и вход,  
Балкон полутемный и комнат питомник,  
Улыбку, и облик, и брови, и рот.  
И сразу же буду слезами увлажен  
И вымокну раньше, чем выплачусь я.  
Горючая давность ударит из скважин,  
Околицы, лица, друзья и семья.  
И станут кружком на лужке интермеццо [98] ,  
Руками, как дерево, песнь охватив,  
Как тени, вертеться четыре семейства  
Под чистый, как детство, немецкий мотив.  
1931

\* \* \*  
Любить иных – тяжелый крест,  
А ты прекрасна без извилин [99] ,  
И прелести твоей секрет  
Разгадке жизни равносителен.  
Весною слышен шорох снов  
И шелест новостей и истин.  
Ты из семьи таких основ.  
Твой смысл, как воздух, бескорыстен.  
Легко проснуться и прозреть,  
Словесный сор из сердца вытрясть  
И жить, не засоряясь впредь,  
Все это – не большая хитрость.  
1931

\* \* \*  
Никого не будет в доме,

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Кроме сумерек. Один

Зимний день в сквозном проеме  
Незадернутых гардин.  
Только белых мокрых комьев  
Быстрый промельк маховой.  
Только крыши, снег и, кроме  
Крыш и снега, – никого.  
И опять зачертит иней,  
И опять завертит мной  
Прошлогоднее унынье  
И дела зимы иной,  
И опять кольнут доньше  
Не отпущенной виной,  
И окно по крестовине  
Сдавнит голод дровяной.  
Но нежданно по портъере  
Пробежит вторженья дрожь.  
Тишину шагами меря,  
Ты, как будущность, войдешь.  
Ты появишься у двери  
В чем-то белом, без причуд,  
В чем-то впрямь из тех материй,  
Из которых хлопья шьют.

1931

\* \* \*

«...Около 1930 года зимой в Москве посетил меня вместе со своею женой поэт Паоло Яшвили, блестящий светский человек, образованный, занимательный собеседник, европеец, красавец.

Вскоре в двух семьях, моей и другой дружественной, произошли перевороты, осложнения и перемены, душевно тяжелые для участников. Некоторое время мне и моей спутнице, впоследствии ставшей моей второй женою, негде было приклонить голову. Яшвили предложил нам пристанище у себя в Тифлисе.

Тогда Кавказ, Грузия, отдельные ее люди, ее народная жизнь явились для меня совершенным открытием. Все было ново, все удивляло. В глубине всех уличных пролетов Тифлиса нависавшие темные каменные громады. Вынесенная из дворов на улицу жизнь беднейшего населения, более смелая, менее прячущаяся, чем на севере, яркая, откровенная. Полная мистики и мессианизма символика народных преданий, располагающая к жизни воображением и, как в католической Польше, делающая каждого поэтом. Высокая культура передовой части общества, умственная жизнь, в такой степени в те годы уже редкая. Благоустроенные уголки Тифлиса, напоминавшие Петербург, гнутые в виде корзины и лиры оконные решетки бельэтажей, красивые закоулки. Преследующая по пятам и везде наступающая дробь бубна, отбивающего

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
ритм лезгинки. Козлиное бляенье волынки и каких-то других инструментов.  
Наступление южного городского вечера, полного звезд и запахов из садов,  
кондитерских и кофеен...».

Борис Пастернак.

Из очерка «Люди и положения»

\* \* \*

Я видел, чем Тифлис

Удержан по откосам,

я видел даль и близь

Кругом под абрикосом.

Он был во весь отвес,

Как книга с фронтисписом,

На языке чудес

Кистями слив исписан.

По склонам цвел анис,

И, высясь пирамидой,

Смотрели сверху вниз

Сады горы Давида.

я видел блеск светца

Меж кадок с олеандром,

И видел ночь: чтеца

За старым фолиантом.

1936

\* \* \*

Пока мы по Кавказу лазаем,

И в задыхающейся раме

Кура ползет атакой газовой

К Арагве, сдавленной горами,

И в августовский свод из мрамора,

Как обезглавленных гортани,

Заносят яблоки адамовы

Казненных замков очертанья,

Пока я голову заламываю,

Следя, как шеи укреплений

Плывут по синеве сиреневой

И тонут в бездне поколений,

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Пока, сменяя рощи вязовые,

Курчавится лесная мелочь,  
Что шепчешь ты, что мне подсказываешь,  
Кавказ, Кавказ, о что мне делать?  
Объяты в тысячу охватов,  
Чем обеспечен твой успех?  
Здоровый глаз за веко спрятав,  
Над чем смеешься ты, Казбек?  
Когда от высей сердце ёкает  
И гор колышутся кадила,  
Ты думаешь, моя далекая,  
Что чем-то мне не угодила.  
И там, у Альп в дали Германии [100] ,  
Где также чокаются скалы,  
Но отклики еще туманнее,  
Ты думаешь, – ты оплошала?  
Я брошен в жизнь, в потоке дней  
Катящую потоки рода,  
И мне кроить свою трудней,  
Чем резать ножницами воду.  
Не бойся снов, не мучься, брось.  
Люблю и думаю и знаю.  
Смотри: и рек не мыслит врозь  
Существованья ткань сквозная.

1931

В путешествии по Кавказу Пастернака не оставляла мысль об оставленной семье, уехавшей на лето в Германию к его родителям. Это стихотворение и еще несколько в книге обращены к жене, очень тяжело переживавшей уход мужа. Во «Второе рождение», как вскоре стала называться эта книга, вошли стихотворения, написанные в 1930–1932 годах. В ней сказалась мужественная решимость писать по-новому, преодолевая собственные навыки, и жить, не глядя на опасности и перемены. Сознание рискованности этого пути, подчиненного внеэстетическим задачам и нравственному долгу художника, заявлено со всей определенностью в стихотворении «Столетье с лишним не вчера...» «Столетье с лишним» отделяет это стихотворение от «Стансов» Пушкина 1826 года, в которых он излагал свои надежды на новое царствование:

В надежде славы и добра  
Гляжу вперед я без боязни:  
Начало славных дел Петра



Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Мрачили мятежи и казни.

Те же надежды на близкие изменения в жизни страны выражены в стихах Пастернака:

\* \* \*

Столетье с лишним – не вчера,  
А сила прежняя в соблазне  
В надежде славы и добра  
Глядеть на вещи без боязни.  
Хотеть, в отличие от хлыща  
В его существовании кратком,  
Труда со всеми сообща  
И заодно с правопорядком.  
И тот же тотчас же тупик  
При встрече с умственной ленью,  
И те же выписки из книг,  
И тех же эр сопоставленье.  
Но лишь сейчас сказать пора,  
Величьем дня сравненье разня:  
Начало славных дней Петра  
Мрачили мятежи и казни.  
Итак, вперед, не трепеща  
И утешаясь параллелью,  
Пока ты жив, и не моща,  
И о тебе не пожалели.

1931

Новая книга Пастернака ориентировалась на широкую публику и отличалась большей доступностью, что делало ее более уязвимой. Сказывалась также «опасность» провозглашенной в ней творческой простоты.

\* \* \*

Есть в опыте больших поэтов  
Черты естественности той,  
Что невозможно, их отведав,  
Не кончить полной немотой.  
В родстве со всем, что есть, уверясь,  
И знаясь с будущим в быту,  
Нельзя не впасть к концу, как в ересь,  
В неслыханную простоту.

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Но мы пощажены не будем,

Когда ее не утаим,

Она всего нужнее людям,

Но сложное понятней им.

Отсылка к «опыту больших поэтов» вскрывает соотнесенность книги «Второе рождение» с «вековым прототипом» русской классической поэзии. Так же, как поэты прошлого века, Пастернак понимал, что «небережливое многословье», которым прикрывается безличье, «кажется доступным потому, что оно бессодержательно. Что разращенные пустотою шаблонов, мы именно неслыханную содержательность, являющуюся к нам после долгой отвычки, принимаем за претензии формы». Эти слова из «Охранной грамоты» служат прямым комментарием к приведенным стихам, плохо понимаемым, хотя и часто цитируемым. Насколько опасна эта «неслыханная содержательность», или иными словами, «неслыханная простота», подтверждалось на каждом шагу, и Пастернак знал, что «мы пощажены не будем».

\* \* \*

«...Мую деятельность объявили бессознательной вылазкой классового врага, мое понимание искусства – утверждением, что оно при социализме, то есть вне индивидуализма, немисливо, – оценки в наших условиях малообещающие, когда книги мои запрещены в библиотеках...»

Борис Пастернак – Жозефине Пастернак.

Из письма 11 февраля 1932

\* \* \*

10 мая 1932

«...Позади Музея изобразительных искусств столкнулся с Борисом Пастернаком. Давно не видался с ним. Он почему-то в расстроенном состоянии. Сразу стал жаловаться на трудности жизни. Сказал: „Пора помирать. Все так трудно: и материально, и нравственно. И комнатно, и в смысле семьи“. Говорил, что история с его разводом вызвана большим чувством, но все разбивается о современную жизнь. И писать он по-настоящему перестал. А чтоб писать то, что сейчас обычно, нужно немного больше творческого подъема, чем вот для этого разговора со мной. И снова повторил, что приходит к заключению, что пора помирать...»

В Москву на гастроли из Германии приехал пианист Лео Сирота... В программе были фортепианные фрагменты из балета Игоря Стравинского «Петрушка» и что-то другое, что меня заинтересовало. Концерт был в зале Дома ученых...

Когда кончился концерт и публика еще не успела разойтись, кто-то из присутствующих вскочил на эстраду и закричал на весь зал: «Товарищи, здесь в зале находится поэт Пастернак, давайте попросим его прочесть стихи!» Публика откликнулась аплодисментами и возгласами: «Просим, просим!» По проходу к эстраде быстрым шагом подошел Борис Леонидович. Ему помогли забраться на эстраду, и он, смущенно улыбаясь и теребя волосы, пытался отказаться и бормотал: «Ну зачем это, я не знаю, что читать». И вдруг, поглядев в глубь зала с высоты эстрады, громко спросил: «Зина, как ты думаешь, что мне читать?» При этих словах все головы, как по команде, повернулись назад, и Зинаида Николаевна, вторая жена Пастернака, оказалась в центре внимания. Конечно, это привело ее в раздраженное состояние, и мы услышали из последних рядов зала недовольный голос: «Ну почему я знаю, читай что хочешь!»

Вероятно, этих ее слов было достаточно, и Борис Леонидович начал читать. Он прочел много стихов (к сожалению, я не успел записать каких), с подъемом, своим громким, немного тягучим, но таким знакомым и единственным голосом. Успех был, как всегда, огромный. Аплодировали и просили читать еще и еще...»

Лев Горнунг. Из дневниковых записей

«Встреча за встречей»

\* \* \*

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
«...Годы моего первого знакомства с грузинской лирикой составляют особую, светлую и незабываемую страницу моей жизни. Воспоминания о толках и побуждениях, вызвавших эти переводы, а также подробности обстановки, в которой они производились, слились в целый мир, далекий и драгоценный...»

Борис Пастернак.

Из статьи «Несколько слов о новой грузинской поэзии»

\* \* \*

За прошлого порог

Не вносят произвола.

Давайте с первых строк

Обнимемся, Паоло [101] !

Ни разу властью схем

я близких не обидел,

В те дни вы были всем,

что я любил и видел.

Входили ль мы в квартал

Оружья, кож и седел,

Везде ваш дух витал

И мною верховодил.

Уступами террас

Из вьющихся глициний

я мерил ваш рассказ

И слушал, рот разиня.

Не зная ваших строф,

Но полюбив источник,

я понимал без слов

Ваш будущий подстрочник.

1936

\* \* \*

«...Паоло Яшвили замечательный поэт послесимволистского времени. Его поэзия строится на точных данных и свидетельствах ощущения. Она сродни новейшей европейской прозе Белого, Гамсуна и Пруста и, как эта проза, свежа неожиданными и меткими наблюдениями. Это предельно творческая поэзия. Она не загромождена плотно упиханными в нее эффектами. В ней много простору и воздуху. Она движется и дышит...»

Одаренность сквозила из него. Огнем души светились его глаза, огнем страстей были опалены его губы. Жаром испытанного было обожжено и вычернено его лицо, так что он казался старше своих лет, человеком потрепанным, пожившим.

В день нашего приезда он собрал своих друзей, членов группы, вожаком которой он состоял. Я не помню, кто пришел тогда. Наверное, присутствовал его сосед по дому, перворазрядный и неподдельный лирик, Николай Надирадзе. И были Тициан Табидзе с женой.

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)

Как сейчас вижу эту комнату. Да и как бы я ее забыл? Я тогда же в тот вечер, не ведая, какие ужасы ее ждут, осторожно, чтобы она не разбилась, опустил ее на дно души вместе со всем тем страшным, что потом в ней и близ нее произошло.

Зачем посланы были мне эти два человека? Как назвать наши отношения? Оба стали составною частью моего личного мира. Я ни одного не предпочитал другому, так они были нераздельны, так дополняли друг друга. Судьба обоих вместе с судьбой Цветаевой должна была стать самым большим моим горем.

Если Яшвили весь был во внешнем, центробежном проявлении, Тициан Табидзе был устремлен внутрь и каждую своей строкой и каждым шагом звал в глубину своей богатой, полной догадок и предчувствий души.

Главное в его поэзии – чувство неисчерпанности лирической потенции, стоящее за каждым его стихотворением, перевес несказанного и того, что он еще скажет, над сказанным. Это присутствие незатронутых душевных запасов создает фон и второй план его стихов и придает им то особое настроение, которым они пронизаны и которое составляет их главную и горькую прелесть. Души в его стихах столько же, сколько ее было в нем самом, души сложной, затаенной, целиком направленной к добру и способной к ясновидению и самопожертвованию...»

Борис Пастернак.

Из очерка «Люди и положения»

\* \* \*

Еловый бурелом,

Обрыв тропы овечьей.

Нас много за столом,

Приборы, звезды, свечи.

Как пылкий дифирамб,

Все затмевая оптом,

Огнем садовых ламп

Тицьян Табидзе обдан.

Сейчас он речь начнет

И мыслью – на прицеле.

Он слово почерпнет

Из этого ущелья.

Он курит, подперев

Рукою подбородок,

Он строг, как барельеф,

И чист, как самородок.

Он плотен, он шатен,

Он смертен, и, однако,

Таким, как он, Роден

Изобразил Бальзака.

Он в глыбе поселен,

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)

Чтоб в тысяче градаций  
Из каменных пелён  
Все явственней рождаться.  
Свой непомерный дар  
Едва, как свечку, тепля,  
Он – пира перегар  
В рассветном сером пепле.

1936

\* \* \*

Немолчный плеск солей.  
Скалистое ущелье.  
Стволы густых елей.  
Садовый стол под елью.  
На свежем шашлыке  
Дыханье водопада,  
С его, невдалеке  
Гремящей галопадой.  
На хлебе и жарком  
Угар его обвала,  
Как пламя кувырком  
Упавшего шандала [102] .  
От говора ключей,  
Сочащихся из скважин,  
Тускнеет блеск свечей,  
Так этот воздух влажен.  
Они висят во мгле  
Сученой ниткой книзу,  
Их шум прибит к скале,  
Как канделябр к карнизу.

1936

В ночь с 13 на 14 мая 1934 года был арестован Осип Мандельштам. Пастернак обратился к заступничеству Бухарина, который упомянул об этом в своем письме Сталину: «О Мандельштаме пишу еще и потому, что Борис Пастернак в полном умопомрачении от ареста Мандельштама – и никто ничего не знает». На письме Бухарина Сталин записал: «Кто дал им право арестовывать Мандельштама? Безобразия». За несколько дней до распоряжения о пересмотре дела, Сталин позвонил Пастернаку по телефону. Разговор был дословно передан Анне Ахматовой и Надежде Мандельштам и достаточно точно ими записан.

\* \* \*

«...Сталин сообщил Пастернаку, что дело Мандельштама пересматривается и с ним все будет хорошо. Затем последовал неожиданный упрек, – почему Пастернак не обратился в писательские организации „или ко мне“ и не хлопотал о Мандельштаме... Ответ Пастернака: „Писательские организации этим не занимаются с 27 года, а если б я не хлопотал, вы бы, вероятно, ничего бы не узнали...“

Сталин прервал его вопросом: «Но ведь он же мастер, мастер?» Пастернак ответил: «Да дело же не в этом...» – «А в чем же?» – спросил Сталин. Пастернак сказал, что хотел бы с ним встретиться и поговорить. – «О чем?» – «О жизни и смерти», – ответил Пастернак. Сталин повесил трубку...»

Надежда Мандельштам.

Из «Воспоминаний»

Со свойственной Сталину подозрительностью он решил проверить мотивы заступничества Пастернака. Трехминутный разговор носил характер скрытого допроса. По существу дела сразу было сказано, что с Мандельштамом все будет хорошо. Это было исчерпывающим ответом на беспокойство Пастернака, но затем последовали вопросы о характере их отношений и о том, почему не беспокоятся о Мандельштаме писательские организации, – причем Пастернак постарался четко определить ту долю ревнивого соперничества, которая окрашивала их дружбу с Мандельштамом, и дал «точную справку» о том, что писатели не занимаются делами заступничества за арестованных со времени уничтожения политической оппозиции в 1927 году. Вопрос о том, «мастер» ли Мандельштам, рассердил Пастернака своей нелепой постановкой, – будто мастера нужно беречь, а не мастера можно арестовать, – и он отчетливо почувствовал необходимость перевести разговор на другую, более общую тему. Но говорить «о жизни и смерти», то есть о праве человека распоряжаться этими категориями по своей воле, Сталин не захотел.

Пастернак вспоминал впоследствии, что ни одного слова никогда не хотел изменить в своих ответах, довольный тем, что ничем не выдал, что знает причину ареста и что стихи Мандельштама о Сталине были ему известны. Заступничество Пастернака в июне 1934 года отсрочило на несколько лет гибель Мандельштама, ссылка в Чердынь была заменена «минусом». Более позднее, совместное с Ахматовой ходатайство Пастернака в прокуратуру уже не имело никакого действия, и когда в 1938 году последовал новый арест, стало понятно, что хлопоты бесполезны.

\* \* \*

«...Однажды Ахматова приехала очень расстроенная и рассказала, что в Ленинграде арестовали ее мужа Пунина. Она говорила, что он ни в чем не виноват, что никогда не участвовал в политике, и удивлению этим арестом не было предела. Боря был очень взволнован. В этот же день к обеду приезжал Пильняк и усиленно уговаривал его написать письмо Сталину. Были большие споры, Пильняк утверждал, что письмо Пастернака будет более действенно, чем его. Сначала думали написать коллективно. Боря никогда не писал таких писем, никогда ни о чем не просил, но увидев волнение Ахматовой, решил помочь поэту, которого высоко ставил. В эту ночь Ахматовой было плохо с сердцем, мы за ней ухаживали, уложили ее в постель, на другой день Боря сам понес написанное письмо и опустил его в кремлевскую будку около четырех часов дня. Успокоенные мы легли спать, а на другое утро раздался звонок из Ленинграда, сообщили, что Пунин уже освобожден и находится дома. Боря еще спал, я влетела радостно в комнату Ахматовой, поздравила ее с освобождением ее мужа. На меня большое впечатление произвела ее реакция – она сказала: „Хорошо“, – повернулась на другой бок и заснула снова.

Мне некуда было девать свою радость и я разбудила Борю. Он был очень рад, что его письмо так подействовало...»

Зинаида Пастернак.

Из «Воспоминаний»

Зинаида Николаевна не запомнила, что одновременно с Н.Н. Пуниным был арестован и сын Ахматовой Лев Гумилев. Это было 28 октября 1935 года. К тому же вместе с письмом Пастернака по совету Пильняка написала письмо и сама Ахматова. Дочь Пунина Ирина Николаевна вспоминала, что ее отец рассказывал, как их разбудили

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru) среди ночи и, объявив об освобождении, потребовали немедленно отправляться домой. Лев Николаевич сразу, собрав вещи, ушел, а Николай Николаевич попросил позволения подождать до утра, когда начнут ходить трамваи, но ему резко сказали, что никто не знает, что будет утром и чтобы он немедленно уходил. Пастернак послал письмо Сталину с благодарностью «за чудесное молниеносное освобождение родных Ахматовой». Но он не мог предполагать тогда, что через несколько лет, один раньше, другой позже, они будут арестованы снова. В августе 1940 года Ахматова приезжала хлопотать о сыне и виделась с Пастернаком, который помогал ей в этом.

\* \* \*

«Дорогая, дорогая Анна Андреевна!

Могу ли я что-нибудь сделать, чтобы хоть немного развеселить Вас и заинтересовать существованием в этом снова надвинувшемся мраке, тень которого с дрожью чувствую ежедневно и на себе. Как Вам напомнить с достаточностью, что жить и хотеть жить (не по-какому-нибудь еще, а только по-Вашему) Ваш долг перед живущими, потому что представления о жизни легко разрушаются и редко кем поддерживаются, а Вы их главный создатель.

Дорогой друг и недостижимый пример, все это я Вам должен был бы сказать тем серым днем августа, когда мы в последний раз видались и Вы мне напомнили, как категорически Вы мне дороги...

Я говорил Вам, Анна Андреевна, что мой отец и сестры с семьями в Оксфорде, и Вы представите себе мое состояние, когда в ответ на телеграфный запрос я больше месяца не получал от них ответа. Я мысленно похоронил их в том виде, какой может подсказать воображенью воздушный бомбардировщик, и вдруг узнал, что они живы и здоровы.

Также и Нина Табидзе уехала в Тифлис без малейшей надежды узнать когда-нибудь что-нибудь о муже, а мне намекали даже, что нет уверенности, чтобы он был в живых, а теперь она написала мне, что он содержится в Москве, и это установлено [103] .

Простите, что я так грубо и как маленькой привожу Вам примеры из домашней жизни в пользу того, что никогда не надо расставаться с надеждой, все это, как истинная христианка, Вы должны знать, однако, знаете ли Вы, в какой цене Ваша надежда и как Вы должны беречь ее?...»

Борис Пастернак – Анне Ахматовой.

Из письма 1 ноября 1940

В свой следующий приезд в Москву Анна Ахматова прочла Пастернаку написанные к тому времени стихи из «Реквиема», которые его очень взволновали. «...Он так все преувеличивает! Он сказал, „Теперь и умереть не страшно“... – записала Лидия Чуковская рассказ Ахматовой. – Но что за прелестный человек! И более всего ему понравилось то же, что и вы любите: „И упало каменное слово“...»

Художник

1

Мне по душе строптивый нрав

Артиста в силе: он отвык

От фраз, и прячется от взоров,

И собственных стыдится книг.

Но всем известен этот облик.

Он миг для прятков прозевал.

Назад не повернуть оглобли,

Хотя б и затаясь в подвал.  
Судьбы под землю не заямить.  
Как быть? Неясная сперва,  
При жизни переходит в память  
Его признавшая молва.  
Но кто ж он? На какой арене  
Стяжал он поздний опыт свой?  
С кем протекли его боренья?  
С самим собой, с самим собой.  
Как поселенье на Гольфштреме,  
Он создан весь земным теплом.  
В его залив вкатило время  
Все, что ушло за волнолом.  
Он жаждал воли и покоя,  
А годы шли примерно так,  
Как облака над мастерскою,  
Где горбился его верстак.

2

Скромный дом, но рюмка рому  
И набросков черный грог,  
И взамен камор – хоромы,  
И на чердаке – чертог.  
От шагов и волн капота  
И расспросов ни следа.  
В зарешеченном работой  
Своде воздуха – слюда.  
Голос, властный, как полюдые [104] .  
Плавит все наперечет.  
В горловой его полуде  
Ложек олово течет.  
Что ему почет и слава,  
Место в мире и молва  
В миг, когда дыханьем сплава  
В слово сплочены слова?



Он на это мебель стопит,  
Дружбу, разум, совесть, быт.  
На столе стакан не допит,  
Век не дожит, свет забыт.  
Слитки рифм, как воск гадальный,  
Каждый миг меняют вид.  
Он детей дыханье в спальней  
Паром их благословит.

1936

\* \* \*

Все наклоненья и залого  
Изжеваны до одного.  
Хватить бы соды от изжоги!  
Так вот итог твой, мастерство?  
На днях я вышел книгой в Праге.  
Она меня перенесла  
В те дни, когда с заказом на дом  
От зарев, догоравших рядом,  
Я верил на слово бумаге,  
Облитой лампой ремесла.  
Бывало, снег несет вкрутую,  
Что только в голову придет.  
Я сумраком его грунтую  
Свой дом и холст, и обиход.  
Всю зиму пишет он этюды,  
И у прохожих на виду  
Я их переносу оттуда,  
Таю, копирую, краду.  
Казалось альфой и омегой –  
Мы с жизнью на один покрой;  
И круглый год, в снегу, без снега,  
Она жила, как alter ego,  
И я назвал ее сестрой.  
Землею был так полон взор мой,

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Что зацветал, как курослеп

С сурепкой мелкой неврасцеп,  
И пил корнями жженый, черный  
Цикорный сок густого дерна,  
И только это было формой,  
И это – лепкою судеб.  
Как вдруг – издание из Праги.  
Как будто реки и овраги  
Задумали на полчаса  
Наведаться из грек в варяги,  
В свои былые адреса.  
С тех пор все изменилось в корне.  
Мир стал невиданно широк.  
Так революции ль порок,  
Что я, с годами все покорней,  
Твержу, не знаю чей, урок?  
Откуда это? Что за притча,  
Что пепел рухнувших планет  
Родит скрипичные капричьо?  
Талантов много, духу нет.  
Поэт, не принимай на веру  
Примеров Дантов и Торкват.  
Искусство – дерзость глазомера,  
Влечение, сила и захват.  
Тебя пилили на поленья  
В года, когда в огне невзгод  
В золе народонаселенья  
Оплавилось ядро: народ.  
Он для тебя вода и воздух,  
Он – прежний лютик луговой,  
Копной черемух белогроздых  
До облак взмывший головой.  
Не выставляй ему отметок.  
Растроганности грош цена.

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Грозой пади в объятья веток,

Дождем обдай его до дна.

Не умиляйся – не подтянем.

Сгинь без вести, вернись без сил,

И по репьям, и по плутаньям

Пойдем, кого ты посетил.

Твое творение не орден:

Награды назначает власть.

А ты – тоски пеньковый гордень,

Паренья парусная снасть.

1936

Первая часть стихотворения была вызвана известием об издании сборника Пастернака в переводе известного поэта Йозефа Горы на чешский язык. Пастернак писал Горе:

«...Я не могу судить об объективных достоинствах Ваших переводов, я не знаю, как звучат они на чешский слух и что, и много ли дадут чешскому читателю. Но они необъяснимым образом безмерно много дали мне...

Будто никогда не издавалось то, что служило Вам оригиналом, и только глухо носилось мною в виде предположенья. И Ваши переводы – первое явление всего этого, даже не на чешском, на человеческом каком-то языке.

После многих, многих лет Вы впервые, как двадцать лет тому назад, заставили меня пережить волнующее чувство поэтического воплощения, и какими бы средствами... Вы этого не достигли, размеры моей удивленной признательности должны быть Вам понятны...»

Об этих переводах Пастернак рассказывал австрийскому журналисту Ф. Брюгелю. Эти впечатления отразились в приведенном стихотворении:

«...Многое в стихах Горы звучит как фразы из древних русских летописей, в которых рассказывается, как в нашу страну пришли стародавние варяги, чтобы проложить путь к грекам...»

Страшные зимы 1936–1939 годов Пастернак провел в одиночестве своей дачи в Переделкине. Он читал исторические труды Мишле и Маколея, рубил еловые ветви в лесу и топил печку, переводил английских и французских поэтов, вновь вернулся к прозе. Драматург А.Н. Афиногенов, исключенный из партии и со дня на день ожидавший ареста, описал в дневнике свои встречи с ним, заходившим его проведать осенью и зимой 1937 года. В тот год, по его словам, Пастернак развернулся перед ним «во всей детской простоте человеческого своего величия и кристальной прозрачности». Он был поражен его предельной искренностью – «не только с самим собой, но со всеми, и это – его главное оружие. Около таких людей учишься самому главному – умению жить в любых обстоятельствах самому по себе».

21 сентября 1937.

«...Разговоры с Пастернаком навсегда останутся в сердце. Он входит и сразу начинает говорить о большом, интересном, настоящем. Главное для него – искусство, и только оно. Поэтому он не хочет ездить в город, а жить все время здесь, ходить, гуляя одному, или читать историю Англии Маколея, или сидеть у окна и смотреть на звездную ночь, перебирая мысли, или – наконец – писать свой роман. Но все это в искусстве и для него. Его даже не интересует конечный результат. Главное – это работа, увлечение ей, а что там получится – посмотрим через много лет. Жене трудно, нужно доставать деньги и как-то жить, но он ничего не знает, иногда только, когда уж очень трудно станет с деньгами – он примется за переводы. „Но с таким же успехом я мог бы стать коммивояжером...“

Когда приходишь к нему – он так же сразу, отвлекаясь от всего мелкого, забрасывает тебя темами, суждениями, выводами – все у него приобретает очертания значительного и настоящего. Он не читает газет – это странно для меня, который дня не может прожить без новостей... Он всегда занят работой, книгами, собой... И будь он во дворце или на нарах камеры – все равно он будет занят, и даже, может быть, больше, чем здесь, – по крайней мере, не придется думать о деньгах и заботах, а можно все время отдать размышлению и творчеству...»

24 сентября.

«...Он ненавидит поездки в город, ему бы поскорее к письменному столу, за лист бумаги, сесть и писать, писать и думать и разговаривать с собой – и зачем думать о деньгах на следующий месяц, когда они есть на сегодня, – значит, можно не думать о них и только о любимой своей работе.

Эта отрешенность от всего остального, от газет, которых он никогда не читает, радио, зрелищ, ото всего – кроме своего мира работы – создает ему такую жизнь, которой не страшны никакие невзгоды...

Он страдает и любит людей, но не плаксивой сентиментальностью, в нем живет настоящий юмор большого человека, умеющего прозревать грядущее, отделять от существа – шелуху, он думает очень просто, говорит сложно, перебрасываясь, отступая, обгоняя сам себя, – надо привыкнуть к его манере разговаривать, и тогда неисчерпаемый источник удовольствия от подлинной мудрой беседы мастера человеческих душ – для каждого, с кем он говорит...»

15 ноября.

«...Пастернаку тяжело – у него постоянные ссоры с женой. Жена гонит его на собрания, она говорит, что Пастернак не думает о детях, о том, что его замкнутое поведение вызывает подозрения, что его непременно арестуют, если он и дальше будет отсиживаться. Он слушает ее, обыкновенно очень кротко, потом начинает говорить – он говорит, что самое трудное в аресте его для него – это они, оставшиеся здесь. Ибо им ничего не известно и они находятся среди обыкновенных граждан, а он будет среди таких же арестованных, значит, как равный, и он будет все о себе знать... Но он даже несмотря на это не может ходить на собрания только затем, чтобы сидеть на них. Он не может изображать из себя общественника, это было бы фальшиво...»

Александр Афиногенов.

«Из дневника 1937 года»

Развернувшийся весной 1937 года террор перешел на широкие круги ортодоксальной писательской общественности. Каждый день приносил известия о новых арестах друзей и знакомых. Из Грузии дошли сведения о самоубийстве Паоло Яшвили и вскоре последовавшем за ним аресте Тициана Табидзе.

\* \* \*

«...Мы не имеем понятия о сердечном терзании, предшествующем самоубийству...

Мне кажется, Паоло Яшвили уже ничего не понимал, как колдовством оплетенный шигалевщиной [105] тридцать седьмого года, и ночью глядел на спящую дочь, и воображал, что больше не достоин глядеть на нее, и утром пошел к товарищам и дробью из двух стволов разнес себе череп...»

Борис Пастернак.

Из очерка «Люди и положения»

Первый приступ горя Пастернак излил в письме к его вдове:

«Тамара Георгиевна милая, бедная, дорогая моя, что же это такое! Около месяца я жил как ни в чем не бывало, и ничего не знал. Знаю дней десять, и все время пишу Вам, пишу и уничтожаю. Существование мое обесценено, я сам нуждаюсь в успокоении и не знаю, что сказать Вам такого, что не показалось бы Вам идеалистической водой и возвышенным фарисейством. Когда мне сказали это в первый раз, я не поверил. 17-го в городе мне это подтвердили. Оттенки и полутона отпали. Известие

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru) схватило меня за горло, я поступил в его распоряжение и до сих пор принадлежу ему...»

Борис Пастернак – Т.Г. Яшвили.

Из письма 28 августа 1937 года

В ноябре 1939 года А.К.Тарасенков записал слова Пастернака:

«...Мы пережили тягостные и страшные годы. Нет Тициана Табидзе среди нас. Ведь все мы живем преувеличенными восторгами и восклицательными знаками. Пресса наша самовосхваляет страну и делает это глупо. Можно было бы гораздо умней. На восклицательном знаке живет Асеев. Он каждый раз разлетается с объятиями и вскриками и тем вызывает на какую-то резкость с моей стороны. Все мы живем на два профиля – общественный, радостный, восторженный, – и внутренний, трагический. Мне так было радостно когда-то, что Грузию я мог воспринять с ее поэзией искренне, от сердца – и под восклицательным знаком, что совпадало с тоном времени. И вот когда в разгар страшных наших лет, когда лилась повсюду в стране кровь, – мне Ставский [106] предложил ехать на Руставелевский пленум в Тбилиси. Да как же я мог тогда ехать в Грузию, когда там уже не было Тициана? Я так любил его. А тут бы начались вопросы о том, как я был с ним связан, кто был связан со мной и т. д... Я отговорился только тем, что у меня жена была на сносях. Я не поехал в Грузию...»

В эти страшные и кровавые годы мог быть арестован каждый. Мы тасовались, как колода карт. И я не хочу по-обывательски радоваться, что я цел, а другой нет. Нужно, чтобы кто-нибудь гордо скорбел, носил траур, переживал жизнь трагически. У нас трагизм под запретом, его приравнивают пессимизму, нытью. Как это неверно!..

В эти страшные годы, что мы пережили, я никого не хотел видеть, – даже Тихонов, которого я люблю, приезжал в Москву, останавливался у Луговского, не звонил мне, при встрече – прятал глаза. Даже Вс. Иванов, честнейший художник, делал в эти годы подлости, делал черт знает что, подписывал разные гнусности, чтобы сохранить в неприкосновенности свою берлогу – искусство. Его, как медведя, выволакивали за губу, продев в нее железное кольцо, его, как дятла, заставляли, как и всех нас, повторять сказки о заговорах. Он делал это, а потом снова лез в свою берлогу – в искусство. Я прощаю ему. Но есть люди, которым понравилось быть медведями, кольцо из губы у них вынули, а они все еще, довольные, бродят по бульвару и пляшут на потеху публике...»

Анатолий Тарасенков.

Из «Черновых записей 1934–1939 годов»

Создавалось положение, при котором совестливому человеку становилось стыдно оставаться на свободе. И отказ Пастернака подписать коллективное письмо, одобряющее расстрел военачальников (Тухачевского, Якира и др.), выглядит откровенно самоубийственным актом с точки зрения сложившихся тогда норм поведения.

\* \* \*

«...Как-то днем приехала машина. Из нее вышел человек, собиравший подписи писателей с выражением одобрения смертного приговора военным „преступникам“ – Тухачевскому, Якиру и Эйдеману. Первый раз в жизни я увидела Боря расшиврепешим. Он чуть не с кулаками набросился на приехавшего, хотя тот ни в чем не был виноват, и кричал: „Чтобы подписать, надо этих лиц знать и знать, что они сделали. Мне же о них ничего не известно, я им жизни не давал и не имею права ее отнимать. Жизнь людей должно распоряжаться государство, а не частные граждане. Товарищ, это не контрамарки в театр подписывать, и я ни за что не подпишу!“ Я была в ужасе и умоляла его подписать ради нашего ребенка. На это он мне сказал: „Ребенок, который родится не от меня, а от человека с иными взглядами, мне не нужен, пусть гибнет“.

Тогда я удивилась его жестокости, но пришлось, как всегда в таких случаях, ему подчиниться. Он снова вышел к этому человеку и сказал: «Пусть мне грозит та же участь, я готов погибнуть в общей массе». И с этими словами спустил его с лестницы.

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru  
Слухи об этом происшествии мгновенно распространились. Борю вызвал к себе тогдашний председатель Союза писателей Ставский. Что говорил ему Ставский – я не знаю, но Боря вернулся от него успокоенный и сказал, что может продолжать нести голову высоко и у него как гора с плеч свалилась. Несколько раз к нему приходил Павленко, он убеждал Борю, называл его христосиком, просил опомниться и подписать. Боря отвечал, что дать подпись – значит самому у себя отнять жизнь, поэтому он предпочитает погибнуть от чужой руки. Что касается меня, то я просто стала укладывать его вещи в чемоданчик, зная, чем все это должно кончиться. Всю ночь я не смыкала глаз, он же спал младенческим сном, и лицо его было таким спокойным, что я поняла, как велика его совесть, и мне стало стыдно, что я осмелилась просить такого большого человека об этой подписи. Меня вновь покорили его величие и смелость.

Ночь прошла благополучно. На другое утро, открыв газету, мы увидели его подпись среди других писателей! Возмущенью Бори не было предела. Он тут же оделся и поехал в Союз писателей. Я не хотела отпускать его одного, предчувствуя большой скандал, но он уговорил меня остаться. По его словам, все страшное было уже позади, и он надеялся скоро вернуться на дачу. Приехав из Москвы в Переделкино, он рассказал мне о разговоре со Ставским. Боря заявил ему, что ожидал всего, но таких подлогов он в жизни не видел, его просто убили, поставив его подпись.

На самом деле его этим спасли. Ставский сказал ему, что это редакционная ошибка. Боря стал требовать опровержения, но его, конечно, не напечатали...»

Зинаида Пастернак.

Из «Воспоминаний»

И хотя опровержения Пастернак не добился, но внутренне этот поступок изменил в нем очень многое и определил его будущее поведение. Он показал его духовную несгибаемость и физическую невозможность выполнять те требования, которые предъявлялись человеку в советском обществе. Этот год положил предел его желанию «труда со всеми сообща», поставил его вне общественной жизни и вне официальной советской литературы.

\* \* \*

«...Когда пять лет назад я отказывал Ставскому в подписи под низостью и был готов пойти за это на смерть, а он мне этим грозил и все-таки дал мою подпись мошеннически и подложно, он кричал: „Когда кончится это толстовское юродство?“...»

Борис Пастернак – Корнею Чуковскому.

Из письма 12 марта 1942

\* \* \*

«...Не страдай за меня, пожалуйста, не думай, что я терплю несправедливость, что я недооценен. Удивительно, как я уцелел за те страшные годы. Уму непостижимо, что я себе позволял!! Судьба моя сложилась именно так, как я сам ее сложил. Я многое предвидел, а главное, я многого не в силах был принять, – я многое предвидел, но запасся терпением не на такой долгий срок, как нужно...»

Борис Пастернак – Ольге Фрейденберг.

Из письма 7 января 1954

Борис Пастернак – родителям  
12 февраля 1937 .

«...Одно хорошо, – это зима в природе. Какой источник здоровья и покоя! Опять вернулся к прозе, опять хочу написать роман и постепенно его пишу... Может быть, когда я напишу роман, это развяжет мне руки. Может быть, тогда практическая воля проснется во мне, а с нею планы и удача. А пока я как заговоренный, точно сам себя заколдовал. Жизнь своих на Тверском я разбил [107] , что же с таким чувством и сознанием сказать о своей собственной? И в общественных делах мне не все так ясно, как раньше, то есть я бездеятельнее, потому что не так в себе уверен. Вообще посмотришь, а здорового во мне или близ меня только одно: природа и работа. Та и другая пока поглощают меня всего, и неужели эта преданность им такой грех и преступление, что меня за этим подкараулит какое-нибудь несчастье,

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru) и я не увижу ни вас, ни изменившейся Жениной жизни, ничего, ничего из того, что тревожит и поторапливает меня? Однако никакого выбора нет, и я живу верой и грустью; верой и страхом; верой и работой. Не это ли называется надеждой...»

12 мая 1937 .

«...Если из-за разделенности с Женичкой и вами и непокладистости Жени я никогда не буду и не могу быть счастлив, ядром, ослепительным ядром того, что можно назвать счастьем, я сейчас владею. Оно в той, потрясающе медленно накапливающейся рукописи, которая опять после многолетнего перерыва ставит меня в обладание чем-то объемным, закономерно распространяющимся, живо прирастающим, точно та вегетативная нервная система, расстройством которой я болел два года тому назад, во всем здоровьи смотрит на меня с ее страниц и ко мне отсюда возвращается... Мне все время в голову приходит Чехов, а те немногие, которым я кое-что показывал, опять вспоминают про Толстого...»

30 октября 1938 .

«...Я продолжаю жить тут, – один в большом двухэтажном, плохо построенном доме (три года, как он построен, а уже гниет и проваливается), в сыром лесу, где с пяти часов темнеет и ночью далеко не весело, только потому, что неизбежный при этом обиход (в отношении отапливания, уборки, стряпни и прочего) напоминает мне 19 и 20-й годы, последнее по счету время, проведенное вместе с вами и родителями...»

В конце 1937 года Пастернак с семьей переехал в маленькую квартиру в Лаврушинском переулке. Вскоре у него родился сын.

6 января 1938 .

«...Мальчик родился, милый, здоровый и, кажется, славный. Он умудрился появиться на свет в новогоднюю ночь с последним, двенадцатым ударом часов, почему, по статистике родильного дома и попал сразу в печать, как „первый мальчик 1938 года, родившийся в 0 часов 1 января“. Я назвал его в твою честь Леонидом...»

По естественнейшим законам у мужчины и женщины (немного, правда, поздно) родился мальчик морозной новогодней ночью, славный, спокойный, как и самый факт его явления, не столько в семье, сколько в природе, ночной, почти не городской, снежной. И дай ему Бог счастья и здоровья...»

\* \* \*

«...Именно в 36 году, когда начались эти страшные процессы, все сломилось во мне, и единение с временем перешло в сопротивление ему, которого я не скрывал. Я ушел в переводы. Личное творчество кончилось. Оно снова пробудилось накануне войны, может быть, как ее предчувствие, в 1940 году...»

Борис Пастернак.

Из заметки 11 февраля 1956

В последней фразе речь идет о цикле стихов «Переделкино», который Пастернак считал для себя открытием возможности писать с новой простотой и ясностью.

\* \* \*

«...Второе рождение» заканчивает первый период лирики. Очевидно, дальше пути нет. Затем наступает долгий (10 лет) мучительный антракт (говорил: «Что это со мной!»), когда действительно не может написать ни одной строчки (это удушье – уже у меня на глазах). – Появляется дача (Переделкино) – встреча с Природой, которая всю жизнь была его единственной полноправной Музой, невестой и собеседницей (любовь – предмет второй необходимости), удушье кончилось, снова все вокруг звучит. «Я написал девять стихотворений, – говорит он мне по телефону, – сейчас приду читать», – и пришел. «Это только начало – я распишусь...» Июнь 41 года – новая фактура – строгость и простота. Был самый сложный – стал самый ясный. Но неловкости остались (типа «вошла со стулом»). Расписаться не пришлось – пришла война...»

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Анна Ахматова.

Из наброска «Путь Пастернака»

Летний день  
У нас весною до зари  
Костры на огороде, –  
Языческие алтари  
На пире плодородья.  
Перегорает целина  
И парит спозаранку,  
И вся земля раскалена,  
Как жаркая лежанка.  
Я за работой земляной  
С себя рубашку скину,  
И в спину мне ударит зной  
И обожжет, как глину.  
Я стану, где сильней припек,  
И там, глаза зажмуря,  
Покроюсь с головы до ног  
Горшечною глазурью.  
А ночь войдет в мой мезонин  
И, высунувшись в сени,  
Меня наполнит, как кувшин,  
Водю и сиренью.  
Она отмоеет верхний слой  
С похолодевших стенок  
И даст какой-нибудь одной  
Из здешних уроженок.  
И распутившийся побег  
Потянется к свободе,  
Устраиваясь на ночлег  
На крашеном комоде.  
1940, 1942

\* \* \*

«...Мы сажали с Борей огород и много физически работали. Он каждый день выходил в сад в трусиках и, работая, загорал. Меня удивляло, с какой страстью он возился с



Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru) землей. Каждую весну я разводила костры из сухих листьев и сучьев и золой удобряла почву, потом что не было других удобрений. Боря очень любил из окон кабинета смотреть на эти костры и посвятил им стихотворение „У нас весной до зари костры на огороде...“

Зинаида Пастернак.

Из «Воспоминаний»

\* \* \*

«...Лето. Я приехала из Ленинграда в Москву хлопотать за Митю [108] . Такси в Переделкино, где никогда не была. Адрес: «Городок писателей, дача Чуковского – сначала шоссе, потом что-то такое направо, налево». В Городке таксист свернул не туда, запутался, приметы не совпадали – непредуказанное поле – и ни одного пешехода. Первый человек, который попался мне на глаза, стоял на корточках за дачным забором: коричневый, голый до пояса, весь обожженный солнцем; он полон гряды на пологом, пустом, выжженном солнцем участке. Шофер притормозил, и я через опущенное стекло спросила, где дача Чуковского. Он выпрямился, отряхивая землю с колен и ладоней, и, прежде чем объяснить нам дорогу, с таким жадным любопытством оглядел машину, шофера и меня, будто впервые в жизни увидел автомобиль, таксиста и женщину. Гудя, объяснил. Потом бурно: «Вы, наверное, Лидия Корнеевна?» – «Да», – сказала я.

Поблагодарив, я велела шоферу ехать и только тогда, когда мы уже снова пересекли шоссе, догадалась: «Это был Пастернак». Явление природы, первобытность»...»

Лидия Чуковская.

Отрывок из дневника

Сосны

В траве, меж диких бальзаминов,

Ромашек и лесных купав,

Лежим мы, руки запрокинув

И к небу головы задрав.

Трава на просеке сосновой

Непроходима и густа.

Мы переглянемся – и снова

Меняем позы и места.

И вот, бессмертные на время,

Мы к лику сосен причтены

И от болей и эпидемий

И смерти освобождены.

С намеренным однообразием,

Как мазь, густая синева

Ложится зайчиками наземь

И пачкает нам рукава.

Мы делим отдых краснотелья,

Под копошенья мураша

Сосновую снотворной смесью

Лимона с ладаном дыша.  
И так неистовы на синем  
Разбеги огненных стволов,  
И мы так долго рук не вынем  
Из-под заломленных голов,  
И столько широты во взоре,  
И так покорно все извне,  
Что где-то за стволами море  
Мерещится все время мне.  
Там волны выше этих веток,  
И, сваливаясь с валуна,  
Обрушивают град креветок  
Со взбаламученного дна.  
А вечерами за буксиром  
На пробках тянется заря  
И отливает рыбьим жиром  
И мгlistой дымкой янтаря.  
Смеркается, и постепенно  
Луна хоронит все следы  
Под белой магиею пены  
И черной магией воды.  
А волны все шумней и выше,  
И публика на поплавке  
Толпится у столба с афишей,  
Не различимой вдалеке.

1941

\* \* \*

«Анна Ахматова назвала Пастернака собеседником рощ. Он таким и был. „Природы праздный соглядатай“ – определил себя Фет. Пастернак не был праздным, в природе он был деятельным. Я видел его в саду с лопатой, с засученными рукавами, вдохновенно копающим гряды, славящим языческое плодородье. Он был вписан в Переделкино, как знаменитая древняя церковь, как самаринский пруд, как сосны по дороге на станцию...»

Виктор Боков.

Из воспоминаний

Ложная тревога  
Корыта и ушаты,

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Нескладица с утра,

Дождливые закаты,

Сырые вечера.

Проглоченные слезы

Во вздохах темноты,

И зовы паровоза

С шестнадцатой версты.

И ранние потемки

В саду и на дворе,

И мелкие поломки,

И все как в сентябре.

А днем простор осенний

Пронизывает вой

Тоскою голошенья

С погоста за рекой.

Когда рыданье вдовье

Относит за бугор,

Я с нею всею кровью

И вижу смерть в упор.

Я вижу из передней

В окно, как всякий год,

Своей поры последней

Отсроченный приход.

Пути себе расчистив,

На жизнь мою с холма

Сквозь желтый ужас листьев

Уставилась зима.

1941

Иней

Глухая пора листопада.

Последних гусей косяки.

Расстраиваться не надо:

У страха глаза велики.

Пусть ветер, рябину занянчив,

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)

Пугает ее перед сном.

Порядок творенья обманчив,

Как сказка с хорошим концом.

Ты завтра очнешься от спячки

И, выйдя на зимнюю гладь,

Опять за углом водокачки

Как вкопанный будешь стоять.

Опять эти белые мухи,

И крыши, и святочный дед,

И трубы, и лес лопухий

Шутом маскарадным одет.

Все обледенело с размаху

В папахе до самых бровей

И крадущейся россомахой

Подсматривает с ветвей.

Ты дальше идешь с недоверьем.

Тропинка ныряет в овраг.

Здесь инея сводчатый терем,

Решетчатый тес на дверях.

За снежной густой занавеской

Какой-то сторожки стена,

Дорога, и край перелеска,

И новая чаща видна.

Торжественное затишье,

Оправленное в резьбу,

Похоже на четверостишье

О спящей царевне в гробу.

И белому мертвому царству,

Бросавшему мысленно в дрожь,

я тихо шепчу: «Благодарствуй,

ты больше, чем просят, даешь».

1941

На ранних поездах

я под Москвою эту зиму,

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Но в стужу, снег и буревал

Всегда, когда необходимо,  
По делу в городе бывал.  
Я выходил в такое время,  
Когда на улице ни зги,  
И рассыпал лесною тьмью  
Свои скрипучие шаги.  
Навстречу мне на переезде  
Вставали ветлы пустыря.  
Надмирно высились созвездья  
В холодной яме января.  
Обыкновенно у задворок  
Меня старался перегнать  
Почтовый или номер сорок,  
А я шел на шесть двадцать пять.  
Вдруг света хитрые морщины  
Сбирались щупальцами в круг.  
Прожектор несся всей машиной  
На оглушенный виадук.  
В горячей духоте вагона  
Я отдавался целиком  
Порыву слабости врожденной  
И всосанному с молоком.  
Сквозь прошлого перипетии  
И годы войн и нищеты  
Я молча узнавал России  
Неповторимые черты.  
Превозмогая обожанье,  
Я наблюдал, боготворя,  
Здесь были бабы, слобожане,  
Учащиеся, слесаря.  
В них не было следов холопства,  
Которые кладет нужда,  
И новости и неудобства

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Они несли как господа.

Рассевшись кучей, как в повозке,  
Во всем разнообразьи поз,  
Читали дети и подростки,  
Как заведенные, взасос.  
Москва встречала нас во мраке,  
Переходившем в серебро,  
И, покидая свет двоякий,  
Мы выходили из метро.

Потомство тискалось к перилам  
И обдавало на ходу  
Черемуховым свежим мылом  
И пряниками на меду.

1941

\* \* \*

«...Жизнь уходит, а то и ушла уже вся, но как ты писала в прошлом году, живешь разрозненными взрывами какой-то „седьмой молодости“ (твое выражение). Их много было этим летом у меня. После долгого периода сплошных переводов я стал набрасывать что-то свое. Однако главное было не в этом. Поразительно, что в нашей жизни урожайность этого чудного, живого лета сыграла не меньшую роль, чем в жизни какого-нибудь колхоза. Мы с Зиной (инициатива ее) развели большущий огород, так что я осенью боялся, что у меня с нею не хватит сил собрать все и сохранить. Я с Леничкой зимую на даче, а Зина разрывается между нами и мальчиками, которые учатся в городе.

Какая непередаваемая красота жизнь зимой в лесу, в мороз, когда есть дрова. Глаза разбегаются, это совершенное ослепление. Сказочность этого не в одном созерцании, а в мельчайших особенностях трудного, настороженного обихода. Часпустишь, и дом охолодает так, что потом никакими топками не нагонишь. Запеваешься, и в погребке начнет мерзнуть картошка или заплесневеют огурцы. И все это дышит и пахнет, все живо и может умереть. У нас полподвала своего картофеля, две бочки шинкованной капусты, две бочки огурцов. А поездки в город, с пробуждением в шестом часу утра и утренней прогулкой за три километра темным, ночным еще полем и лесом, и линия зимнего полотна, идеальная и строгая, как смерть, и пламя утреннего поезда, к которому ты опоздал и который тебя обгоняет у выхода с лесной опушки к переезду! Ах, как вкусно еще живется, особенно в периоды трудности и безденежья (странным образом постигшего нас в последние месяцы), как рано еще сдаваться, как хочется жить...»

Борис Пастернак – Ольге Фрейденберг.

Из письма 15 ноября 1940

Опять весна  
Поезд ушел. Насыпь черна.

Где я дорогу впотьмах раздобуду?

Неузнаваемая сторона,

Хоть я и сутки только отсюда.

Замер на шпалах лязг чугуна.

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Вдруг – что за новая, право, причуда:

Сутолка, кумушек пересуды.  
Что их попутал за сатана?  
Где я обрывки этих речей  
Слышал уж как-то порой прошлогодней?  
Ах, это сызнова, верно, сегодня  
Вышел из рощи ночью ручей.  
Это, как в прежние времена,  
Сдвинула льдины и вздулась запруда.  
Это поистине новое чудо,  
Это, как прежде, снова весна.  
Это она, это она,  
Это ее чародейство и диво,  
Это ее телогрейка за ивой,  
Плечи, косынка, стан и спина.  
Это Снегурка у края обрыва.  
Это о ней из оврага со дна  
Льется без умолку бред торопливый  
Полубезумного болтуна.  
Это пред ней, заливая преграды,  
Тонет в чаду водяном быстрина,  
Лампой висячего водопада  
К круче с шипеньем пригвождена.  
Это, зубами стуча от простуды,  
Льется чрез край ледяная струя  
В пруд и из пруда в другую посуду.  
Речь половодья – бред бытия.

1941

Природа у Пастернака не предмет пейзажных зарисовок, это другое имя жизни, пример душевного здоровья, естественности и красоты. В статье «Несколько положений» Пастернак называл «живой, действительный мир» природы – «единственным, однажды удавшимся и все еще без конца удачным замыслом воображенья», который «служит поэту примером в большой еще степени, нежели натурой и моделью». Написанный весной 1941 года цикл стихотворений «Переделкино», стал осуществлением естественности и простоты в искусстве, которые были сформулированы в стихах «Второго рождения».

\* \* \*

«...Мне любопытно, что почувствовали бы, читая эти стихи, те критики и читатели, которые обвиняли Пастернака в произвольности образов, в запутанности синтаксиса,

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
в путаности сюжетной линии в стихотворениях?... Что тут проще, в этих чудесных  
стихах: русская сказка или советская быль предвоенных лет? Что тут сказочней:  
этот святочный дед или эта зимняя гладь Подмоскovie с железнодорожной  
водокачкой?

Стихотворение это преисполнено тем простым, но глубоким чувством родины, которое  
так роднит многие новые стихи Пастернака с лермонтовской «Отчизною», с ее  
целомудренной тишиною, с ее почти благоговейной робостью и вместе с теплою  
сердечностью в выражении этой сыновней любви к родине...»

Сергей Дурьилин.

Из рецензии на книгу «Земной простор»

\* \* \*

«...Война явилась очистительной бурей, струей свежего воздуха, веянием избавления...  
Ее реальные ужасы, реальная опасность и угроза реальной смерти были благом по  
сравнению с бесчеловечным владычеством выдумки и несли облегчение, потому что  
ограничивали колдовскую силу мертвой буквы.

Борис Пастернак.

Из «Доктора Живаго»

\* \* \*

«...Объявление войны оторвало меня от первых страниц „Ромео и Джульетты“. Я  
забросил перевод и за проводами сына, отправлявшегося на оборонные работы, и  
другими волнениями забыл о Шекспире. Последовали недели, в течение которых волей  
или неволей всё на свете приобщилось к войне. Я дежурил в ночи бомбардировок на  
крыше двенадцатиэтажного дома, – свидетель двух фугасных попаданий в это здание  
в одно из моих дежурств, рыл блиндаж у себя за городом и проходил курсы военного  
обучения, неожиданно обнаружившие во мне прирожденного стрелка. Семья моя была  
отправлена в глушь внутренней губернии. Я все время к ней стремился...»

Борис Пастернак.

Из статьи «О Шекспире»

Бобыль

Грустно в нашем саду.

Он день ото дня краше.

В нем и в этом году

Жить бы полною чашей.

Но обитель свою

Разлюбил обитатель.

Он отправил семью,

И в краю неприятель.

И один, без жены,

Он весь день у соседей,

Точно с их стороны

Ждет вестей о победе.

А повадится в сад

И на пункт ополченский,

Так глядит на закат



Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)

В направлении к Смоленску.

Там в вечерней красе

Мимо Вязьмы и Гжатска

Протянулось шоссе

Пятитонкой солдатской.

Он еще не старик

И укор молодежи,

А его дробовик

Лет на двадцать моложе.

1941

Борис Пастернак – З.Н. Пастернак  
24 июля 1941 .

«...Третью ночь бомбят Москву. – Первую я был в Переделкине, так же как и последнюю, 23 на 24-е, а вчера с 22-го на 23-е был в Москве на крыше... нашего дома вместе с Всеволодом Ивановым, Халтуриным и другими в пожарной охране... Сколько раз в течение прошлой ночи, когда через дом-два падали и рвались фугасы и зажигательные снаряды, как по мановенью волшебного жезла, в минуту воспламеняли целые кварталы, я мысленно прощался с тобой, мамочка и дуся моя. Спасибо тебе за все, что ты дала мне и принесла, ты была лучшей частью моей жизни, и ты и я недостаточно сознавали, до какой глубины ты жена моя и как много это значит...»

26 августа 1941 .

«...Я опять стал зарабатывать лишь в самое последнее время. Статью для ВОКСа приняли, я пишу им другую (хотя только по 200 р.). Написал несколько новых стихов для „Красной нови“ взамен тех, довоенных. Хочу писать пьесу и вчера подал заявку об этом в Комитет по делам искусств. Меня раздражает все еще сохраняющийся трафарет в литературе, делах печати и т. д. Нельзя после того, как люди нюхнули порошу и смерти, посмотрели в глаза опасности, прошли по краю бездны и прочее, выдерживать их на той же безотрадной малосодержательности, которая по душе самим пишушим, людям в большинстве неталантливым и слабосильным, с ничтожными аппетитами, даже и не подозревающими о вкусе бессмертия и удовлетворяющимися бутербродами, зисами и эмками, и тартинками с двумя орденами. Ты помнишь, какое у меня было настроение перед войною, как мне хотелось делать все сразу и выражать всего себя, до самых глубин. Теперь это удесятирилось...»

20 августа 1941 .

«...Делаешь что-то настоящее, вкладываешь в это свою мысль, индивидуальность, ответственность и душу. На рукописи ставят отметки, ее испещряют вопросительными знаками, тарашат глаза. В лучшем случае, если с сотней ограничений примут малую часть сделанного, тебе заплатят по 5 рублей за строчку. А я тут за два дня нахлопал несколько страниц посредственнейших переводов для Литературки... без всякого труда и боли, и мне вдруг дали по 10 р. за строчку за эту дребедень. Где же тут последовательность, что ты скажешь!..»

\* \* \*

«...В конце октября я уехал к жене и детям, и зима в провинциальном городе, отстоящем далеко от железной дороги, на замерзшей реке, служащей единственным средством сообщения, отрезала меня от внешнего мира и на три месяца засадила за прерванного „Ромео“.

Борис Пастернак.

Из статьи «О Шекспире»

Зима приближается  
Зима приближается. Сызнова  
Какой-нибудь угол медвежий  
По прихоти неба капризного  
Исчезнет в грязи непроезжей.  
Домишки в озерах очутятся.  
Над ними закурятся трубы.  
В холодных объятьях распутицы  
Сойдутся к огню жизнелюбы.  
Обитатели севера строгого,  
Накрытые небом, как крышей,  
На вас, захолустные логова,  
Написано: «Сим победиши».  
Люблю вас, далекие пристани  
В провинции или деревне.  
Чем книга чернее и листанней,  
Тем прелесть ее задушевней.  
Обозы тяжелые двигая,  
Раскинувши нив алфавиты,  
Россия волшебною книгою  
Как бы на середке открыта.  
И вдруг она пишется заново  
Ближайшею первой метелью,  
Вся в росчерках полоза санного  
И белая, как рукоделье.  
Октябрь серебристо-ореховый,  
Блеск заморозков оловянный.  
Осенние сумерки Чехова,  
Чайковского и Левитана.  
Октябрь 1943

Быт литературной колонии в Чистополе, куда в порядке обязательной эвакуации в середине октября были вывезены Пастернак и некоторые другие писатели, прекрасно описал так же, как и свои встречи с ним, молодой драматург А.К. Гладков. Он передает слова Пастернака:

«...Жизнь в Чистополе хороша уже тем, что мы здесь ближе, чем в Москве, к природной стихии, нас страшит мороз, радует оттепель – восстанавливаются естественные отношения человека с природой. И даже отсутствие удобств, всех этих

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
кранов и штепселей, мне лично не кажется лишением, и я думаю, что говорю это  
почти от имени поэзии...»

Александр Гладков.

Из воспоминаний «Встречи с Пастернаком»

Еще в Москве, в начале сентября, через месяц после того, как Пастернак провожал  
Марину Цветаеву в эвакуацию, он узнал о ее самоубийстве в Елабуге. Бродя по  
улицам Чистополя, он задумывал стихотворение о ней, в которое включались картины  
зимнего провинциального городка, куда она приезжала за три дня до гибели.

\* \* \*

«...Дочь Цветаевой запросила письмом Ник. Ник. Асеева, известно ли место, где  
погребена Марина Ивановна в Елабуге. В свое время я спрашивал об этом  
Лозинского, жившего в Елабуге, и он мне ничего не мог по этому поводу сказать.  
Может быть, исходя из Вашего территориального соседства с Елабугой (может быть у  
Вас там есть знакомые), Вы что-нибудь узнаете по этому поводу. Если бы мне  
десять лет тому назад – (она была еще в Париже, я был противником этого  
переезда) сказали, что она так кончит и я так буду справляться о месте, где ее  
похоронили, и это никому не будет известно, я почел бы все это обидным и  
немыслимым бредом.

Борис Пастернак – Валерию Авдееву.

Из письма 21 мая 1948

Памяти Марины Цветаевой  
Хмуρο тянется день непогожий.

Безутешно струятся ручьи

По крыльцу перед дверью прихожей

И в открытые окна мои.

За оградою вдоль по дороге

Затопляет общественный сад.

Развалившись, как звери в берлоге,

Облака в беспорядке лежат.

Мне в ненастьи мерещится книга

О земле и ее красоте.

Я рисую лесную шишигу

Для тебя на заглавном листе.

Ах, Марина, давно уже время,

Да и труд не такой уж ахти,

Твой заброшенный прах в реквиеме

Из Елабуги перенести.

Торжество твоего переноса

Я задумывал в прошлом году

Над снегами пустынного плеса,

Где зимуют баркасы во льду.

Мне также трудно до сих пор

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)

Вообразить тебя умершей,  
Как скопидомкой-миллионершей  
Средь голодающих сестер.  
Что сделать мне тебе в угоду?  
Дай как-нибудь об этом весть.  
В молчаньи твоего ухода  
Упрек невысказанный есть.  
Всегда загадочны утраты.  
В бесплодных розысках в ответ  
Я мучаюсь без результата:  
У смерти очертаний нет.  
Тут всё – полуслова и тени,  
Обмолвки и самообман,  
И только верой в Воскресенье  
Какой-то указатель дан.  
Зима – как пышные поминки:  
Наружу выйти из жилья,  
Прибавить к сумеркам коринки,  
Облить вином – вот и кутья.  
Пред домом яблоня в сугробе,  
И город в снежной пелене –  
Твое огромное надгробье,  
Как целый год казалось мне.  
Лицом повернутая к Богу,  
Ты тянешься к нему с земли,  
Как в дни, когда тебе итога  
Еще на ней не подвели.  
«Задумано в Чистополе в 1942 году,  
написано по побуждению Алексея Крученых  
25 и 26 декабря 1943 года в Москве.  
У себя дома».

\* \* \*

«...Хороший, почти весенний денек и интересный длинный разговор, из которого записываю малую часть. Он начинается с того, что Б.Л. говорит о вмерзших в Каму баржах, что, когда он на них смотрит, он всегда вспоминает Марину Цветаеву, которая перед отъездом отсюда сказала кому-то в Чистополе, что она предпочла бы

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
вмерзнуть в Чистополе в лед Камы, чем уезжать. „Впрочем тогда еще было далеко до зимы, но ее ждали с ужасом, а по Каме все шли и шли бесконечные баржи“.

– Я очень любил ее и теперь сожалею, что не искал случаев высказывать это так часто, как ей это, может, было нужно. Она прожила героическую жизнь. Она совершала подвиги каждый день. Это были подвиги верности той единственной стране, подданным которой она была – поэзии...

– Когда-нибудь я напишу о ней, я уже начал... Да, и стихами и прозой. Мне уже давно хочется. Но я сдерживаю себя, чтобы накопить силу, достойную темы, то есть ее, Марины. О ней надо писать с тугой силой выраженья...»

Александр Gladkov.

Из воспоминаний «Встречи с Пастернаком»

\* \* \*

«...„Стихи о Цветаевой“, заставляют трепетать скорбью, гневом – и вместе великим утешением подлинного „бытия“. Это и элегия, и дифирамб, – и со времени лермонтовской „Смерти поэта“ не было в нашей поэзии таких звуков и скорбно-элегических и грозно-дифирамбических одновременно. Это у тебя что-то новое, высоко-смелое, глубокое и проникновенное, – и произнесенное так, как Пушкин писал про Мицкевича: „он с высоты взирал на жизнь“. Только я прибавлю: и на смерть...»

Сергей Дурьин – Борису Пастернаку.

Из письма 6 июля 1945

\* \* \*

«Цветаева была женщиной с деятельной мужской душой, решительной, воинствующей, неукротимой. В жизни и творчестве она жадно и почти хищно рвалась к окончательности и определенности, в преследовании которых ушла далеко и опередила всех.

Кроме небольшого известного, она написала большое количество неизвестных у нас вещей, огромные бурные произведения, одни в стиле русских народных сказок, другие на мотивы общеизвестных исторических преданий и мифов.

Их опубликование будет большим торжеством и открытием для родной поэзии и сразу, в один прием, обогатит ее этим запоздалым и единовременным даром.

Я думаю, самый большой пересмотр и самое большое признание ожидают Цветаеву...»

Борис Пастернак.

Из очерка «Люди и положения»

Зимы 1942 и 1943 года, проведенные в Чистополе, прошли в плодотворной работе над переводами Шекспировских драм «Ромео и Джульетта», «Антоний и Клеопатра» и, по просьбе издательства, пересмотром сделанного в 1940 году «Гамлета».

\* \* \*

«...Шекспир всегда будет любимцем поколений, исторически зрелых и много переживших. Многочисленные испытания учат ценить голос фактов, действительное познание, содержательное и нешуточное искусство реализма.

Шекспир остается идеалом и вершиной этого направления. Ни у кого сведения о человеке не достигают такой правильности, никто не излагал их так завоевательно. На первый взгляд это противоречие качества. Но они связаны прямой зависимостью. Беззаконьями своего стиля, раздражавшими Вольтера и Толстого, Шекспир показывает, какого вулканического строения наша хваленая художественная объективность. Потому что в первую очередь это чудо объективности... На чередовании самозабвения и внимательности построена его эстетика, на смене высокого и смешного, прозы и стихов.

Он дитя природы в любом отношении, возьмем ли мы необузданность его формы, его композицию и манеру лепки, или его психологию и нравственное содержание его

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
драм. Его сравнения – предел, за который никогда не заходило субъективное начало  
в поэзии. Он наложил на свои труды более глубокий личный отпечаток, чем кто-либо  
до или после него...»

Борис Пастернак.

Из статьи «О Шекспире»

\* \* \*

«...Воскресенье, семь часов утра, день выходной. Это значит, что с вечера у меня  
Зина, а в десять часов утра придет Ленечка. Остальную неделю они оба в детдоме,  
где Зина за сестру-хозяйку. Свежее дождливое утро, на мое счастье, потому что  
иначе по глубине континентальности была бы африканская жара, а я не сплю в  
сильное солнце. Я встал в шесть часов утра, потому что в колонке нашего района,  
откуда я ношу воду, часто портятся трубы, и, кроме того, ее дают два раза в день  
в определенные часы. Надо ловить момент. Сквозь сон я услышал звяканье ведер,  
которым наполнилась улица. Тут у каждой хозяйки по коромыслу, ими полон город.

Одно окно у меня на дорогу, за которою большой сад, называемый «Парком культуры  
и отдыха», а другое – в поросший ромашками двор нарсуда, куда часто партиями  
водят изможденных заключенных, эвакуированных в здешнюю тюрьму из других городов  
и где голосят на крик, когда судят кого-нибудь из здешних.

Дорога покрыта толстым слоем черной грязи, выпирающей из-под бульжной мостовой.  
Здесь редкостная чудотворная почва, чернозем такого качества, что кажется  
смешанным с угольной пылью, и если бы такую землю трудолюбивому,  
дисциплинированному населению, которое бы знало, что оно может, чего оно хочет и  
чего вправе требовать, любые социальные и экономические задачи были бы  
разрешены, и в этой Новой Бургундии расцвело бы искусство типа Рабле или  
Гофманского Щелкунчика...»

Борис Пастернак – Ольге Фрейденберг.

Из письма 18 июля 1942

\* \* \*

«...Я никому не писал больше двух месяцев, – сознательная жертва, которую приносил  
работе над „Ромео и Джульеттой“, именно в этот срок и оконченной. Она мне стоила  
гораздо большего труда, чем Гамлет, ввиду сравнительной бледности и манерности  
некоторых сторон и частей этой трагедии, как думают, одной из первых у Шекспира...  
Я прожил эту зиму счастливо и с ощущением счастья среди лишений и в средоточии  
самого дремучего дикарства, благодаря единомыслию, установившемуся между мной,  
Фединым, Асеевым, а также Леоновым и Тренивым. Здесь мы чувствуем себя  
свободнее, чем в Москве, несмотря на тоску по ней, разной силы у каждого... Сейчас  
я займусь переводом польского классика Словацкого. Это тоже денежно  
обусловленная работа для хлеба. Потом я некоторое время поработаю свое, для  
себя... Мне хочется написать пьесу и повесть, поэму в стихах и мелкие  
стихотворенья. Это настроенье, может быть, предсмертное, последнего года и  
последних довоенных месяцев, которое еще ярче разгорелось в войну...»

Борис Пастернак – Евгении Пастернак.

Из письма 12 марта 1942

Летом 1942 года Пастернак работал над пьесой на военную тему, о которой он давно  
мечтал. Упоминание об этом имеется в стихотворении «Старый парк», в котором он  
писал о раненом, лежащем в госпитале в Переделкине, бывшем имении Самариных. В  
нем отразились также воспоминания о знакомстве с внучатым племянником  
славянофила Ю.Ф. Самарина, родственником матери декабриста С.П. Трубецкого:

Старый парк  
Мальчик маленький в кровати,

Бури озверелый рёв.

Каркающих стай девятки

Разлетаются с дерёв.

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)

Раненому врач в халате  
Промывал вчерашний шов.  
Вдруг больной узнал в палате  
Друга детства, дом отцов.  
Вновь он в этом старом парке.  
Заморозки по утрам,  
И когда кладут припарки,  
Плачут стекла первых рам.  
Голос нынешнего века  
И виденья той поры  
Уживаются с опекой  
Терпеливой медсестры.  
По палате ходят люди.  
Слышно хлопанье дверей.  
Глухо ухают орудья  
Заозерных батарей.  
Солнце низкое садится.  
Вот оно в затон впилося  
И оттуда длинной спицей  
Протыкает даль насквозь.  
И минуты две оттуда  
В выбоины на дворе  
Льются волны изумруда,  
Как в волшебном фонаре.  
Зверской боли крепнут схватки,  
Крепнет ветер, озверев,  
И летят грачей девятки,  
Черные девятки трэф.  
Вихрь качает липы, скрючив,  
Буря рвет их на корню,  
И больной под стоны сучьев  
Забывает про ступню.  
Парк преданьями состарен,  
Здесь стоял Наполеон

И славянофил Самарин  
Послужил и погребен.  
Здесь потомок декабриста,  
Правнук русских героинь,  
Бил ворон из монтекристо  
И одолевал латынь.  
Если только хватит силы,  
Он, как дед, энтузиаст,  
Прадеда-славянофила  
Пересмотрит и издаст.  
Сам же он напишет пьесу,  
Вдохновенную войной, –  
Под немолчный ропот леса,  
Лёжа, думает больной.  
Там он жизни небывалой  
Невообразимый ход  
Языком провинциала  
В строй и ясность приведет.

1941

От пьесы Пастернака сохранились две сцены, остальные были уничтожены по настойчивости перепуганных ее свободой друзей, которым он их читал. Просьбы Пастернака устроить ему поездку на фронт были удовлетворены в августе 1943 года после освобождения Курска и Орла. Группа писателей, куда он был включен, получила приглашение военного совета 3-й армии посетить места недавних сражений и подготовить книгу «В боях за Орел». Впечатления от виденного записаны по свежим следам в очерках «Поездка в Армию» и «Освобожденный город» и отразились в военных стихах. Сохранились дневниковые записи, сделанные в разрушенном городе Карачеве:

\* \* \*

«...Об этих разрушениях, об ужасе нынешней бездомности, о немецких зверствах и пр. писали очень много и не жалея выражений. Истинная картина гораздо ужаснее и сильнее. Очевидно, о жизни нельзя писать изолированными извлечениями с изолированными чувствами, а надо привлекать все попутные мысли и соображенья, поднимающиеся при этом. Так к горечи карачевского зрелища примешивается сознание, что если бы для восстановления разрушенных городов и благоденствия России потребовалось изменение политической системы, то эта жертва не будет принесена, а наоборот, всем на свете будут жертвовать системе...»

\* \* \*

«...Нельзя быть злодеем другим, не будучи и для себя негодяем. Подлость универсальна. Нарушитель любви к ближнему первым из людей предаёт самого себя. Сколько заслуженной злости излито по адресу нынешней Германии! Между тем глубина ее падения больше, чем можно обнаружить в ослеплении справедливого негодования.

В гитлеризме поразительна утеря Германией политической первичности. Ее достоинство принесено в жертву производной роли. Стране навязано значение реакционной сноски к русской истории...



Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)

Весь девятнадцатый век, в особенности к его концу, Россия быстро и успешно двигала вперед свое просвещение. Дух широты и всечеловечности питал ее понимание... Этот дух особенно сказался во Льве Толстом, русскими средствами выразившем природу гения и его предвзятость... Но что такое гений?

Гений есть кровно осязаемое право мерить все на свете по-своему, чувство короткости со вселенной, счастье фамильной близости с историей и доступности всего живого. Гений первичен и ненавязчив...

И всегда рядом с неряшливою щедростью самородка следует что-нибудь завистливо рядовое и посредственное. Дела и поступки счастливого соперника кажутся ему чудачеством и безумием. Невежда начинает с поучения и кончает кровью...»

Борис Пастернак.

Из очерка «Поездка в армию».

Смерть сапера  
Мы время по часам заметили

И кверху поползли по склону.

Вот и обрыв. Мы без свидетелей

У края вражьей обороны.

Вот там она, и там, и тут она –

Везде, везде, до самой кручи.

Как паутиною опутана

Вся проволокою колючей.

Он наших мыслей не подслушивал

И не заглядывал нам в душу.

Он из конюшни вниз обрушивал

Свой бешеный огонь по Зуше [109] .

Прожекторы, как ножки циркуля,

Лучом вонзались в коновязи.

Прямые попаданья фыркали

Фонтанами земли и грязи.

Но чем обстрел дымил багровее,

Тем равнодушнее к осколкам,

В спокойствии и хладнокровии

Работали мы тихомолком.

Со мною были люди смелые.

Я знал, что в проволочной чаще

Проходы нужные проделаю

Для битвы, завтра предстоящей.

Вдруг одного сапера ранило.

Он отползал от вражьих линий,  
Привстал, и дух от боли заняло,  
И он упал в густой полыни.  
Он приходил в себя урывками,  
Осматривался на пригорке  
И щупал место под нашивками  
На почерневшей гимнастерке.  
И думал: глупость, оцарапали,  
И он отчалит от Казани,  
К жене и к детям вверх к Сарапулю, –  
И вновь и вновь терял сознание.  
Все в жизни может быть издержано,  
Изведаны все положенья  
Следы любви самоотверженной  
Не подлежат уничтоженью.  
Хоть землю грыз от боли раненый,  
Но столами не выдал братьев,  
Врожденной стойкости крестьянина  
И в обмороке не утратив.  
Его живым успели вынести.  
Час продышал он через силу.  
Хотя за речкой почва глинистей,  
Там вырыли ему могилу.  
Когда, убитые потерей,  
К нему сошлись мы на прощанье,  
Заговорила артиллерия  
В две тысячи своих гортаней.  
В часах задвигались колесики.  
Проснулись рычаги и шкивы.  
К проделанной покойным просеке  
Шагнула армия прорыва.  
Сраженье хлынуло в пробоину  
И выкатилось на равнину,  
Как входит море в край застроенный,

С разбега проломив плотину.  
Пехота шла вперед маршрутами,  
Как их располагал умерший.  
Поздней немногими минутами  
Противник дрогнул у Завершья.  
Он оставлял снарядов штабели,  
Котлы дымящегося супа,  
Все, что обозные награбили,  
Палатки, ящики и трупы.  
Потом дорогою завещанной  
Прошло с победами все войско.  
Края расширившейся трещины  
У Криворожья и Пропойска.  
Мы оттого теперь у Гомеля,  
Что на поляне в полнолуние  
Своей души не сэкономили  
В пластунском деле накануне.  
Жить и сгорать у всех в обычае,  
Но жизнь тогда лишь обессмертишь,  
Когда ей к свету и величию  
Своею жертвой путь прочертишь.  
Декабрь 1943

В архиве Пастернака сохранился «Дневник боевых действий» с донесением от 11–12 июля 1943:

\* \* \*

«...В дивизии полковника Ромашова группа саперов во главе с сержантом Коваленко получила задание ночью проделать проходы в проволочных заграждениях противника. От переднего края нашей обороны саперы поползли на высоту, там были проволочные заграждения врага, а в 150 м за ними – его окопы... При этом был тяжело ранен сапер Микеев... Стоило раненому вскрикнуть или тяжело застонать – и саперы были обнаружены противником. Микеев понял это. Превозмогая острую боль, крепко сжав зубы, он ни разу не застонал...»

\* \* \*

«...Поездка на фронт имела для меня чрезвычайное значение, и даже не столько мне показала такого, чего бы я не мог ждать или угадать, сколько внутренне меня освободила. Вдруг все оказалось очень близко, естественно и доступно, в большем сходстве с моими привычными мыслями, нежели с общепринятыми изображениями. Не боясь показаться хвастливым, могу сказать, что из целой и довольно большой компании ездивших, среди которых были Константин Александрович „Федин“, Всеволод Иванов и К. Симонов, больше всего по себе среди военных было мне, и именно со мной стали на наиболее короткую ногу в течение месяца принимавшие нас генералы...»

Борис Пастернак – Валерию Авдееву.

Из письма 21 октября 1943

Особый интерес Пастернака привлекала личность погибшего в недавних боях генерала Л.Н. Гуртьева. В описании чудовищного зрелища разрушенного до основания Орла он особо отметил находящуюся в парке «скромную и славную могилу командира 308-й стрелковой дивизии, героя Сталинграда и Орла». Восхищение подвигом его сибирских полков, выдержавших после 80-часового бесперебойного обстрела многосуточный штурм трех немецких дивизий под Сталинградом, выразилось в стихотворении «Ожившая фреска». Оно построено на воспоминаниях героя о детских посещениях монастыря, деталях церковного обихода и образах церковных росписей.

Ожившая фреска  
Как прежде падали снаряды.

Высокое, как в дальнем плаваньи,

Ночное небо Сталинграда

Качалось в штукатурном саване.

Земля гудела, как молебен

Об отвращеньи бомбы воющей,

Кадильницу дым и щебень

Выбрасывая из побоища.

Когда урывками, меж схваток,

Он под огнем своих проведывал,

Необъяснимый отпечаток

Привычности его преследовал.

Где мог он видеть этот ежик

Домов с бездонными проломами?

Свидетельства былых бомбежек

Казались сказочно знакомыми,

Что означала в черной раме

Четырехпалая отметина?

Кого напоминало пламя

И выломанные паркетины?

И вдруг он вспомнил детство, детство,

И монастырский сад, и грешников,

И с общиною по соседству

Свист соловьев и пересмешников.

Он мать сжимал рукой сыновней,

И от копья архистратига ли

На темной росписи часовни

В такие ямы черти прыгали.

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)

И мальчик облекался в латы,  
За мать в воображеньи ратуя,  
И налетал на супостата  
С такой же свастикой хвостатюю.  
А дальше в конном поединке  
Сиял над змеем лик Георгия,  
И на пруду цвели кувшинки,  
И птиц безумствовали оргии.  
И родина, как голос пуши,  
Как зов в лесу и грохот отзыва,  
Манила музыкой зовущей  
И пахла почкою березовой.  
О, как он вспомнил те полянки  
Теперь, когда своей погонюю  
Он топчет вражеские танки  
С их грозной чешуей драконьею!  
Он перешел земли границы,  
И будущность, как ширь небесная,  
Уже бушует, а не снится,  
Приблизившаяся, чудесная.

1944

\* \* \*

«...С недавнего времени нами все больше завладевают ход и логика нашей чудесной победы. С каждым днем все яснее ее всеобъединяющая красота и сила...

Победил весь народ, всеми своими слоями, и радостями, и горестями, и мечтами, и мыслями. Победило разнообразье.

Победили все и в эти самые дни, на наших глазах, открывают новую, высшую эру нашего исторического существования. Дух широты и всеобщности начинает проникать деятельность всех. Его действие сказывается и на наших скромных занятиях...»

Борис Пастернак.

Из очерка «Поездка в армию»

Весна  
Все нынешней весной особое.

Живее воробьев шумиха.

Я даже выразить не пробую,

Как на душе светло и тихо.

Иначе думается, пишется,

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)

И громкою октавой в хоре  
Земной могучий голос слышится  
Освобожденных территорий.  
Весеннее дыхание родины  
Смывает след зимы с пространства  
И черные от слез обводины  
С заплаканных очей славянства.  
Везде трава готова вылезти,  
И улицы старинной Праги  
Молчат, одна другой извилистей,  
Но заиграют, как овраги.  
Сказанья Чехии, Моравии  
И Сербии с весенней негой,  
Сорвавши пелену бесправия,  
Цветами выйдут из-под снега.  
Все дымкой сказочной подернется,  
Подобно завиткам по стенам  
В боярской золоченой горнице  
И на Василии Блаженном.  
Мечтателю и полуночнику  
Москва милей всего на свете.  
Он дома, у первоисточника  
Всего, чем будет цвезть столетье.

1944

\* \* \*

«...Кажется, в военных стихах словарь Пастернака еще народнее, чем в предвоенных; речь его еще проще, еще целомудренней сторонится она всяческих приукрашений, малейшей риторики. Пастернак еще строже к себе в этих стихах о суровой године войны, когда строгость и суровость стали условием жизни, условием победы. Невольно приходит на память, с какою простотою писал Лермонтов о русском солдате в „Валерике“ и „Бородине“ и как Правде, одной Правде посвящал Лев Толстой свои героические „Севастопольские рассказы“. Их дорогою идет Пастернак. Это нетрудно показать, и это легко увидеть без показа:

Вы ложились на дороге  
И у взрытой колеи  
Спрашивали о подмоге  
И не слышно ль, где свои.  
А потом, жуя краюху,

По истерзанным полям  
Шли вы, не теряя духа,  
К обгорелым флигелям.

Эти стихи обращены к «безымянным героям осажденных городов», но все стихи Пастернака, о ком бы ни шла в них речь: о саперах, о защитниках Сталинграда или Ленинграда, – все они обращены к безымянным героям, так же, как лермонтовское «Бородино», так же, как толстовский «Севастополь»...

По точности рисунка, по простоте передачи, по суровой безыскусственности это почти проза, притом – самая строгая проза, признающая законы пушкинской простоты и толстовской суровости, но в этой-то «почти прозе» и заключена свежесть и сила стихов Пастернака о войне...»

Сергей Дурылин.

Из рецензии на книгу «Земной простор»

\* \* \*

«...Хотя просветление и освобождение, которых ждали после войны, не наступили вместе с победой, как думали, но все равно, предвестие свободы носилось в воздухе все послевоенные годы, составляя их единственное историческое содержание...»

Борис Пастернак.

Из романа «Доктор Живаго»

Пастернак мечтал о большой прозе в течение всей жизни, но попытки, предпринимаемые им ранее, затягиваясь на годы, оставались неоконченными. Пробудившиеся после победы в войне надежды на либерализацию общества укрепили его замысел и дали силу приступить к работе, которую он считал своим пожизненным долгом. Несмотря на то, что этим веяниям скоро был положен конец, намерение писать роман стало внутренней необходимостью, чему способствовало нарастающее недовольство собой.

\* \* \*

«...Я давно и долго, еще во время войны, томился благополучно продолжающимися положениями стихотворчества, литературной деятельности и имени, как непрерывным накоплением промахов и оплошностей, которым хотелось положить разительный и осязаемый, целиком перекрывающий конец... тут не обязательно было, чтобы это была трагедия или катастрофа, но было обязательно, чтобы это круто и крупно отменяло все нажитые навыки и начинало собою новое, леденяще и бесповоротно, чтобы это было вторжение воли в судьбу, вмешательство души в то, что как будто обходилось без нее и ее не касалось... Это было желанием начать договаривать все до конца и оценивать жизнь в духе былой безусловности, на ее широчайших основаниях...»

Борис Пастернак – Вячеславу Вс. Иванову.

Из письма 1 июля 1958

\* \* \*

«...Когда после великодушия судьбы, сказавшегося в факте победы, пусть и такой ценой купленной победы, когда после такой щедрости исторической стихии, повернули к жестокости и мудрствованиям самых тупых и темных довоенных годов, я испытал во второй (после 36 года) раз чувство потрясенного отталкивания от установившихся порядков, еще более сильное и категорическое, чем в первый раз...»

Борис Пастернак.

Из заметки 11 февраля 1956 года

Сменявшие друг друга партийные постановления 1940-х годов (о журналах «Звезда» и «Ленинград», о космополитизме и преклонении перед западом) и критические проработки, сопровождавшиеся идеологическими погромами, рассеивали и косили

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru) близких и знакомых, ежедневно угрожая жизни каждого. Но ни резкие нападки на Пастернака в печати, ни уничтоженный тираж сборника его стихов не нарушали течения его жизни, «установочные» статьи с обвинениями в разладе с современностью и клевете на советскую действительность грозили страшными последствиями, но он только ускорял темп работы над романом.

\* \* \*

«...По многим причинам мне нельзя сейчас задерживаться в собственной работе, все в такой неясности...»

Борис Пастернак – Марии Юдиной.

Из письма 27 марта 1949

Гамлет

Гул затих. Я вышел на подмости.

Прислонясь к дверному косяку,

Я ловлю в далеком отголоске

Что случится на моем веку.

На меня наставлен сумрак ночи

Тысячью биноклей на оси.

Если только можно, Авва Отче,

Чашу эту мимо пронеси [110] .

Я люблю твой замысел упрямый

И играть согласен эту роль.

Но сейчас идет другая драма,

И на этот раз меня уволь.

Но продуман распорядок действий,

И неотвратим конец пути.

Я один, все тонет в фарисействе.

Жизнь прожить – не поле перейти.

1946

Полосы утомления, горя и мрака преодолевались плодотворностью каторжного труда, занятая позиция поддерживалась чувством радостного возвращения к свободе и независимости, к реальности производительного существования, к Божьему замыслу о человеке.

\* \* \*

«...С июля месяца я начал писать роман в прозе „Мальчики и девочки“, который в десяти главах должен охватить сорокалетие, 1902–1946 годы, и с большим увлечением написал четверть задуманного или пятую его часть. Это все очень серьезные работы. Я уже стар, скоро, может быть, умру, и нельзя до бесконечности откладывать свободного выражения настоящих своих мыслей. Занятия этого года – первые шаги на этом пути, – и они необычайны. Нельзя без конца и в тридцать, и в сорок, и в пятьдесят шесть лет жить тем, чем живет восьмилетний ребенок: пассивными признаками твоих способностей и хорошим отношением окружающих к тебе, – а вся жизнь прошла по этой вынужденно сдержанной программе...»

Борис Пастернак – Ольге Фрейденберг.

Из письма 5 октября 1946



На Страстной  
Еще кругом ночная мгла.  
Еще так рано в мире,  
Что звездам в небе нет числа,  
И каждая, как день светла,  
И если бы земля могла,  
Она бы Пасху проспала  
Под чтение Псалтыри.  
Еще кругом ночная мгла.  
Такая рань на свете,  
Что площадь вечностью легла  
От перекрестка до угла,  
И до рассвета и тепла  
Еще тысячелетье.  
Еще земля голым-гола,  
И ей ночами не в чем  
Раскачивать колокола  
И вторить с воли певчим.  
И со Страстного четверга  
Вплоть до Страстной субботы  
Вода буравит берега  
И вьет водовороты.  
И лес раздет и непокрыт,  
И на Страстях Христовых [111] ,  
Как строй молящихся стоит  
Толпой стволов сосновых.  
А в городе на небольшом  
Пространстве, как на сходке,  
Деревья смотрят нагишом  
В церковные решетки.  
И взгляд их ужасом объят.  
Понятна их тревога.  
Сады выходят из оград,

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Колеблется земли уклад:

Они хоронят Бога.

И видят свет у царских врат,

И черный плат, и свечек ряд,

Заплаканные лица –

И вдруг навстречу крестный ход

Выходит с плащаницей [112] ,

И две березы у ворот

Должны посторониться.

И шествие обходит двор

По краю тротуара,

И вносит с улицы в притвор

Весну, весенний разговор

И воздух с привкусом просфор

И вешнего угара.

И март разбрасывает снег

На паперти толпе калек,

Как будто вышел человек,

И вынес, и открыл ковчег,

И все до нитки роздал.

И пенье длится до зари,

И, нарыдавшись в досталь,

Доходят тише изнутри

На пустыри под фонари

Псалтырь или Апостол.

Но в полночь смолкнут тварь и плоть [113] ,

Заслышав слух весенний,

Что только-только распогодь,

Смерть можно будет побороть

Усиьем Воскресенья.

1946

Первоначальный план романа был уже с самого начала совершенно оформлен. Определяя характер своего главного героя, Пастернак писал:

«...Там один из героев – врач, каким был, или мог быть А.П. Чехов. Он по замыслу романа должен умереть в 1929-м году (39 лет). От него остается хаотический архив, который приводит в порядок сводный его брат, живший в Сибири, которого

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru) умерший не знал и всю жизнь считал издали своим врагом. Этот брат находит в бумагах покойного много любопытного, записки, дневники и множество стихотворений, которые он сводит в книгу. Книга эта составит одну из глав второй части романа. Это будет поэзия, представляющая нечто среднее между Блоком, Маяковским, Есениным и мною: меня немного успокоенного и объективированного. Теперь, когда я пишу стихи, я их пишу в виде вкладов в стихотворное хозяйство этого героя...»

Борис Пастернак – Валерию Авдееву.

Из письма 21 мая 1948

\* \* \*

«...Когда мы стали встречаться, я казался Пастернаку не столько человеком, рожденным его собственными идеями, сколько единомышленником, пришедшим к его мыслям трудной дорогой. Записана тысячная часть наших разговоров...

– фамилия героя романа? Это история непростая. Еще в детстве я был поражен, взволнован строками из молитвы православной церкви: «Ты есть воистину Христос, сын Бога Живаго» [114]. Я повторял эту строку и по-детски ставил запятую после слова «Бога». Получалось таинственное имя Христа «Живаго». Не о живом Боге думал я, а о новом, только для меня доступном его имени «Живаго». Вся жизнь понадобилась на то, чтобы это детское ощущение сделать реальностью – назвать этим именем героя моего романа. Вот истинная история, «подпочва» выбора. Кроме того, «Живаго» – это звучная и выразительная сибирская фамилия (вроде Мертваго, Веселаго). Символ совпадает здесь с реальностью, не нарушает ее, не противоречит ей...»

Варлам Шаламов.

Из воспоминаний

Зимняя ночь

Мело, мело по всей земле

Во все пределы.

Свеча горела на столе,

Свеча горела.

Как летом роем мошкара

Летит на пламя,

Слетались хлопья со двора

К оконной раме.

Метель лепила на стекле

Кружки и стрелы.

Свеча горела на столе,

Свеча горела.

На озаренный потолок ложились тени,

Скрещенья рук, скрещенья ног,

Судьбы скрещенья.

И падали два башмачка

Со стуком на пол.

И воск слезами с ночника

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
На платье капал.

И все терялось в снежной мгле,  
Седой и белой.

Свеча горела на столе,  
Свеча горела.

На свечку дуло из угла,  
И жар соблазна

Вздыхал, как ангел, два крыла  
Крестообразно.

Мело весь месяц в феврале,  
И то и дело

Свеча горела на столе,  
Свеча горела.

1946

Март  
Солнце греет до седьмого пота,  
И бушует, одурев, овраг.  
Как у дюжей скотницы работа,  
Дело у весны кипит в руках.  
Чахнет снег и болен малокровьем  
В веточках бессильно синих жил.  
Но дымится жизнь в хлеву коровьем,  
И здоровьем пышат зубья вил.

Эти ночи, эти дни и ночи!

Дробь капелей к середине дня,  
Кровельных сосулек худосочье,  
Ручейков бессонных болтовня!

Настежь все, конюшня и коровник,  
Голуби в снегу клюют овес,  
И всего живитель и виновник, –  
Пахнет свежим воздухом навоз.

1946

Бабье лето  
Лист смородины груб и матерчат.

В доме хохот и стекла звенят.

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
В нем шинкуют, и квасят, и перчат,

И гвоздики кладут в маринад.  
Лес забрасывает, как насмешник,  
Этот шум на обрывистый склон,  
Где сгоревший на солнце орешник  
Словно жаром костра опален.  
Здесь дорога спускается в балку,  
Здесь и высохших старых коряг,  
И лоскутницы осени жалко,  
Все сметающей в этот овраг.  
И того, что вселенная проще,  
Чем иной полагает хитрец,  
Что как в воду опущена роца,  
Что приходит всему свой конец.  
Что глазами бессмысленно хлопать,  
Когда все пред тобой сожжено,  
И осенняя белая копоть  
Паутиною тянет в окно.  
Ход из сада в заборе проломан  
И теряется в березняке.  
В доме смех и хозяйственный гомон,  
Тот же гомон и смех вдалеке.

1946

В конце 1946 года Пастернак познакомился с Ольгой Всеволодовной Ивинской, которая работала в журнале «Новый мир». Как поклонницу его поэзии, вместе с Лидией Корнеевной Чуковской он пригласил их на чтение первых глав романа и написанных к тому времени стихов, которое происходило 6 января 1947 года на квартире пианистки Марии Вениаминовны Юдиной.

Пастернак не делал тайны из того, что писал, и такие чтения в кругу друзей устраивал регулярно. Дружественные отзывы, которые он получал, помогали ему продолжать работу в атмосфере заинтересованного соучастия.

Образ героини романа Ларисы Антиповой был для Пастернака развитием пожизненно разрабатываемой им женской темы и живым воплощением судьбы России. Такая трактовка зародилась в ранней юности, пронзила его болью и горечью в 1917 году при встрече с Еленой Виноград, ее подтверждение он увидел в судьбе Зинаиды Николаевны, которая стала героиней его неоконченной прозы 1930-х годов.

Отражением его отношений с Ольгой Ивинской, радостных и светлых в это время, можно считать внешний облик Ларисы Федоровны в романе и ту теплоту, которой согреты посвященные ей главы. Пробудившийся после встречи с нею «резкий и счастливый личный отпечаток» дал ему силы справиться с трудностями работы над романом.

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Сознание греховности и заведомой обреченности его отношений с Ивинской освещало их прощальной нежностью последней любви. Муки совести с одной стороны и легкомысленный эгоизм с другой – часто ставили их перед необходимостью расстаться, но жалость и жажда душевного тепла снова влекли его к ней.

Объяснение

Жизнь вернулась так же беспричинно,

Как когда-то странно прервалась.

Я на той же улице старинной,

Как тогда, в тот летний день и час.

Те же люди и заботы те же,

И пожар заката не остыл,

Как его тогда к стене Манежа

Вечер смерти наспех пригвоздил.

Женщины в дешевом затрапезе

Так же ночью топчут башмаки.

Их потом на кровельном железе

Так же распинают чердаки.

Вот одна походкою усталой

Медленно выходит за порог

И, поднявшись из полуподвала,

Переходит двор наискосок.

Я опять готовлю отговорки,

И опять все безразлично мне.

И соседка, обогнув задворки,

Оставляет нас наедине.

Не плачь, не морщь опухших губ,

Не собирай их в складки.

Разбередишь присохший струп

Весенней лихорадки.

Сними ладонь с моей груди,

Мы провода под током,

Друг к другу вновь того гляди,

Нас бросит ненароком.

Пройдут года, ты вступишь в брак,

Забудешь неустройства.

Быть женщиной – великий шаг,

Сводить с ума – геройство.

А я пред чудом женских рук,  
Спины, и плеч, и шеи  
И так с привязанностью слуг  
Весь век благоговею.  
Но как ни сковывает ночь  
Меня кольцом тоскливым,  
Сильней на свете тяга прочь  
И манит страсть к разрывам.

1947

На сборном поэтическом вечере в Политехническом музее, состоявшемся 7 февраля 1948 года под названием «Поэты за мир, за демократию», в числе 20 других читал свои стихи Пастернак. В списке приглашенных им на вечер была Ольга Ивинская. Пастернак встречал ее у входа. Она опаздывала, и он появился в зале в тот момент, когда Алексей Сурков говорил вступительное слово, внезапно прервавшееся оглушительными аплодисментами. Сурков не сразу понял, что аплодируют не ему, а Пастернаку, старавшемуся незаметно проскользнуть на свое место в президиуме. Надо было видеть страшную гримасу, которой исказилось его лицо.

\* \* \*

«...Всем вежливо хлопали, но когда наступила очередь Пастернака, зал опять, как при его появлении разразился дружными долгими аплодисментами... Меня поразило его чтение. Он читал стихи как бы в очень камерной манере, совсем без декламации, вслушиваясь в них, подчеркивая интонацией смысловую сторону, но не отпуская и стихотворного размера, и ритмических каденций строфы, ускоряя и замедляя течение строки... Его скорее низкий голос шел из глубины и, казалось, захватывал его самого целиком этими произносимыми строками, и все окрашивалось неповторимой интонацией взволнованного, живого и подлинного чувства, где-то почти на грани всхлипывания и захлеба...

Зал музея замирал и потом срывался в аплодисменты. Когда он запнулся, ему тут же подсказали строку. Казалось, все понимали, что присутствуют при чуде. Когда он кончил, его аплодисментами и криками заставили читать еще – «на бис». Он прочитал два новых стихотворения, которые многие уже знали: «Свеча» и «Рассвет».

Сейчас кажется удивительным, как в то время можно было публично, в Большом зале Политехнического музея читать такие откровенно христианские стихи. Но, по-моему, дело в том, что тогда одичание было настолько глубоким, что огромное большинство, и в том числе, конечно, и официальные лица, просто не понимало, кто тот Ты, к кому обращается поэт».

Михаил Поливанов.

Из воспоминаний «Тайная свобода»

\* \* \*

«– Я дал несколько стихотворений представителю „Литературной газеты“. Тот выбрал „Рассвет“: „Это ведь Сталину посвящено, не правда ли?“ – Какому Сталину? Это стихотворение посвящено Богу, Богу. Звонит снова: „Извините, мы ничего напечатать не можем“...»

Варлам Шаламов. Пастернак

(запись разговора)

Рассвет

Ты значил все в моей судьбе.

Потом пришла война, разруха,

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)

И долго-долго о Тебе  
Ни слуху не было, ни духу.  
И через много-много лет  
Твой голос вновь меня встревожил.  
Всю ночь читал я Твой Завет  
И как от обморока ожил.  
Мне к людям хочется в толпу,  
В их утреннее оживленье.  
Я все готов разнести в щепу  
И всех поставить на колени.  
И я по лестнице бегу,  
Как будто выхожу впервые  
На эти улицы в снегу  
И вымершие мостовые.  
Везде встают, огни, уют,  
Пьют чай, торопятся к трамваям.  
В течение нескольких минут  
Вид города неузнаваем.  
В воротах вьюга вяжет сеть  
Из густо падающих хлопьев,  
И, чтобы вовремя поспеть,  
Все мчатся недоев-недопив.  
Я чувствую за них за всех,  
Как будто побывал в их шкуре,  
Я таю сам, как тает снег,  
Я сам, как утро, брови хмурю.  
Со мною люди без имен,  
Деревья, дети, домоседы.  
Я ими всеми побежден  
И только в том моя победа.

1947

\* \* \*

«...Борис Леонидович сказал, что одна из самых трудных задач, с которыми столкнулась русская философия в начале XX века, состояла в определении настоящей позиции по отношению к Толстому и в связи с его „отлучением“...»



Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Поэзия шла тем же путем, что и философия... Многие после непродолжительного увлечения «толстовством» возвращались к православию. Вообще пути «ухода» изучены лучше, чем пути «возвращения»...

Многое из того, что говорил Пастернак, казалось мне загадочным. Оно таковым и оставалось до той самой поры, когда был написан «Доктор Живаго», где главным как раз и является «путь возвращения»:

И через много-много лет

Твой голос вновь меня встревожил...»

Эдуард Бабаев.

«Где воздух синь...»

\* \* \*

«...Я уже говорил тебе, что начал писать большой роман в прозе. Собственно, это первая настоящая моя работа. Я в ней хочу дать исторический образ России за последнее сорокапятилетие, и в то же время всеми сторонами своего сюжета, тяжелого, печального и подробно разработанного, как, в идеале, у Диккенса или Достоевского, – эта вещь будет выражением моих взглядов на искусство, на Евангелие, на жизнь человека в истории и на многое другое. Роман пока называется „Мальчики и девочки“. Я в нем свожу счеты с еврейством, со всеми видами национализма (и в интернационализме), со всеми оттенками антихристианства и его допущениями, будто существуют еще после падения Римской империи какие-то народы и есть возможность строить культуру на их сырой национальной сущности.

Атмосфера вещи – мое христианство, в своей широте немного иное, чем квакерское и толстовское, идущее от других сторон Евангелия в придачу к нравственным...»

Борис Пастернак – Ольге Фрейденберг.

Из письма 13 октября 1946

Рождественская звезда  
Стояла зима.

Дул ветер из степи.

И холодно было Младенцу в вертепе

На склоне холма.

Его согревало дыханье вола.

Домашние звери

Стояли в пещере,

Над яслями теплая дымка плыла.

Доху отряхнув от постельной трухи

И зернышек проса,

Смотрели с утеса

Спросонья в полночную даль пастухи.

Вдали было поле в снегу и погост,

Ограды, надгробья,

Оглобля в сугробе,

И небо над кладбищем, полное звезд.

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
А рядом, неведомая перед тем,

Застенчивей плошки  
В оконце сторожки  
Мерцала звезда по пути в Вифлеем.  
Она пламенела, как стог, в стороне  
От неба и Бога,  
Как отблеск поджога,  
Как хутор в огне и пожар на гумне.  
Она возвышалась горячей скирдой  
Соломы и сена  
Средь целой вселенной,  
Встревоженной этою новой звездой.  
Растущее зарево рдело над ней  
И значило что-то,  
И три звездочета  
Спешили на зов небывалых огней.  
За ними везли на верблюдах дары.  
И ослики в сбруе, один малорослей  
Другого, шажками спускались с горы.  
И странным виденьем грядущей поры  
Вставало вдали всё пришедшее после.  
Все мысли веков, все мечты, все миры,  
Всё будущее галерей и музеев,  
Все шалости фей, все дела чародеев,  
Все елки на свете, все сны детворы.  
Весь трепет затепленных свечек, все цепи,  
Всё великолепье цветной мишуры..  
...Всё злей и свирепей дул ветер из степи..  
...Все яблоки, все золотые шары.  
Часть пруда скрывали верхушки ольхи,  
Но часть было видно отлично отсюда  
Сквозь гнезда грачей и деревьев верхи.  
Как шли вдоль запруды ослы и верблюды,  
Могли хорошо разглядеть пастухи.

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
– Пойдемте со всеми, поклонимся чуду, –

Сказали они, запахнув кожухи.

От шарканья по снегу сделалось жарко.

По яркой поляне листьями слюды

Вели за хибарку босые следы,

На эти следы, как на пламя огарка,

Ворчали овчарки при свете звезды.

Морозная ночь походила на сказку,

И кто-то с навьюженной снежной гряды

Все время незримо входил в их ряды.

Собаки брели, озираясь с опаской,

И жались к подпаску, и ждали беды.

По той же дороге, чрез эту же местность

Шло несколько ангелов в гуще толпы.

Незримыми делала их бестелесность,

Но шаг оставлял отпечаток стопы.

У камня толпилась орава народу.

Светало. Означились кедров стволы.

– А кто вы такие? – спросила Мария.

– Мы племя пастушье и неба послы,

Пришли вознести вам обоим хвалы.

– Всем вместе нельзя. Подождите у входа.

Средь серой, как пепел, предутренней мглы

Топтались погонщики и овцеводы,

Ругались со всадниками пешеходы,

У выдолбленной водопойной колоды

Ревели верблюды, лягались ослы.

Светало. Рассвет, как пылинки золы,

Последние звезды сметал с небосвода.

И только волхвов из несметного сброда

Впустила Мария в отверстие скалы.

Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба,

Как месяца луч в углубленьи дупла.

Ему заменяли овчинную шубу

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Ослиные губы и ноздри вола.

Стояли в тени, словно в сумраке хлева,

Шептались, едва подбирая слова.

Вдруг кто-то в потемках, немного налево

От яслей рукой отодвинул волхва,

И тот оглянулся: с порога на Деву,

Как гостья, смотрела звезда Рождества.

1947

\* \* \*

«...Вдруг особенно ясно стало – кто Вы и что Вы. Иной плод созревает более, иной менее зримо. Духовная Ваша мощь вдруг сбросила с себя все второстепенные значимости... Это непрекращающееся высшее созерцание совершенства и непрерываемой истинности стиля, пропорций, деталей, классического соединения глубоко запечатленного за ясностью формы чувства... Если бы Вы ничего кроме „Рождества“ не написали в жизни, этого было бы достаточно для Вашего бессмертия на земле и на небе...»

Мария Юдина – Борису Пастернаку.

Из письма 7-8-февраля 1947

Чудо

Он шел из Вифании в Ерусалим,

Заранее грустью предчувствий томим.

Колючий кустарник на круче был выжжен,

Над хижинкой ближней не двигался дым,

Был воздух горяч и камыш неподвижен.

И Мертвого моря покой недвижим.

И в горечи, спорившей с горечью моря,

Он шел с небольшою толпой облаков

По пыльной дороге на чье-то подворье,

Шел в город на сборище учеников.

И так углубился Он в мысли свои,

Что поле в уныньи запахло полынью.

Все стихло. Один Он стоял посредине,

А местность лежала пластом в забытьи.

Все перемешалось: теплынь и пустыня,

И ящерицы, и ключи, и ручьи.

Смоковница высилась невдалеке,

Совсем без плодов, только ветки да листья.

И Он ей сказал: «Для какой ты корысти?»

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Какая мне радость в твоём столбняке?

Я жажду и алчу, а ты пустоцвет,  
И встреча с тобой безотрадней гранита.  
О, как ты обидна и недаровита!  
Останься такой до скончания лет». .  
По дереву дрожь осужденья прошла,  
Как молнии искра по громоотводу.  
Смоковницу испепелило дотла.  
Найдись в это время минута свободы  
У листьев, ветвей, и корней, и ствола,  
Успели б вмешаться законы природы.  
Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог.  
Когда мы в смятении, тогда средь разброда  
Оно настигает мгновенно, врасплох.

1947

Порою отношения Пастернака с Ольгой Ивинской заходили в мучительный тупик, но он ни за что не хотел расставаться с Зинаидой Николаевной, ломать и менять свою жизнь. Его супружество, претерпев многие превратности, потеряло прежнюю нежность, тем более что Зинаида Николаевна после тяжело пережитой смерти своего 20-летнего обожаемого сына Адриана Нейгауза откровенно призналась в невозможности более быть женой, оставив за собой только роль хозяйки дома. Но сохраненное на всю жизнь чувство любви к ней не позволяло Пастернаку ее оставить. К весне 1949 года для него в очередной раз определилась необходимость покончить с душевной раздвоенностью и положить конец своим отношениям с Ольгой Ивинской.

\* \* \*

«...У меня была одна новая большая привязанность, но так как моя жизнь с Зиной настоящая, мне рано или поздно надо было первую пожертвовать, и, странное дело, пока все было полно терзаний, раздвоения, укорами больной совести и даже ужасами, я легко сносил, и даже мне казалось счастьем все то, что теперь, когда я целиком всю свою совестью безвыходно со своими, наводит на меня безутешное уныние: мое одиночество и хождение по острию ножа в литературе, конечная бесцельность моих писательских усилий, странная двойственность моей судьбы „здесь“ и „там“ и пр. и пр.

Тогда я писал первую книгу романа и переводил Фауста среди помех и препятствий, с отсутствующей головой, в вечной смене трагедий с самым беззаботным ликованием и все мне было трын-трава и казалось, что все мне удастся...»

Борис Пастернак – Ольге Фрейденберг.

Из письма 7 августа 1949

Жалость и тревога, которыми полно приведенное письмо, вскоре сменились реальным страхом за судьбу Ольги Ивинской. Ею заинтересовались судебные органы, и после неоднократных вызовов и допросов она была арестована и приговорена по политической статье к пяти годам каторжных работ.

\* \* \*

«...Жизнь в полной буквальности повторила последнюю сцену Фауста, „Маргариту в темнице“. Бедная моя О. последовала за дорогим нашим Т „ицианом“. Это случилось совсем недавно, девятого (неделю тому назад). Сколько она вынесла из-за меня! А

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru) теперь еще и это! Не пишите мне, разумеется об этом, но измерьте степень ее беды и меру моего страдания.

Наверное, соперничество человека никогда в жизни не могло мне казаться таким угрожающим и опасным, чтобы вызывать ревность в ее самой острой и сосущей форме. Но я часто, и в самой молодости, ревновал женщину к прошлому или к болезни, или к угрозе смерти или отъезда, к силам далеким и непреодолимым. Так я ревную ее сейчас к власти неволи и неизвестности, сменившей прикосновение моей руки или мой голос.

Я пишу Вам глупости, Нина, простите меня. Еще большей глупостью будет сказать Вам, что при всем этом я на страже всего Зининого и ее жизни со мной, что я не даю и не дам ей почувствовать ничего, что бы опечалило или обидело ее.

А страдание только еще больше углубит мой труд, только проведет еще более резкие черты во всем моем существе и сознании. Но причем она, бедная, не правда ли?...»

Борис Пастернак – Нине Табидзе.

Из письма 15 октября 1949

Разлука  
С порога смотрит человек,  
Не узнавая дома,  
Ее отъезд был как побег,  
Везде следы разгрома.  
Повсюду в комнатах хаос.  
Он меры разоренья  
Не замечает из-за слез  
И приступа мигрени.  
В ушах с утра какой-то шум,  
Он в памяти иль грезит?  
И почему ему на ум  
Все мысль о море лезет?  
Когда сквозь иней на окне  
Не видно света Божья,  
Безвыходность тоски вдвойне  
С пустыней моря схожа.  
Она была так дорога  
Ему чертой люблю,  
Как морю близки берега  
Всей линией прибоя.  
Как затопляет камыши  
Волненье после шторма,

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Ушли на дно его души

Ее черты и формы.  
В года мытарств, во времена  
Немыслимого быта  
Она волной судьбы со дна  
Была к нему прибита.  
Среди препятствий без числа,  
Опасности минуя,  
Волна несла ее, несла  
И пригнала вплотную.  
И вот теперь ее отъезд,  
Насильственный, быть может.  
Разлука их обоих съест,  
Тоска с костями сгложет.  
И человек глядит кругом:  
Она в момент ухода  
Все выворотила вверх дном  
Из ящичков комода.  
Он бродит и до темноты  
Укладывает в ящик  
Раскиданные лоскуты  
И выкройки образчик.  
И, наколовшись об шитье  
С невынутой иголкой,  
Внезапно видит всю ее  
И плачет втихомолку.

1953

Свидание  
Засыпет снег дороги,  
Завалит скаты крыш.  
Пойду размять я ноги:  
За дверью ты стоишь.  
Одна в пальто осеннем,  
Без шляпы, без калош,  
Ты борешься с волнением

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)

И мокрый снег жуешь.  
Деревья и ограды  
Уходят вдаль, во мглу.  
Одна средь снегопада  
Стоишь ты на углу.  
Течет вода с косынки  
По рукаву в обшлаг,  
И каплями росинки  
Сверкают в волосах.  
И прядью белокурой  
Озарены: лицо,  
Косынка и фигура  
И это пальтецо.  
Снег на ресницах влажен,  
В твоих глазах тоска,  
И весь твой облик сложен  
Из одного куска.  
Как будто бы железом,  
Обмокнутым в сурьму,  
Тебя вели нарезом  
По сердцу моему.  
И в нем навек засело  
Смиренье этих черт,  
И оттого нет дела,  
Что свет жестокосерд.  
И оттого двоится  
Вся эта ночь в снегу,  
И провести границы  
Меж нас я не могу.  
Но кто мы и откуда,  
Когда от всех тех лет  
Остались пересуды,  
А нас на свете нет?

1950



Осень  
Я дал разъехаться домашним,  
все близкие давно в разброде,  
И одиночеством всегдашним  
Полно все в сердце и природе.  
И вот я здесь с тобой в сторожке.  
В лесу безлюдно и пустынно.  
Как в песне, стежки и дорожки  
Позаросли наполовину.  
Теперь на нас одних с печалью  
Глядят бревенчатые стены.  
Мы братъ преград не обещали,  
Мы будем гибнуть откровенно.  
Мы сядем в час и встанем в третьем,  
Я с книгою, ты с вышиваньем,  
И на рассвете не заметим,  
Как целоваться перестанем.  
Еще пышней и бесшабашней  
Шумите, осыпайтесь, листья,  
И чашу горечи вчерашней  
Сегодняшней тоской превысьте.  
Привязанность, влеченье, прелесть!  
Рассеемся в сентябрьском шуме!  
Заройся вся в осенний шелест!  
Замри или ополоумей!  
Ты так же сбрасываешь платье,  
Как роща сбрасывает листья,  
Когда ты падаешь в объятье  
В халате с шелковой кистью.  
Ты – благо гибельного шага,  
Когда житье тошней недуга,  
А корень красоты – отвага,  
И это тянет нас друг к другу.  
Ноябрь–декабрь 1949

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)

Нежность  
Ослепляя блеском,  
Вечерело в семь.  
С улиц к занавескам  
Приникала темь.  
Замирали звуки  
Жизни в слободе.  
И блуждали руки  
Неизвестно где.  
Люди – манекены,  
Но слепая страсть  
Тянется к вселенной  
Ощупью припасть.  
Чтобы под ладонью  
Слушать, как поет  
Бегство и погоня,  
Трепет и полет.  
Чувство на свободе –  
Это налегке  
Рвущая поводья  
Лошадь в мундштуке.

1950

Политические тучи, все более сгущавшиеся в последние годы, вылились волной репрессий, прокатившейся по всей стране и достигшей в 1949 году своего максимума, по массовости и бесчеловечности ничем не отличаясь от террора 1930-х годов. Это был год широко отмечавшегося сталинского 70-летия, самый мрачный и страшный по сравнению с предшествовавшими. Арестовывали и ссылали отбывших срок и брали новых. Пастернак регулярно писал в лагерь и ссылки, денежно помогал сосланным и семьям арестованных, хотя это было опасно. В первую очередь надо назвать вдову расстрелянного Тициана Табидзе, сестру Марины Цветаевой и дочь Ариадну Эфрон, которая после лагеря жила в Рязани, а сейчас была выслана в Туруханск, балкарскому поэту Кайсыну Кулиеву, высланному во Фрунзе, и многим другим. Возможность такой помощи достигалась каторжной работой над переводами пьес Шекспира, «Фауста» Гёте, стихов венгерского романтика Шандора Петёфи и грузинских поэтов.

Земля  
В московские особняки  
Врывается весна нахрапом.  
Выпархивает моль за шкапом  
И ползает по летним шляпам,  
И прячут шубы в сундуки.

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
По деревянным антресолям

Стоят цветочные горшки  
С левкоем и желтофиолем,  
И дышат комнаты привольем,  
И пахнут пылью чердаки.  
И улица запанибрата  
С оконницей подслеповатой,  
И белой ночи и закату  
Не разминуться у реки.  
И можно слышать в коридоре,  
Что происходит на просторе,  
О чем в случайном разговоре  
С капелью говорит апрель.  
Он знает тысячи историй  
Про человеческое горе,  
И по заборам стынут зори,  
И тянут эту канитель.  
И та же смесь огня и жути  
На воле и в жилом уюте,  
И всюду воздух сам не свой,  
И тех же верб сквозные прутья,  
И тех же белых почек вздутья  
И на окне и на распутьи,  
На улице и в мастерской.  
Зачем же плачет даль в тумане,  
И горько пахнет перегнай?  
На то ведь и мое призванье,  
Чтоб не скучали расстоянья,  
Чтобы за городскою гранью  
Земле не тосковать одной.  
Для этого весной ранней  
Со мною сходятся друзья,  
И наши вечера – прощанья,  
Пирушки наши – завещанья,

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
чтоб тайная струя страданья

Согрела холод бытия.

1947

Магдалина

I

Чуть ночь, мой демон тут как тут,

За прошлое моя расплата.

Придут и сердце мне сосут

Воспоминания разврата,

Когда раба мужских причуд,

Была я душой бесноватой

и улицей был мой приют.

Осталось несколько минут,

И тишь наступит гробовая.

Но раньше, чем они пройдут,

я жизнь свою дойдя до края,

Как алавастровый сосуд,

Перед тобою разбиваю.

О, где бы я теперь была,

Учитель мой и мой Спаситель,

когда б ночами у стола

меня бы вечность не ждала,

Как новый в сети ремесла

мною завлеченный посетитель.

Но объясни, что значит грех,

и смерть, и ад, и пламень серный,

когда я на глазах у всех

с тобой, как с деревом побег,

срослась в своей тоске безмерной.

когда твои стопы, Исус,

оперши о свои колени,

я, может, обнимать учусь

креста четырехгранный брус

и, чувств лишаясь, к телу рвусь

тебя готовя к погребенью.

II

У людей пред праздником уборка.  
В стороне от этой толчеи  
Обмываю миром из ведерка  
Я стопы пречистые Твои.  
Шарю и не нахожу сандалий  
Ничего не вижу из-за слез.  
На глаза мне пеленой упали  
Пряди распустившихся волос.  
Ноги я Твои в подол уперла,  
Их слезами облила, Исус,  
Ниткой бус их обмотала с горла,  
В волосы зарыла, как в бурнус.  
Будущее вижу так подробно,  
Словно ты его остановил.  
Я сейчас предсказывать способна  
Вещим ясновиденьем сивилл.  
Завтра упадет завеса в храме,  
Мы в кружок собьемся в стороне,  
И земля качнется под ногами,  
Может быть, из жалости ко мне.  
Перестроятся ряды конвоя,  
И начнется всадников разъезд.  
Словно в бурю смерч, над головою  
Будет к небу рваться этот крест.  
Брошусь на землю у ног распятыя,  
Обомру и закушу уста.  
Слишком многим руки для объятья  
Ты раскинешь по концам креста.  
Для кого на свете столько шири,  
Столько муки и такая мощь?  
Есть ли столько душ и жизней в мире?  
Столько поселений, рек и роц?  
Но пройдут такие трое суток

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)

И столкнут в такую пустоту,

Что за этот страшный промежуток

Я до Воскресенья дорасту.

Ноябрь–декабрь 1949

После ареста Ольги Ивинской Пастернак взял на себя заботу о ее детях и матери, писал ей в лагерь. Несколько сохранившихся открыток, посланных в Потьминские лагеря, написаны от лица матери, потому что переписка разрешена была только с родными. Борис Пастернак – Ольге Ивинской

31 мая 1951.

«Дорогая моя Олюша, прелесть моя! Ты совершенно права, что недовольна нами. Наши письма к тебе должны были прямо из души изливаться потоками нежности и печали. Но не всегда можно себе позволить это естественнейшее движение. Во все это замешивается оглядка и забота. Б. на днях видел тебя во сне в длинном и белом. Он куда-то все пропал и оказывался в разных положениях и ты каждый раз возникала рядом справа, легкая и обнадеживающая. Он решил, что это к выздоровлению, – шея все его мучит. Он послал тебе однажды большое письмо и стихи, кроме того я тебе послала как-то несколько книжек. Видимо все это пропало. Бог с тобой, родная моя. Все это как сон. Целую тебя без конца.

Твоя мама».

7 августа 1951.

«Родная моя! Я вчера, шестого, написала тебе открытку, и она где-то на улице выпала у меня из кармана. Я загадала: если она не пропадет, и каким-нибудь чудом дойдет до тебя, значит, ты скоро вернешься и все будет хорошо. В этой открытке я тебе писала, что никогда не понимаю Б.Л. и против вашей дружбы. Он говорит, что если бы он смел так утверждать, он сказал бы, что ты самое высшее выражение его существа, о каком он мог мечтать. Вся его судьба, все его будущее это нечто несуществующее. Он живет в этом фантастическом мире и говорит, что все это – ты, не разумея под этим ни семейной, ни какой-либо другой ломки. Тогда что же он под этим понимает? Крепко тебя обнимаю, чистота и гордость моя, желанная моя. Твоя мама».

14 ноября 1952.

«Родная моя, ангел мой! Здравствуй, здравствуй! Мысленно постоянно говорю с тобой, слышишь ли ты меня? Страшно подумать, что ты перенесла, и что впереди, но ни слова об этом! Не падай духом, мужайся, мы хлопотали и хлопочем, не надо терять надежды. Как чудно ты написала свою открытку, все вложила в несколько строчек, я так не умею. Буду узнавать о тебе от твоей мамы. Я не буду писать тебе, так будет лучше. Да и к чему? Ты все знаешь».

Осенью 1952 года Пастернак, как и в прошлые годы, много работал на огороде, собрал большой урожай картофеля. Окончив очередную главу романа «Доктор Живаго», он повез ее в город машинистке. По дороге у него случился инфаркт и его увезли в Боткинскую больницу. Первую неделю он лежал в общем отделении, врачи серьезно опасались за его жизнь.

\* \* \*

«...Когда это случилось, и меня отвезли, и я пять вечерних часов пролежал в приемном покое, а потом ночь в коридоре обыкновенной громадной и переполненной городской больницы, то в промежутках между потерей сознания и приступами тошноты и рвоты меня охватывало такое спокойствие и блаженство! Я думал, что в случае моей смерти не произойдет ничего несвоевременного, непоправимого.

Зине с Ленечкой на полгода средств хватит, а там они осмотрятся и что-нибудь предпримут. У них будут друзья, никто их не обидит. А конец не застанет меня врасплох, в разгаре работ, за чем-нибудь недоделанным. То небольшое, что можно было сделать среди препятствий, которые ставило время, сделано (перевод

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Шекспира, Фауста, Бараташвили).

А рядом все шло таким знакомым ходом, так выпукло группировались вещи, так резко ложились тени! Длинный верстовой коридор с телами спящих, погруженный во мрак и тишину, кончался окном в сад с чернильной мутью дождливой ночи и отблеском городского зарева Москвы за верхушками деревьев. И этот коридор, и зеленый шар лампового абажура на столе у дежурной сестры у окна, и тишина, и тени нянек, и соседство смерти за окном и за спиной – все это по сосредоточенности своей было таким бездонным, таким сверхчеловеческим стихотворением. В минуту, которая казалась последнею в жизни, больше, чем когда-либо до нее, хотелось говорить с Богом, славословить видимое, ловить и запечатлевать его.

«Господи, – шептал я, – благодарю тебя за то, что твой язык – величественность и музыка, что ты сделал меня художником, что творчество – твоя школа, что всю жизнь ты готовил меня к этой ночи». И я ликовал и плакал от счастья...»

Борис Пастернак – Нине Табидзе.

Из письма 17 января 1953

В больнице

Стояли как перед витриной,

Почти запрудив тротуар.

Носилки втокнули в машину,

В кабину вскочил санитар.

И скорая помощь, минуя

Панели, подъезды, зевак,

Сумятицу улиц ночную,

Нырнула огнями во мрак.

Милиция, улицы, лица

Мелькали в свету фонаря.

Покачивалась фельдшерица

Со склянкою нашатыря.

Шел дождь, и в приемном покое

Уныло шумел водосток,

Меж тем, как строка за строкою

Марали опросный листок.

Его положили у входа.

Все в корпусе было полно.

Разило парами иода,

И с улицы дуло в окно.

Окно обнимало квадратом

Часть сада и неба клочок.

К палатам, полам и халатам

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Присматривался новичок.

Как вдруг из расспросов сиделки,  
Покачивавшей головой,  
Он понял, что из переделки  
Едва ли он выйдет живой.  
Тогда он взглянул благодарно  
В окно, за которым стена  
Была точно искрой пожарной  
Из города озарена.  
Там в зареве рдела застава,  
И, в отсвете города, клен  
Отвешивал веткой корявой  
Больному прощальный поклон.  
«О Господи, как совершенны  
Дела Твои, – думал больной, –  
Постели, и люди, и стены,  
Ночь смерти и город ночной.  
Я принял снотворного дозу  
И плачу, платок теребя.  
О Боже, волнения слезы  
Мешают мне видеть Тебя.  
Мне сладко при свете неярком,  
Чуть падающем на кровать,  
Себя и свой жребий подарком  
Бесценным Твоим сознать.  
Кончаясь в больничной постели,  
Я чувствую рук Твоих жар.  
Ты держишь меня, как изделие,  
И прячешь, как перстень, в футляр».

1956

В конце декабря Пастернака навестила в больнице Анна Ахматова. Она рассказывала о своем разговоре с ним на площадке лестницы у окна, выходящего в сад. Он передал ей тогда как самое важное свое переживание, что теперь он не боится смерти. В стихотворении 1960 года, посвященном кончине Пастернака, Ахматова вспоминала об этом разговоре:

\* \* \*

Словно дочка слепого Эдипа,



Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)

Муза к смерти провидца вела,  
А одна сумасшедшая липа  
В этом траурном мае цвела  
Прямо против окна, где когда-то  
Он поведал мне, что пред ним  
Вьется путь золотой и крылатый,  
Где он вышнюю волей храним.

11 июля 1960

Москва. Боткинская больница

После больницы Пастернак поехал в санаторий Болшево, где вскоре начал работать. Там он встретил известие о смерти Сталина.

\* \* \*

«...Февральская революция застала меня в глуши Вятской губернии на Каме, на одном заводе. Чтобы попасть в Москву, я проехал 250 верст на санях до Казани, сделав часть дороги ночью, узкою лесной тропой в кибитке, запряженной тройкою гусем, как в Капитанской дочке. Нынешнее трагическое событие застало меня тоже вне Москвы, в зимнем лесу, и состояние здоровья не позволит мне в дни прощанья приехать в город. Вчера утром вдали за березами пронесли свернутые знамена с черною каймой, я понял, что случилось. Тихо кругом. Все слова наполнились до краев значением, истиной. И тихо в лесу...»

Борис Пастернак – Варламу Шаламову.

Из письма 7 марта 1953

\* \* \*

«...Два раза написать Вам было моей сильнейшей потребностью: в дни смерти и похорон Сталина и в особенности в день обнародования амнистии, которая стольких, по моему пониманию, должна коснуться, и, в первую очередь Тициана. Но, во-первых, больше чем когда-либо нам нужно терпение, чтобы сохранить силы и дожить до этой радости...»

Больше чем когда-либо я хочу дописать роман: перенесенная болезнь показала мне границы сил, которыми я располагаю. Как все люди, я не знаю, сколько часов, или дней, или месяцев и лет в моем распоряжении, но теперь я эту неизвестность ощущаю острее, чем год назад. И свободное время трачу над работой над вещью. Труд над окончанием романа предстоит еще много...»

Борис Пастернак – Нине Табидзе.

Из письма 4 апреля 1953

За этот год сильно продвинулась прозаическая часть романа, летом были написаны 11 стихотворений в тетрадь Юрия Живаго.

Белая ночь  
Мне далекое время мерещится,  
Дом на Стороне Петербургской.  
Дочь степной небогатой помещицы,  
Ты – на курсах, ты родом из Курска.  
Ты – мила, у тебя есть поклонники.

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)

Этой белою ночью мы оба,  
Примостясь на твоём подоконнике,  
Смотрим вниз с твоего небоскреба.  
Фонари, точно бабочки газовые,  
Утро тронуло первую дрожью.  
То, что тихо тебе я рассказываю,  
Так на спящие дали похоже!  
Мы охвачены тою же самою  
Оробелою верностью тайне,  
Как раскинувшийся панорамю  
Петербург за Невою бескрайней.  
Там вдали, по дремучим урочищам,  
Этой ночью весеннею белой,  
Соловьи славословьем грохочущим  
Оглашают лесные пределы.  
Ошалелое щелканье катится.  
Голос маленькой птички ледящей  
Пробуждает восторг и сумятицу  
В глубине очарованной чащи.  
В те места босоногою странницей  
Пробирается ночь вдоль забора,  
И за ней с подоконника тянется  
След подслушанного разговора.  
В отголосках беседы услышанной  
По садам, огороженным тесом,  
Ветви яблоневые и вишневые  
Одеваются цветом белесым.  
И деревья, как призраки белые,  
Высыпают толпой на дорогу,  
Точно знаки прощальные делая  
Белой ночи, выдавшей так много.

1953

Весенняя распутица  
Огни заката догорали.

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Распутицей в бору глухом

В далекий хутор на Урале  
Тащился человек верхом.  
Болтала лошадь селезенкой,  
И звону шлепавших подков  
Дорогой вторила вдогонку  
Вода в воронках родников.  
Когда же опускал поводья  
И шагом ехал верховой,  
Прокатывало половодье  
Вблизи весь гул и грохот свой.  
Смеялся кто-то, плакал кто-то,  
Крошились камни о кремни,  
И падали в водовороты  
С корнями вырванные пни.  
А на пожарище заката,  
В далекой прочерни ветвей,  
Как гулкий колокол набата  
Неистовствовал соловей.  
Где ива вдовый свой повойник  
Клонила, свесивши в овраг,  
Как древний соловей-разбойник  
Свистал он на семи дубах.  
Какой беде, какой зазнобе  
Предназначался этот пыл?  
В кого ружейной крупной дробью  
Он по чащобе запустил?  
Казалось, вот он выйдет лешим  
С привала беглых каторжан  
Навстречу конным или пешим  
Заставам здешних партизан.  
Земля и небо, лес и поле  
Ловили этот редкий звук,  
Размеренные эти доли

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Безумья, боли, счастья, мук.

1953

Лето в городе  
Разговоры вполголоса  
И с поспешностью пылкой  
Кверху собраны волосы  
Всей копною с затылка.  
Из-под гребня тяжелого  
Смотрит женщина в шлеме,  
Запрокинувши голову  
Вместе с косами всеми.  
А на улице жаркая  
Ночь сулит непогоду,  
И расходятся, шаркая,  
По домам пешеходы.  
Гром отрывистый слышится,  
Отдающийся резко,  
И от ветра колышется  
На окне занавеска.  
Наступает безмолвие,  
Но по-прежнему парит,  
И по-прежнему молнии  
В небе шарят и шарят.  
А когда светозарное  
Утро знойное снова  
Сушит лужи бульварные  
После ливня ночного,  
Смотрят хмуро по случаю  
Своего недосыпа  
Вековые, пахучие,  
Неотцветшие липы.

1953

Ветер  
Я кончился, а ты жива.  
И ветер, жалуясь и плача,

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Раскачивает лес и дачу.

Не каждую сосну отдельно,  
А полностью все деревья  
Со всею далью беспредельной,  
Как парусников кузова  
На глади бухты корабельной.  
И это не из удальства  
Или из ярости бесцельной,  
А чтоб в тоске найти слова  
Тебе для песни колыбельной.

1953

Хмель  
Под ракитой, обвитой плющом,  
От ненастья мы ищем защиты.  
Наши плечи покрыты плащом,  
Вкруг тебя мои руки обвиты.  
Я ошибся. Кусты этих чащ  
Не плющом перевиты, а хмелем.  
Ну так лучше давай этот плащ  
В ширину под собою расстелем.

1953

Бессонница  
Который час? Темно. Наверно, третий.  
Опять мне, видно, глаз сомкнуть не суждено.  
Пастух в поселке щелкнет плетью на рассвете.  
Потянет холодом в окно,  
Которое во двор обращено.  
А я один.  
Неправда, ты  
Всей белизны своей сквозной волной  
Со мной.

1953

Под открытым небом  
Вытянись вся в длину,  
Во весь рост  
На полевом стану

В обществе звезд.  
Незыблем их порядок.  
Извечен ход времен.  
Да будет так же сладок  
И нерушим твой сон.  
Мирами правит жалость,  
Любовью внушена  
Вселенной небывалость  
И жизни новизна.  
У женщины в ладони,  
У девушки в горсти  
Рождений и агоний  
Начала и пути.

1953

В двух последних стихотворениях, которые потом не были включены в окончательный текст романа «Доктор Живаго», чувствуется потаенная радость возвращения Ольги Ивинской и воспоминания о былых встречах с ней. Она была освобождена весной, но счастье встречи не могло заглушить в ней ужас того, что ей пришлось пережить.

\* \* \*

«...Ничего, конечно, для меня существенным образом не изменилось, кроме одного, в нашей жизни самого важного. Прекратилось вседневное и повальное исчезновение имен и личностей, смягчилась судьба выживших, некоторые возвращаются...»

Борис Пастернак – Ольге Фрейденберг.

Из письма 3 декабря 1953

Они виделись изредка, Пастернак по-прежнему поддерживал материально ее и детей, помогал ей доставать переводную работу, которая дала возможность вскоре получить ей прописку в Москве. В апреле 1954 года он пригласил ее на чтение своего перевода «Фауста» в Союз писателей. Это было ее первое появление на публике. Пастернак читал отрывки своего перевода, попутно комментируя их соответствующими соображениями. В сцене «Маргарита в тюрьме» он не мог сдержать слез.

\* \* \*

«...Председательствовал М.М. Морозов, тучный, выросший из серовского курчавого мальчугана, Мика Морозов. Пастернак читал сидя...»

Его скулы подрагивали, словно треугольные остовы крыльев, плотно прижатые перед взмахом.

Вы снова здесь, изменчивые тени,  
Меня тревожившие с давних пор,  
Найдется ль наконец вам воплощенье,  
Или остыл мой молодой задор?  
Ловлю дыханье ваше грудью всею  
И возле вас душою молодею.

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)

По мере того как читал он, все более просвечивал сквозь его лицо профиль ранней поры... Проступали сила, порыв, решительность и воля мастера, обрекшего себя на жизнь заново, перед которой опешил даже Мефистофель...

Вы воскресили прошлого картины

Былые дни, былые вечера.

Вдали всплывает сказкою старинной

Любви и дружбы первая пора.

Пронизанный до самой сердцевины

Тоской тех дней и жаждою добра...

Ну да, да, ему хочется дойти до сущности прошедших дней, до их причины, до оснований, до корней, до сердцевины.

И я прикован силой небывалой

К тем образам, нахлынувшим извне.

Эоловою арфой прорыдало

Начало строф, родившихся вчерне.

Это о себе он читал, поэтому и увлек его «Фауст» – не для заработка же одного он переводил и не для известности: он искал ключ ко времени, к возрасту, это он о себе писал, к себе прорывался, и Маргарита была его, этим он мучился, время хотел обновить...»

Андрей Вознесенский.

«Мне четырнадцать лет...»

Прежние отношения с О.В. Ивинской не возобновлялись, Пастернак не хотел возвращаться к прошлому, мучительно им прерванному в свое время, но чувствовал неоплаченный долг совести перед нею, перенесшей нечеловеческие страдания тюрьмы и лагерей.

\* \* \*

«...В послевоенные годы я познакомился с молодой женщиной Ольгой Всеволодовной Ивинской, но не вынеся душевной раздвоенности и тихого, покорного горя своей жены, я должен был пожертвовать своей новой близостью и с болью разорвал свои отношения с О.В. Вскоре она была арестована и приговорена к пяти годам тюрьмы и концентрационных лагерей. Ее арестовали, как человека, близкого мне, с точки зрения тайной полиции, чтобы угрозами и мучительными допросами добиться показаний на меня, чтобы потом можно было осудить меня и погубить. Я обязан жизнью ее мужеству и выдержке».

Борис Пастернак – Ренате Швайцер.

Из письма 7 мая 1958 (Перевод с немецкого)

Только к концу 1954 года снова возобновились поначалу редкие свидания Пастернака с Ольгой Ивинской, слезы Зинаиды Николаевны, угрызения совести и чувство вины перед сыном. Летом 1955 года Ольга Ивинская сняла комнату в деревне, соседней с Переделкиным. Постепенно она взяла на себя издательские дела Пастернака, разговоры с редакторами, контроль за выплатой денег, что освобождало его от утомительных поездок в город. Весной 1955 года Гослитиздат предложил выпустить сборник стихотворений Пастернака. Составителем был назначен молодой редактор Н.В. Банников, друг Ольги Всеволодовны.

\* \* \*

«...Зимой после окончательной отделки романа очередным делом стала забота о книге

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru) избранных стихотворений и ее подготовка. Возникновение вступительного очерка – заслуга Банникова, составителя, попросившего меня о статье. Кроме того ему требовались новые стихи для последнего дополнительного раздела книги, их надо было написать, и едва только я кончил статью, я принялся за стихи. Я их пишу не глубоко, не напряженно, как очень давно, до революции, совершенно не сознаю и не чувствую их качества и написал уже довольно много...»

Борис Пастернак – Марине Баранович.

Из письма 4 августа 1956

\* \* \*

Быть знаменитым некрасиво

Не это подымает ввысь.

Не надо заводить архива,

Над рукописями трястись.

Цель творчества – самоотдача,

А не шумиха, не успех.

Позорно, ничего не знача,

Быть притчей на устах у всех.

Но надо жить без самозванства,

Так жить, чтобы в конце концов

Привлечь к себе любовь пространства,

Услышать будущего зов.

И надо оставлять пробелы

В судьбе, а не среди бумаг,

Места и главы жизни целой

Отчеркивая на полях.

И окунаться в неизвестность,

И прятать в ней свои шаги,

Как прячется в тумане местность,

Когда в ней не видать ни зги.

Другие по живому следу

Пройдут твой путь за пядью пядь,

Но пораженья от победы

Ты сам не должен отличать.

И должен ни единой долькой

Не отступаться от лица,

Но быть живым, живым и только,

Живым и только до конца.



1956

\* \* \*

Во всем мне хочется дойти  
До самой сути.  
В работе, в поисках пути,  
В сердечной смуте.  
До сущности протекших дней,  
До их причины,  
До оснований, до корней,  
До сердцевины.  
Все время схватывая нить  
Судеб, событий,  
Жить, думать, чувствовать, любить,  
Свершать открытья.  
О, если бы я только мог  
Хотя отчасти,  
я написал бы восемь строк  
О свойствах страсти.  
О беззаконьях, о грехах,  
Бегах, погонях,  
Нечаянностях впопыхах,  
Локтях, ладонях.  
я вывел бы ее закон,  
Ее начало,  
И повторял ее имен  
Инициалы.  
я б разбивал стихи, как сад.  
Всей дрожью жилок  
Цвели бы липы в них подряд,  
Гуськом в затылок.  
В стихи б я внес дыханье роз,  
Дыханье мяты,  
Луга, осоку, сенокос,  
Грозы раскаты.  
Так некогда Шопен вложил

Живое чудо

Фольварков, парков, рощ, могил

В свои этюды.

Достигнутого торжества

Игра и мука –

Натянутая тетива

Тугого лука.

1956

Ева

Стоят деревья у воды,

И полдень с берега крутого

Закинул облака в пруды,

Как переметы рыболова.

Как невод, тонет небосвод,

И в это небо, точно в сети,

Толпа купальщиков плывет –

Мужчины, женщины и дети.

Пять-шесть купальщиц в лозняке

Выходят на берег без шума

И выжимают на песке

Свои купальные костюмы.

И наподобие ужей

Ползут и вьются кольца пряжи,

Как будто искуситель-змея

Скрывался в мокром трикотаже.

О женщина, твой вид и взгляд

Ничуть меня в тупик не ставят.

Ты вся – как горла перехват,

Когда его волнение сдавит.

Ты создана как бы вчерне,

Как строчка из другого цикла,

Как будто не шутя во сне

Из моего ребра возникла.

И тотчас вырвалась из рук

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
И выскользнула из объятий,

Сама – смятение и испуг  
И сердца мужеского сжатие.

1956

Без названия  
Недотрога, тихоня в быту,  
Ты сейчас вся огонь, вся горенье.  
Дай запрю я твою красоту  
В темном тереме стихотворенья.  
Посмотри, как преображена  
Огневой кожурой абажура  
Конура, край стены, край окна,  
Наши плечи и наши фигуры.  
Ты с ногами сидишь на тахте,  
Под себя их поджав по-турецки.  
Все равно, на свету, в темноте,  
Ты всегда рассуждаешь по-детски.  
Замечтавшись, ты нижешь на шнур  
Горсть на платье скатившихся бусин.  
Слишком грустен твой вид, чересчур  
Разговор твой прямой безыскусен.  
Пошло слово любовь, ты права.  
Я придумаю кличку иную.  
Для тебя я весь мир, все слова,  
Если хочешь переименую.  
Разве хмурый твой вид передаст  
Чувств твоих рудоносную залежь,  
Сердца тайно светящийся пласт?  
Ну так что же глаза ты печалишь?

1956

Весна 1956 года после выступления Хрущева на XX съезде партии с докладом, разоблачавшим культ Сталина, разрядила душную атмосферу лжи струей свежего воздуха. Вскрывшиеся страшные тайны и подробности гибели замученных в застенках и расстрелянных людей рождали мысль «написать памяти погибших и убиенных наподобие ектеньи в панихиде». Стихотворение Пастернака, по теме сходное замыслу ахматовского «Реквиема», характеризуется близостью православным канонам.

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)

Душа  
Душа моя, печальница  
О всех в кругу моем,  
Ты стала усыпальницей  
Замученных живьем.  
Тела их бальзамируя,  
Им посвящая стих,  
Рыдающею лирою  
Оплакивая их,  
Ты в наше время шкурное  
За совесть и за страх  
Стоишь могильной урною,  
Покоющей их прах.  
Их муки совокупные  
Тебя склонили ниц.  
Ты пахнешь пылью трупною  
Мертвецких и гробниц.  
Душа моя, скудельница [115] ,  
Все виденное здесь  
Перемолов, как мельница,  
Ты превратила в смесь.  
И дальше перемалывай  
Все бывшее со мной,  
Как сорок лет без малого  
В погостный перегной.

1956

Только теперь вскрылась тайна гибели Тициана Табидзе, последовавшей вскоре после его ареста, при том, что все прошедшие после этого годы близкие обманывались надеждами и ждали его возвращения. В годовщину его расстрела Пастернак писал его вдове:

«Друг мой Нина, что я могу еще сказать сверх того, что я сказал всеми долгими годами своего горького отчуждения от всех или большинства. Это повернуло меня спиной к людям, вроде Тихонова или ничтожествам и советским Молчалиным, вроде Гольцева...

О, как давно почувствовал я сказочную, фантастическую ложь и подлость всего, и гигантскую, неслыханную, в душе и голове не уместяющуюся преступность!

Но все это к делу не относится. Нужно как-то так выплакать эту боль, чтобы, если возможно, принести Вам облегчение и утишить упрек и жалобу этой тени, удовлетворить ее беззвучное напоминание, ее справедливый иск.

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Все это не делается в письме, все это, может быть, когда-нибудь сделается.

Когда в редкие, почти несуществующие моменты, я допускал, что Тициан жив и вернется, я всегда ждал, что с его возвратом начнется новая жизнь для меня, новая форма личной радости и счастья.

Оказалось, в этом нам так страшно отказано. Все остается по-старому. Тем осмотрительнее внутри своей совести, тем прямее и непримиримее надо быть нам, наученным таким страшным уроком. Я говорю о нас самих, а не о воздаянии кому-то другому. Другие никогда не интересовали меня...»

Пробуждение всколыхнуло литературную общественность. Оживление издательской деятельности ознаменовалось новыми начинаниями. Казавшееся непредставимым еще в прошлом году теперь неожиданно стало возможным. Веяние этих возможностей коснулось и Пастернака. Рукопись романа была предоставлена журналу «Новый мир». Обсуждался вопрос, где публиковать новые стихи. В «Знамени» вышла их большая подборка.

В Москву стали приезжать различные делегации из-за границы, они посещали писателей в Переделкине, заходили к Пастернаку. Рукопись романа «Доктор Живаго» была передана литературному агенту коммунистического издательства Фельтринелли в Милане.

Когда разгуляется  
Большое озеро как блюдо.

За ним – скопление облаков,  
Нагроможденных белой грудой  
Суровых горных ледников.  
По мере смены освещения  
И лес меняет колорит.  
То весь горит, то черной тенью  
Насевшей копоты покрыт.  
Когда в исходе дней дождливых  
Меж туч проглянет синева,  
Как небо празднично в прорывах,  
Как торжества полна трава!  
Стихает ветер, даль расчистив.  
Разлито солнце по земле.  
Просвечивает зелень листьев,  
Как живопись в цветном стекле.  
В церковной росписи оконниц  
Так в вечность смотрят изнутри  
В мерцающих венцах бессонниц  
Святые, схимники, цари.  
Как будто внутренность собора –  
Простор земли, и чрез окно  
Далекий отголосок хора

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)

Мне слышать иногда дано.

Природа, мир, тайник вселенной,

я службу долгую твою,

Объятый дрожью сокровенной,

В слезах от счастья отстою.

1956

Перемена

Я льнул когда-то к беднякам

Не из возвышенного взгляда,

А потому что только там

Шла жизнь без помпы и парада.

Хотя я с барством был знаком

И с публикою деликатной,

я дармоедству был врагом

И другом голи перекатной.

И я старался дружбу свести

С людьми из трудового звания,

За что и делали мне честь,

меня считая тоже рванью.

Был осязателен без фраз,

вещественен, телесен, весок

уклад подвалов без прикрас

и чердаков без занавесок.

И я испортился с тех пор,

как времени коснулась порча,

и горе возвели в позор,

Мещан и оптимистов корча.

Всем тем, кому я доверял,

я с давних пор уже неверен.

я человека потерял

С тех пор, как всеми он потерян.

1956

Осенью 1956 года Пастернак получил от редакции «Нового мира» письменный отказ на печатание «Доктора Живаго». Как недавно стало известно, он был составлен по указанию ЦК партии. Таким образом появившийся через год итальянский перевод романа стал первым изданием, что сделало Фельтринелли собственником всемирных

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
прав.

Отказ «Нового мира», остановивший публикацию «Доктора Живаго» на родине, по условиям времени продолжал действовать в течение более чем тридцати лет. А тогда, в 1958–1959 годах, вслед за итальянским переводом роман вышел практически на всех языках мира.

Пастернак понимал, что такое положение оборачивается для него серьезными угрозами, но это не могло победить радостное сознание того, «что по слепой игре судьбы мне посчастливилось высказаться полностью, и то самое, чем мы привыкли жертвовать и что есть самое лучшее в нас, художник оказался в моем случае незатертым и нерастоптанным».

\* \* \*

«...В конце 1957 года Фельтринелли не дождался напечатания романа здесь и издал его в Италии. С этого времени началась обоюдная спекуляция и у нас и на Западе. У нас возмущались и считали это предательством, а там главной целью было заработать много денег и нажать политический капитал. Обстановка создавалась невозможная. Я чувствовала, что все это грозит Боре гибелью. Он этого не понимал. Он сказал мне, что писатель существует для того, чтобы его произведения печатали, а здесь роман лежал полгода и по договору, заключенному между Гослитиздатом и Фельтринелли, тот имел право публиковать роман первым. Боря был абсолютно прав в своем ощущении, но я укоряла его за действия, потому что он поступил незаконно, и лучше было бы этого не делать. Может быть, это и рискованно, отвечал он, но так надо жить, на старости лет он заслужил право на такой поступок. Тридцать лет его били за каждую строчку, не печатали, – и все это ему надоело...»

Зинаида Пастернак.

Из «Воспоминаний»

Двойственность и неустойчивость положения не нарушала налаженный ритм работы Пастернака. Постепенно пополнялась новая книга стихов, при том что тираж обещанного во время «оттепели» сборника был рассыпан.

Золотая осень

Осень. Сказочный чертог,

Всем открытый для обзора.

Просеки лесных дорог,

Заглядевшихся в озера.

Как на выставке картин:

Залы, залы, залы, залы

Вязов, ясеней, осин

В позолоте небывалой.

Липы обруч золотой –

Как венец на новобрачной.

Лик березы – под фатой

Подвенечной и прозрачной.

Погребенная земля

Под листвой в канавах, ямах.

В желтых кленах флигеля,

Словно в золоченых рамах.

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Где деревья в сентябре

На заре стоят попарно,  
И закат на их коре  
Оставляет след янтарный.  
Где нельзя ступить в овраг,  
Чтоб не стало всем известно:  
Так бушует, что ни шаг,  
Под ногами лист древесный.  
Где звучит в конце аллеи  
Эхо у крутого спуска  
И зари вишневый клей  
Застывает в виде сгустка.  
Осень. Древний уголок  
Старых книг, одежд, оружия,  
Где сокровищ каталог  
Перелистывает стужа.

1956

Ненастье  
Дождь дороги заболотил.  
Ветер режет их стекло.  
Он платок срывает с ветел  
И стрижет их наголо.  
Листья шлепаются оземь.  
Едут люди с похорон.  
Потный трактор пашет озимь  
В восемь дисковых борон.  
Черной вспаханною зябью  
Листья залетают в пруд  
И по возмущенной ряби  
Кораблями в ряд плывут.  
Брызжет дождик через сито.  
Крепнет холода напор.  
Точно все стыдом покрыто,  
Точно в осени – позор.  
Точно срам и поруганье



В стаях листьев и ворон,  
И дожде и урагане,  
Хлещущих со всех сторон.

1956

Первый снег  
Снаружи вьюга мечется  
И все заносит в лоск.  
Засыпана газетчица  
И заметен киоск.  
На нашей долгой бытности  
Казалось нам не раз,  
Что снег идет из скрытности  
И для отвода глаз.  
Утайщик нераскаянный, –  
Под белой бахромой  
Как часто вас с окраины  
Он разводил домой!  
Все в белых хлопьях скроется,  
Залепит снегом взор, –  
На ощупь, как пропойца,  
Проходит тень во двор.  
Движения поспешные:  
Наверное опять  
Кому-то что-то грешное  
Приходится скрывать.

1956

После перерыва  
Три месяца тому назад,  
Лишь только первые метели  
На наш незащищенный сад  
С остервененьем налетели,  
Прикинул тотчас я в уме,  
Что я укроюсь, как затворник,  
И что стихами о зиме  
Пополню свой весенний сборник.

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)

Но навалились пустяки  
Горой, как снежные завалы.  
Зима, расчетам вопреки,  
Наполовину миновала.  
Тогда я понял, почему  
Она во время снегопада,  
Снежинками пронзая тьму,  
Заглядывала в дом из сада.  
Она шептала мне: «Спеши!»  
Губами, белыми от стужи,  
А я чинил карандаши,  
Отшучиваясь неуклюже.  
Пока под лампой у стола  
Я медлил зимним утром ранним,  
Зима явилась и ушла  
Непонятым напоминаньем.

1957

После издания «Доктора Живаго» Пастернак почувствовал, что не может жить только переживанием сделанного, что вместе с романом ушел в прошлое огромный исторический период и перед ним «освобождается пространство, неиспользованность и чистоту которого надо сначала понять, а потом этим понятием наполнить».

\* \* \*

«...О.В., Банникову и многим кажется, что мне надо писать сейчас стихотворения в моем последнем духе, прерванном болезнью. Я кое-что записал, но не только не уверен, что они судят правильно, но убежден в обратном. Я думаю, несмотря на привычность всего того, что продолжает стоять перед нашими глазами и мы продолжаем слышать и читать, ничего этого больше нет, это уже прошло и состоялось, огромный, неслыханных сил стоивший период закончился и миновал. Освободилось безмерно большое, покамест пустое и не занятое место для нового и еще небывалого, для того, что будет угадано чьей-либо гениальной независимостью и свежестью, для того, что внушит и подскажет жизнь новых чисел и дней...»

Борис Пастернак – Нине Табидзе.

Из письма 11 июня 1958

\* \* \*

Не подавая виду, без протеста,  
Как бы совсем не трогая основ,  
В столетии освободилось место  
Для новых дел, для новых чувств и слов.

\* \* \*

«...Надо набраться духу на большую новую прозу, надо будет написать нечто вроде

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
статьи о месте искусства в жизнеустройстве века, может быть, по-французски, для французского издания, в виде предисловия. А вместо того пробуждающаяся работа мысли начинается, как всегда, со стихов. Надо будет написать и их, на серьезные, на глубокие, важные темы. А кругом грязь, весна, пустые леса, одиноко чирикающие птички, и все это лезет в голову в первую очередь, отсрочивая более стоящие намерения, занимая понапрасну место и отнимая время. И мне нечего Вам послать, кроме прилагаемых двух, и Вы, как всегда, будете опять правы, что они с первого взгляда Вам не понравятся, так эти „птички“ непростительно банальны и слабы...»

Борис Пастернак – Марине Баранович.

Из письма 2 мая 1958

За поворотом  
Насторожившись, начеку

У входа в чашу,

Щебечет птичка на суку

Легко, маняще.

Она щебечет и поет

В преддверьи бора,

Как бы оберегая вход

В лесные норы.

Под нею – сучья, бурелом,

Над нею – тучи,

В лесном овраге, за углом –

Ключи и кручи.

Нагромождением пней, колод

Лежит валежник.

В воде и холоде болот

Цветет подснежник.

А птичка верит, как в зарок,

В свои рулады

И не пускает на порог

Кого не надо.

За поворотом, в глубине

Лесного лога,

Готово будущее мне

Верней залога.

Его уже не втянешь в спор

И не заластишь.

Оно распахнуто, как бор,

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Все вглубь, все настезь.

1958

Все сбылось  
Дороги превратились в кашу.  
Я пробираюсь в стороне.  
Я с глиной лед, как тесто, квашу,  
Плетусь по жидкой размазне.  
Крикливо пролетает сойка  
Пустующим березняком.  
Как неготовая постройка,  
Он высится порожняком.  
Я вижу сквозь его пролеты  
Всю будущую жизнь насквозь.  
Все до мельчайшей доли сотой  
В ней оправдалось и сбылось.  
Я в лес вхожу, и мне не к спеху.  
Пластами оседает наст.  
Как птице мне ответит эхо,  
Мне целый мир дорогу даст.  
Среди размокшего суглинка,  
Где обнажился голый грунт,  
Щебечет птичка под сурдинку  
С пробелом в несколько секунд.  
Как музыкальную шкатулку,  
Ее подслушивает лес,  
Подхватывает голос гулко  
И долго ждет, чтоб звук исчез.  
Тогда я слышу, как верст за пять,  
У дальних землемерных вех  
Хрустят шаги, с деревьев капит  
И шлепается снег со стрех.

1958

Написанная в те годы новая книга стихов стала попыткой увидеть и понять надвигающееся будущее. В январе 1959 года были дописаны ее заключительные стихи. На обложке рукописной тетради появился эпитаф из последнего тома прозы Марселя Пруста «Обретенное время». В нем книга называется старым кладбищем с полустертыми надписями забытых имен, что сближало эпитаф со стихотворением

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
«Душа», посвященным загубленным судьбам людей его поколения. Та же тема звучит в первом отрывке «Вакханалии»:

\* \* \*

Город. Зимнее небо.

Тьма. Пролеты ворот.

У Бориса и Глеба

Свет и служба идет.

Лбы молящихся, ризы

И старух шушуну

Свечек пламенем снизу

Слабо озарены.

А на улице вьюга

Все смешала в одно,

И пробиться друг к другу

Никому не дано.

В завываньи бурана

Потонули: тюрьма,

Экскаваторы, краны,

Новостройки, дома.

Ключья репертуара

На афишном столбе

И деревья бульвара

В серебристой резьбе.

И великой эпохи

След на каждом шагу –

В толчее, в суматохе,

В метках шин на снегу,

В ломке взглядов, – симптомах

Вековых перемен, –

В наших добрых знакомых,

В тучах мачт и антенн,

На фасадах, в костюмах,

В простоте без прикрас,

В разговорах и думах,

Умиляющих нас.

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
И в значеньи двояком

Жизни, бедной на взгляд,

Но великой под знаком

Понесенных утрат.

1957

Картины и темы последней книги Пастернака озарены светом и опытом пережитого, ощущением близкого конца и верности долгу. Эти темы наполняют символическим смыслом ее название, и мысли о смерти не противоречат устремленности в будущее, вызывая чувство радостного соприкосновения с вечностью. Книга получила название «Когда разгуляется» и в избранном составе была издана только после его смерти.

Пахота

Что случилось с местностью всегдашней?

С земли и неба стерта грань.

Как клетки шашечницы, пашни

Раскинулись, куда ни глянь.

Пробороненные просторы

Так гладко улеглись вдали,

Как будто выровняли горы

Или равнину подмели.

И в те же дни единым духом

Деревья по краям борозд

Зазеленели первым пухом

И выпрямились во весь рост.

И ни соринки в новых кленах,

И в мире красок чище нет,

Чем цвет берез светло-зеленых

И светло-серых пашен цвет.

1958

После грозы

Пронесшейся грозюю полон воздух.

Все ожило, все дышит, как в раю.

Всем роспуском кистей лиловогроздых

Сирень вбирает свежести струю.

Все живо переменею погоды.

Дождь заливают кровель желоба,

Но все светлее неба переходы

И высь за черной тучей голуба.

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Рука художника еще всесильней

Со всех вещей смывает грязь и пыль.  
Преображенной из его красильни  
Выходят жизнь, действительность и быль.  
Воспоминание о полувеке  
Пронесшейся грозой уходит вспять.  
Столетье вышло из его опеки.  
Пора дорогу будущему дать.  
Не потрясения и перевероты  
Для новой жизни очищают путь,  
А откровенья, бури и щедроты  
Души воспламененной чьей-нибудь.

1958

Дорога  
То насыпью, то глубию лога,  
То по прямой за поворот  
Змеится лентою дорога  
Безостановочно вперед.  
По всем законам перспективы  
За придорожные поля  
Бегут мощные извивы,  
Не слякотя и не пыля.  
Вот путь перебежал плотину,  
На пруд не посмотревши вбок,  
Который выводок утиный  
Переплывает поперек.  
Вперед то под гору, то в гору  
Бежит прямая магистраль,  
Как разве только жизни впору  
Все время рваться вверх и вдаль.  
Чрез тысячи фантасмагорий,  
И местности и времена,  
Через преграды и подспорья  
Несется к цели и она.  
А цель ее в гостях и дома –

Все пережить и все пройти,  
Как оживляют даль изломы  
Мимойдущего пути.

1957

Ночь  
Идет без проволочек  
И тает ночь, пока  
Над спящим миром летчик  
Уходит в облака.  
Он потонул в тумане,  
Исчез в его струе,  
Став крестиком на ткани  
И меткой на белье.  
Под ним ночные бары,  
Чужие города,  
Казармы, кочегары,  
Вокзалы, поезда.  
Всем корпусом на тучу  
Ложится тень крыла.  
Блуждают, сбившись в кучу,  
Небесные тела.  
И страшным, страшным креном  
К другим каким-нибудь  
Неведомым вселенным  
Повернут Млечный Путь.  
В пространствах беспредельных  
Горят материки.  
В подвалах и котельных  
Не спят истопники.  
В Париже из-под крыши  
Венера или Марс  
Глядят, какой в афише  
Объявлен новый фарс.  
Кому-нибудь не спится



Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
В прекрасном далеке

На крытом черепицей  
Старинном чердаке.  
Он смотрит на планету,  
Как будто небосвод  
Относится к предмету  
Его ночных забот.  
Не спи, не спи, работай,  
Не прерывай труда,  
Не спи, борись с дремотой,  
Как летчик, как звезда.  
Не спи, не спи, художник,  
Не предавайся сну.  
Ты – вечности заложник  
У времени в плену.

1956

Музыка  
Дом высился, как каланча.  
По тесной лестнице угольной  
Несли рояль два силача,  
Как колокол на колокольню.  
Они тащили вверх рояль  
Над ширью городского моря,  
Как с заповедями скрижаль  
На каменное плоскогорье [116] .  
И вот в гостиной инструмент,  
И город в свисте, шуме, гаме,  
Как под водой на дне легенд,  
Внизу остался под ногами.  
Жилец шестого этажа  
На землю посмотрел с балкона,  
Как бы ее в руках держа  
И ею властвуя законно.  
Вернувшись внутрь, он заиграл  
Не чью-нибудь чужую пьесу,

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)

Но собственную мысль, хорал,  
Гуденье мессы, шелест леса.  
Раскат импровизаций нес  
Ночь, пламя, гром пожарных бочек,  
Бульвар под ливнем, стук колес,  
Жизнь улиц, участь одиночек.  
Так ночью, при свечах, взамен  
Былой наивности нехитрой,  
Свой сон записывал Шопен  
На черной выпилке пюпитра.  
Или, опередивши мир  
На поколения четыре,  
По крышам городских квартир  
Грозой гремел полет валькирий [117] ,  
Или консерваторский зал  
При адском грохоте и треске  
До слез Чайковский потрясал  
Судьбой Паоло и Франчески [118] .

1956

С 1946 года кандидатура Пастернака семь раз выдвигалась на Нобелевскую премию по литературе. В 1958 году, наконец, она была присуждена ему с формулировкой: «За выдающиеся достижения в современной лирической поэзии и продолжение благородных традиций великой русской прозы». Разразившийся вслед за этим политический скандал напоминал по своим формам худшие явления сталинского прошлого.

\* \* \*

«...Я думал, что радость моя по поводу присуждения мне Нобелевской премии не останется одинокой, что она коснется общества, часть которого я составляю. Мне кажется, что честь оказана не только мне, а литературе, к которой я принадлежу... Кое-что для нее, положа руку на сердце, я сделал. Как ни велики мои размолвки с временем, я не предполагал, что в такую минуту их будут решать топором. Что же, если Вам кажется это справедливым, я готов все перенести и принять... Но мне не хотелось бы, чтобы эту готовность представляли себе вызовом и дерзостью. Наоборот, это долг смирения. Я верю в присутствие высших сил на земле и в жизни, и быть заносчивым и самонадеянным запрещает мне небо...»

Борис Пастернак – Екатерине Фурцевой.

Из письма 24 октября 1958

Ответивший первоначально благодарностью за присуждение награды, Пастернак после недели угроз и травли был вынужден отказаться от премии, его принудили подписать согласованные в ЦК печатные заявления. В этой ситуации значительную роль играла Ольга Всеволодовна Ивинская, которая из страха за судьбу свою и Бориса Пастернака оказалась податливым орудием беззастенчивого шантажа и давления со стороны партийных чиновников. Недавние страдания, перенесенные ею в 1949–1953

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru) годах, не позволяя ни в чем упрекать ее, запугивания повторным арестом заставляли ее слезами и истериками вынуждать Пастернака идти на компромиссы, требуемые в ЦК. Испугавшись, что ей в Гослитиздате отказали в очередном переводе, она подтолкнула Пастернака на то, чтобы послать телеграмму в Стокгольм с отказом от премии. Одновременно он послал извещение в ЦК, чтобы Ивинской вернули работу, потому что он отказался от премии. Она была одним из авторов открытых писем Пастернака в газеты, подписи под которыми были получены ее усилиями. Ей казалось, что она спасает его таким образом, – нельзя забывать, что Сталин умер всего пять лет тому назад, и страх, вновь охвативший все общество, диктовал свои законы. Достаточно посмотреть газеты тех страшных дней и вспомнить писательские собрания с требованиями расстрела «предателя». Но для Пастернака самым тяжелым было сознание своего компромисса и отказа от премии. О. Ивинская вспоминала, как он говорил ей, что стыдится тех писем, которые она «заставила» его подписывать: «Сознайся, ведь мы из вежливости испугались!»

\* \* \*

«...Очень тяжелое для меня время. Всего лучше было бы теперь умереть, но я сам, наверное, не наложу на себя рук...»

Борис Пастернак – Марии Марковой.

Из письма 11 ноября 1958

\* \* \*

«...Темные дни и еще более темные вечера времен античности или Ветхого Завета, возбужденная чернь, пьяные крики, ругательства и проклятия на дорогах и возле кабака, которые доносились до меня во время вечерних прогулок; я не отвечал на эти крики и не шел в ту сторону, но и не поворачивал назад, а продолжал прогулку. Но меня все здесь знают, мне нечего бояться...»

Борис Пастернак – Жаклин де Пруайяр.

Из письма 28 ноября 1958

(Перевод с французского)

Дурные дни  
Когда на последней неделе

Входил он в Иерусалим,

Осанны навстречу гремели

Бежали с ветвями за ним.

А дни все грозней и суровей,

Любовью не тронуть сердец.

Презрительно сдвинуты брови,

И вот послесловье, конец.

Свинцовою тяжестью всю

Легли на дворы небеса.

Искали улик фарисеи,

Юля перед ним, как лиса.

И темными силами храма

Он отдан подонкам на суд,

И с пылкостью тою же самой,

Как славили прежде, клянут.

Толпа на соседнем участке  
Заглядывала из ворот,  
Толклись в ожиданьи развязки  
И тыкались взад и вперед.  
И полз шепоток по соседству,  
И слухи со многих сторон.  
И бегство в Египет и детство  
Уже вспоминались, как сон.  
Припомнился скат величавый  
В пустыне, и та крутизна,  
С которой всемирной державой  
Его соблазнял сатана.  
И брачное пиршество в Кане,  
И чуду дивящийся стол,  
И море, которым в тумане  
Он к лодке, как по суху, шел.  
И сборище бедных в лачуге,  
И спуск со свечою в подвал,  
Где вдруг она гасла в испуге,  
Когда воскресенный вставал... [119] .

ноябрь-декабрь 1949

Гефсиманский сад  
Мерцаньем звезд далеких безразлично  
Был поворот дороги озарен.  
Дорога шла вокруг горы Масличной,  
Внизу под нею протекал Кедрон.  
Лужайка обрывалась с половины.  
За нею начинался Млечный Путь.  
Седые серебристые маслины  
Пытались вдаль по воздуху шагнуть.  
В конце был чей-то сад, надел земельный.  
Учеников оставив за стеной,  
Он им сказал: «Душа скорбит смертельно,  
Побудьте здесь и бодрствуйте со мной» [120] .

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Он отказался от противоборства,

Как от вещей, полученных взаймы,  
От всемогущества и чудотворства,  
И был теперь как смертные, как мы.

Ночная даль теперь казалась краем  
Уничтоженья и небытия.

Простор вселенной был необитаем,  
И только сад был местом для житья.

И, глядя в эти черные провалы,  
Пустые, без начала и конца,

Чтоб эта чаша смерти миновала,  
В поту кровавом он молил Отца.

Смягчив молитвой смертную истому,  
Он вышел за ограду. На земле

Ученики, осиленные дремой,  
Валялись в придорожном ковыле.

Он разбудил их: «Вас Господь сподобил  
Жить в дни мои, вы ж разлеглись, как пласт.

Час Сына Человеческого пробил,  
Он в руки грешников себя предаст».

И лишь сказал, неведомо откуда  
Толпа рабов и скопище бродяг,

Огни, мечи и впереди Иуда  
С предательским лобзаньем на устах.

Петр дал мечом отпор головорезам  
И ухо одному из них отсек.

Но слышит: «Спор нельзя решать железом,  
Вложи свой меч на место, человек.

Неужто тьмы крылатых легионов  
Отец не снарядил бы мне сюда?

И, волоска тогда на мне не тронув  
Враги рассеялись бы без следа.

Но книга жизни подошла к странице,  
Которая дороже всех святынь.

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Сейчас должно написанное сбыться,

Пускай же сбудется оно. Аминь.

Ты видишь, ход веков подобен притче

И может загореться на ходу.

Во имя страшного ее величья

я в добровольных муках в гроб сойду.

я в гроб сойду и в третий день восстану,

И, как сплавляют по реке плоты,

ко мне на суд, как баржи каравана,

Столетия поплывут из темноты».

1948

Возобновившаяся с 1956 года переписка с Европой постепенно приобретала все более широкий размах. Пастернак получал разные книги, вырезки из газет, бандероли с подарками, возобновились знакомства с русскими эмигрантами. Порою на конверте стояло только: Переделкино под Москвой Пастернаку. Отлученный на десятилетия от читателя, Пастернак с радостью откликался на эти проявления симпатии и интереса.

\* \* \*

«...Бури и анафематствования местного происхождения ничто по сравнению с тем, что ко мне приходит и тянется со всего мира. Я утопаю в грудах писем из-за границы. Говорил ли я Вам, что однажды наша переделкинская сельская почтальонша принесла их мне целую сумку, пятьдесят четыре штуки сразу. И каждый день по двадцати. В какой-то большой доле это все же упоенье и радость, – душевное единенье века...»

Борис Пастернак – Лидии Воскресенской.

Из письма 12 декабря 1958

Божий мир

Тени вечера волоса тоньше

За деревьями тянутся вдоль.

На дороге лесной почтальонша

Мне протягивает бандероль.

По кошачьим следам и по лисьим,

По кошачьим и лисьим следам

Возвращаюсь я с пачкою писем

В дом, где волю я радости дам.

Горы, страны, границы, озера,

Перешейки и материки,

Обсужденья, отчеты, обзоры,

Дети, юноши и старики.

Досточтимые письма мужские!

Нет меж вами такого письма,

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Где свидетельства мысли сухие

Не выказывали бы ума.

Драгоценные женские письма!

Я ведь тоже упал с облаков.

Присягаю вам ныне и присно:

Ваш я буду во веки веков.

Ну, а вы, собиратели марок!

За один мимолетный прием,

О, какой бы достался подарок

Вам на бедственном месте моем!

1959

Одновременно были остановлены все издания переводов, и Пастернак оставлен без какого-либо заработка. В письмах этого времени он писал, что чувствует себя, «как на луне или в четвертом измерении». С одной стороны – всемирная слава, с другой – одиночество его имени на родине, безденежье, неуверенность в завтрашнем дне и возможности прокормить зависящих от его заработка близких людей. В то же время он получал сотни писем от людей, которые считали его богачом, с просьбой о помощи из тех средств, которыми он сам не мог воспользоваться. В январе 1959 года, на пороге своего семидесятилетия Пастернак написал три последних стихотворения, одно из них посвящено «тем страшным дням».

Нобелевская премия  
Я пропал, как зверь в загоне.

Где-то люди, воля, свет,

А за мною шум погони.

Мне наружу ходу нет.

Темный лес и берег пруда,

Ели сваленной бревно.

Путь отрезан отовсюду,

Будь что будет, все равно.

Что же сделал я за пакость,

я, убийца и злодей?

Я весь мир заставил плакать

Над красой земли моей.

Но и так, почти у гроба,

Верю я, придет пора,

Силу подлости и злобы

Одолеет дух добра.

1959

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)

Стихотворение имело еще две строфы, возникшие под впечатлением размолвки с Ольгой Ивинской, потом в белой рукописи они были заклеены.

Все тесней кольцо облавы,  
И другому я виной:  
Нет руки со мною правой,  
Друга сердца нет со мной!  
А с такой петлей у горла  
я б хотел еще пока,  
чтобы слезы мне утерла  
Правая моя рука.

Но размолвка, имевшая основанием желание Ивинской легализовать отношения с Пастернаком, по-видимому, имела продолжение и сказалась в том извиняющемся тоне, какой слышится в письмах Пастернака Ивинской из Грузии. По требованию прокуратуры он вынужден был уехать на три недели из Москвы на время приезда английского премьер-министра Гарольда Макмиллана, чтобы избежать «нежелательных» встреч с иностранными журналистами. Борис Пастернак – Ольге Ивинской

21 февраля 1959.

«Олюша родная, пишу тебе на почте. Я подавлен всей идущей кругом жизнью, полетом, огромным количеством честных людей, живущих как надо, как требуется временем, и только я один подозрителен сам себе, и не собираюсь исправляться и буду чем дальше, тем все хуже. Я не знаю, удастся ли позвонить отсюда по телефону. Все так чисто и правы кругом, и первая – ты. И всех я огорчаю, и, как узнал перед отъездом, больше всего тебя.

Олюша, жизнь будет продолжаться, как она была раньше. По-другому я не могу и не сумею. Никто не относится плохо к тебе. Только что дочь Н.А. Табидзе обвиняла меня в том, что беря на себя такой риск, я потом уйду от ответственности, сваливая ее на твои плечи. Что это ниже меня и неблагородно.

Крепко обнимаю тебя. Как удивительна жизнь. Как надо любить и думать. Не надо думать ни о чем другом.

Твой Б.»

22 февраля 1959.

«Дорогая Олюша, безделье, оторванность от привычек делового дня дают себя чувствовать. Н.А. отдала в мое распоряжение свою собственную комнату, а сама с Зиной помещаются в комнате внука, которого лишили своего угла. Кругом удивительные, полные самопожертвования люди. Я писал тебе с почты вчера. О тебе несколько слов вскользь и тайком, с симпатией к тебе, сказала Ливанова в аэропорте, где она нас провожала. Я хочу эти две недели употребить на то, чтобы наконец закончить Пруста, которого я почитаваю понемногу.

Попробую позвонить тебе сегодня (в воскресенье 22) по телефону с почты. Мне начинает казаться, что, помимо романа, премии, статей, тревог и скандалов, по какой-то еще другой моей вине жизнь последнего времени превращена в бред и этого могло бы не быть. Наверное действительно надо будет сжаться, успокоиться и писать впрок, как говорил тебе Д.А. «Поликарпов» [121]. Я вчера впервые ясно понял (меня упрекнули в этом), что вмешивая тебя в эти страшные истории, я набрасываю на тебя большую тень и подвергаю страшной опасности. Это не по-мужски и подло. Надо будет постараться, чтобы этого больше не было, чтобы постепенно к тебе отошло только одно легкое, радостное и хорошее. Я люблю тебя и крепко целую. В предположении, что ты в Ленинграде (хотя я бы этого не хотел), прошу тебя поклониться Зин. Ивановне и Фед. Петровичу. Обнимаю тебя. Прости меня.



Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Твой Б.»

24 февраля 1959.

«...За мое короткое отсутствие наверное накопятся горы дорогих мне писем, часть которых будет нуждаться в ответе. То привычное и знакомое, что составляло мою жизнь и доставляло мне радость, будет, если позволит Бог, продолжаться, но кое-в-чем этот обиход изменится. Надо будет упорядочить денежное хозяйство, твое и наше, и попробовать действительно, как говорил тебе Д.А. (я уже об этом писал) жить неторопливо, мыслью о будущем, более далеком.

Я ужасно, как всегда люблю тебя и уверен, что ты этого не чувствуешь, считаешь недоказанным и не замечаешь. Что касается меня, то если бы можно было надеяться, что все останется, как было до наших последних объяснений, я был бы на верху блаженства. Фантазировать сверх этого невысказанно и неисполнимо. Мне мерещится что-то очень хорошее впереди, неопределимое и незаслуженное, часть которого я сейчас предвосхищаю, мысленно крепко обнимая и целуя тебя».

26 февраля 1959.

«Олюша дорогая моя, моя золотая, родная Олюша! Как я по тебе соскучился! Как грустно мне вообще по утрам той знакомою беспричинною грустью, которую я так хорошо знаю с детства! Струя свежего чистого воздуха, пахнущего весной, чирикание птиц за окном, голоса детей, и эта щемящая томлящая грусть уже налицо. Отчего она? Что-то нужно понять, что-то сделать. – Как странно, положение мое никогда не было так спорно и ненадежно, будущее никогда не было так неясно. И почему-то никогда не был я так ясен и спокоен, точно ты и все мы, и наши дома, и дети, и работы и здоровье – обеспечены и им ничего не грозит, точно впереди ждет меня что-то очень хорошее. Никогда забота о доведении до конца каких-то мыслей, желание попасть домой и сосредоточиться не были так велики и не казались таким главным, никогда вера в то, что ничего не помешает удовлетворению этой потребности не была так тверда.

Олюша любушка, золотая моя и мой ангел, я пишу тебе такие бессмысленные послания, прости меня. Мне нечего тебе рассказать. Что я тут делаю? Главным образом – скрываюсь. Эти прятки наполнены чтением Пруста, пешими прогулками, чтобы не отсидеть ноги, едою, сном. Н.А. окружает заботою каждый мой шаг, свинство этим пользоваться, я ни от кого и ни у кого, менее всего у нее, это заслужил. Здесь нигде нет врагов тебе. Больше мы с нею ни о чем не говорили. Но мне кажется, многие без всякого основания любят меня, и, любя меня, любят тебя. Эта атмосфера молчаливого допущения и согласия исходит даже от Зины.

Обнимаю тебя крепко, крепко. Не могу дождаться, чтобы перерыв этой животной праздности окончился поскорее, и мы вернулись. Как было бы хорошо, если бы ты была в Москве и Ирочке [122] не приходилось пересылать писем».

12 марта 1959.

«...Я приехал сейчас не восхищаться, не вдохновляться, не произносить речи и пировать. Я приехал молчать и скрываться, провожаемый общественным проклятием и покрытый такими же справедливыми упреками с твоей стороны, и в таком настроении, пришибленном и грустном, всего лучше сидеть и помногу заниматься чем-нибудь неподвижным и нетрудным. Я дочитываю бесконечного Пруста, кончить которого я себе поставил целью, уезжая. – И, как всегда, очень грустно по утрам, по пробуждении. Отчего это? Оттого, что часто ты, наверное, снишься мне, не оставляя следа о сновидении в памяти, и очень часто снишься с ясным запоминанием. Я уже несколько раз писал тебе об этом чувстве. И, наверное, еще оттого, что наши последние разговоры в городе произвели на меня тяжелое впечатление. Ты была, мне кажется, не права. Я ничем не виноват перед тобой или, лучше сказать, виноват перед всеми, перед временем, перед близкими, но меньше всего – перед тобой. Даже если опасения твои насчет себя самой были бы основательны, – ну что же, это было бы ужасно, но никакая опасность, нависшая над тобой, не зависела бы от того, что так или иначе сложилась моя жизнь, и не мое постоянное присутствие могло бы эту опасность отвратить. Нити более тонкие, связи более высокие и могучие, чем тесное существование вдвоем на глазах у всех, соединяют нас, и это хорошо всем известно. Моя жизнь с тобой протекает совсем не в той области, в которую ты перенесла в последнее время свои требования и обвинения, но в области, которая вся целиком так посвящена самому высокому и

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru) светлomu, что никакие несчастья не могут ее уничтожить и обесценить, потому что она сама побеждает все препятствия и несчастья.

Мне нельзя менять своей жизни не только из-за боязни причинить страдание окружающим, но из-за боязни неестественности, которую принесла бы с собой эта ненужная и резкая перемена. Мое и твое положение в нынешнем привычном мире и без того полно игры с огнем и дерзкого вызова. Потяни за ниточку и поползет и уничтожится вся ткань...»

Летом 1959 года Пастернак начал писать драму, посвященную времени великих реформ в России, в котором видел зарождение нигилизма, ставшего причиной трагических событий нашего века. Главным героем должен был быть крепостной актер и драматург, сюжет строился вокруг судьбы таланта при крепостном праве, горькую тяжесть которого Пастернак сам ежедневно переживал. Свое семидесятилетие он отмечал в кругу семьи, письма со всего мира и поздравительные телеграммы приходили нескончаемым потоком. Он продолжал вдохновенно работать над драмой, которая получила название «Слепая красавица».

\* \* \*

«...Какие-то благодатные силы вплотную придвинули меня к тому миру, где нет ни кружков, ни верности юношеским воспоминаниям, ни юбочных точек зрения, к миру спокойной непредвзятой действительности, к тому миру, где, наконец, впервые тебя взвешивают и подвергают испытанию, почти как на страшном суде, судят и измеряют и отбрасывают или сохраняют; к миру, ко вступлению в который художник готовится всю жизнь и в котором рождается только после смерти, к миру посмертного существования выраженных тобою сил и представлений...»

Борис Пастернак – Чукуртме Гудиашвили.

Из письма 5 февраля 1960

\* \* \*

«Вероятнее всего через много лет после того, как я умру, выяснится, какими широкими, широчайшими основаниями направлялась моя деятельность последних лет, чем она дышала и питалась, чему служила...»

Борис Пастернак – Гарегину Бебутову.

Из письма 24 мая 1958

С начала 1960 года стали появляться постепенно нарастающие признаки тяжелого заболевания. Преодолевая боли в спине, Пастернак переписал первые сцены пьесы. С середины апреля наступило резкое ухудшение. Отчетливо сознавая близкий конец, он вынужден был оставить работу неоконченной и в последних числах апреля слег в постель. 30 мая 1960 года его не стало.

\* \* \*

«...Смерти нет. Смерть не по нашей части. А вот вы сказали: талант, это другое дело, это наше, это открыто нам. А талант – в высшем широчайшем понятии есть дар жизни.

Смерти не будет, говорит Иоанн Богослов, и вы послушайте простоту его аргументации. Смерти не будет, потому что прежнее прошло. Это почти как: смерти не будет, потому что это уже видали, это старо и надоело, а теперь требуется новое, а новое есть жизнь вечная...»

Борис Пастернак.

Из романа «Доктор Живаго»

\* \* \*

«...Пастернак давно перестал быть для меня только поэтом. Он был совестью моего поколения, наследником Льва Толстого. Русская интеллигенция искала у него решения всех вопросов времени, гордилась его нравственной твердостью, его творческой силой. Я всегда считал, считаю и сейчас, что в жизни должны быть такие люди, живые люди, наши современники, которым мы могли бы верить, чей нравственный авторитет был бы безграничен. И это обязательно должны быть наши соседи. Тогда нам легче жить, легче сохранять веру в человека...»

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Варлам Шаламов.

Из воспоминаний

Август

Как обещало, не обманывая,

Проникло солнце утром рано

Косою полосой шафрановою

От занавеси до дивана.

Оно покрыло жаркой охрою

Соседний лес, дома поселка,

Мую постель, подушку мокрую

И край стены за книжной полкой.

Я вспомнил, по какому поводу

Слегка увлажнена подушка.

Мне снилось, что ко мне на проводы

Шли по лесу вы друг за дружкой.

Вы шли толпою, врозь и парами.

Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня

Шестое августа по старому,

Преображение Господне.

Обыкновенно свет без пламени

Исходит в этот день с фавора,

И осень, ясная как знаменье,

К себе приковывает взоры.

И вы прошли сквозь мелкий, нищенский,

Нагой, трепещущий ольшаник

В имбирно красный лес кладбищенский,

Горевший, как печатный пряник.

С притихшими его вершинами

Соседствовало небо важно,

И голосами петушиными

Перекликалась даль протяжно.

В лесу казенной землемершею

Стояла смерть среди погоста,

Смотря в лицо мое умершее,

Чтоб вырыть яму мне по росту.

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)

Был всеми ошутим физически  
Спокойный голос чей-то рядом.  
То прежний голос мой провидческий  
Звучал, не тронутый распадом:  
«Прощай, лазурь преображенная  
И золото второго Спаса,  
Смягчи последней лаской женскою  
Мне горечь рокового часа.  
Прощайте, годы безвременщины!  
Простимся, бездне унижений  
Бросающая вызов женщина!  
Я – поле твоего сраженья.  
Прощай, размах крыла расправленный,  
Полета вольное упорство,  
И образ мира, в слове явленный,  
И творчество, и чудотворство».

1953

Примечания

1

Ф.А. Битепаж (1832–1904) – петербургский издатель и книгопродавец, организатор профессионального издания детской литературы.

2

Малага – сорт изюма, который клали в небольшие картонные коробочки елочных игрушек (бонбоньерки).

3

Имеется в виду вознесение на небо Ильи-пророка на огненной колеснице.

4

Училище живописи, ваяния и зодчества после революции было переименовано в Высшие художественные мастерские (ВХУТЕМАС), отдельный факультет, расположенный в крыле здания, где раньше находилась мастерская Л.О. Пастернака, был предоставлен учащимся пролетарского происхождения (рабфак).

5

Сдача Порт-Артура определила поражение в Русско-Японской войне 1904–1905 гг.

6

М.Ф. Андреева (1868–1953) – актриса, гражданская жена Горького.

7

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Пьер Абеляр (1079–1142) – французский философ, богослов и поэт, автор «Истории моих бедствий», посвященной его трагической любви к ученице Элоизе. Эвклид (III в. до н. э.) – древнегреческий математик, создатель классической геометрии.

8

Гарпии – мифические чудовища, изрыгавшие огонь. «Намордники гарпий» – здесь имеются в виду решетки, надеваемые на трубу паровоза для предохранения от вылетающих из нее горящих угольков. Изображаются в виде крылатых диких существ – полуженщины-полуптицы отвратительного вида.

9

Исай Александрович Добровейн (1891–1953) – композитор, впоследствии знаменитый дирижер.

10

Герман Коген (1842–1918) – глава Марбургской школы философии. Пауль Наторп (1854–1924) – один из главных представителей этой философской школы. Г.Ф. Лейбниц (1646–1716) – немецкий философ.

11

«Божественная комедия» Данте, бывшего уроженцем Флоренции, написана терцинами, трехстрочными строфами.

12

Стаканчики с купоросным маслом (серной кислотой) ставились на зиму между оконными рамами, чтобы не запотевали стекла.

13

Варфоломеева ночь – массовые убийства гугенотов в Париже ночью с 23 на 24 августа 1572 (день св. Варфоломея), причем католики метили двери гугенотов белыми крестами. Гаспар де Шатийон Колиньи – адмирал Франции, гугенот и первая жертва заговорщиков.

14

Имеются в виду декорации К.А. Коровина к опере Н.А. Римского-Корсакова «Золотой петушок».

15

Объяснением этого образа служат слова Пастернака из письма к родителям: «...вещь, как губка, пропитывалась всегда... всем тем, что вблизи нее находилось: приключениями ближайшими, событиями, местом, где я тогда жил, и местами, где бывал, погодой тех дней».

16

Пастернак объяснял, что в этом образе он объединил впечатления «церковной службы и сзывающего к обедням благовеста (колокольного звона) и высящихся в небе колоколен и золотящихся на них крестов».

17

Поэт Третьяков назван ошибочно вместо К. Большакова.

18

Река Стоход, находящаяся в Волынской губернии, – место кровопролитных военных действий в мае-июне 1916 года.

19

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Тарель – точеный обод на пушках.

20

Ксероформ – дезинфицирующая мазь, употребляемая при перевязках раненых.

21

Жить (др.-греч.) .

22

Перифраз строк из поэмы Маяковского «Флейта-позвоночник»: «Версты улиц взмахами шагов мну...»

23

Кнастер – сорт трубочного табака.

24

Ганон – сборники упражнений по методике обучения игре на фортепиано, названные по имени композитора Шарля Луи Аннона (1819–1900).

25

Евгений Германович Лундберг (1887–1965) – писатель и журналист, инициатор поездки Пастернака на Урал.

26

У Тютчева: «Пойми, коль может, // Органа жизнь глухонемой».

27

По «Русской правде» Ярослава Мудрого наказанием для фальшивомонетчиков было заливание рта расплавленным оловом.

28

Имеется в виду картина К.Д. Флавицкого (1830–1866), изображающая претендентку на русский престол Елизавету Тараканову в Петропавловской крепости во время наводнения 1775 года.

29

Берковец – мера веса в 160 килограмм. Имеются в виду редкие тяжелые удары великопостного колокольного звона.

30

Номерами назывались дешевые гостиницы, в которых сдавались в наем меблированные комнаты.

31

Смарагд – другое название изумруда.

32

Рюмить – плакать, заливать слезами.

33

Таволга – многолетнее растение семейства розоцветных.

34

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Бравада Ракочи – «Ракоци-марш» Ф. Листа.

35

Названия железнодорожных станций, соседних с Романовкой, первых на обратном пути в Москву.

36

Брезг – ранний утренний свет, рассвет.

37

Шелонь – река в Псковской области, впадает в озеро Ильмень.

38

Камышинская ветка – железнодорожная ветка, идущая от Тамбова до Камышина.

39

Экклезиаст – одна из книг Библии, приписываемая Соломону. «Все Он сделал прекрасным в свое время, и вложил мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делал, от начала до конца».

40

Великий князь Литовский Ягайло и Королева Польская Ядвига своим браком в 1386 году объединили оба государства.

41

Яспис – другое название яшмы.

42

Сухой купорос – стаканчик с медным купоросом, поставленный на зиму между рамами.

43

Совет народных комиссаров – Совет министров.

44

Советы рабочих и крестьянских депутатов – органы советской власти.

45

Имеются в виду первохристианские общины, скрывавшиеся в римских катакомбах. Отсюда – прямая связь с христианским социализмом.

46

Дром – дремучий лес, чаща.

47

Вернер Зомбарт (1863–1941) – немецкий экономист и социолог, испытавший влияние марксизма.

48

Речь идет о запломбированном солдатами ландвера (местной службы) вагоне, в котором через закрытую границу приехал в Петроград Ленин со своими соратниками, и его «Апрельских тезисах».

49

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Визьонера дивинация – божественные предвидения мистика.

50

Цикл рождественских повестей Диккенса проникнут чувством семейного тепла и доброты, одна из самых известных – «Сверчок на печи».

51

Пустота Торричелли – безвоздушное пространство над поверхностью жидкости (ртути) в закрытом осуде.

52

Игра на губах Себастьяна – органная музыка И.С. Баха.

53

Берген – порт на севере Норвегии.

54

Корабль норвежского полярного исследователя Ф. Нансена «Фрам» был затерт льдами, вместе с которыми дрейфовал по Северно-Ледовитому океану (1893–1896).

55

Герой романа Гёте «Страдания юного Вертера» кончает жизнь самоубийством.

56

Чрезвычайная комиссия.

57

Всероссийский центральный исполнительный комитет.

58

Хамиты – группа народностей Северной Африки. Согласно Д.Н. Анучину («А.С. Пушкин: Антропологический эскиз», 1899), абиссинцы составляют особую группу хамитов, воспринявших семитическую примесь.

59

Кафры – название народов Южной Африки. Здесь: Пушкин.

60

Имеется в виду «Евгений Онегин», начало работы над которым было положено в Одессе.

61

Самолов – наматывающаяся на палец леска с крючком и грузиком для рыбной ловли.

62

Ранет – сорт яблок.

63

Малага – изюм на веточке.

64

Всероссийский совет народного хозяйства.



65

«Летучий голландец» – знаменитый пиратский корабль.

66

Отсылка к Библии (Исх. 32, 15–16), где рассказывается о Моисее, спустившемся с Синая со скрижалями, содержащими заповеди, продиктованные Господом Богом.

67

Народное произношение слова «форейтор».

68

Имеется в виду дед Блока – А.Н. Бекетов (1825–1902), профессор ботаники и ректор Петербургского университета.

69

Блок издавал свои стихотворения в трех томах, третий составляла лирика 1907–1916 годов.

70

Начало детской песенки: «Ах попалась, птичка, стой, не уйдешь из сети...»

71

Детская фотография шестилетней Жени с куклой, которую она оставила Пастернаку, уезжая.

72

Скучая по матери, Женя рисовала ее портрет по фотографии.

73

Название сельскохозяйственных ферм, употреблявшееся до революции.

74

Марины Цветаевой, к переписке с которой Е.В. Пастернак ревновала своего мужа.

75

Дачное место под Петроградом, где жила Е.В. Пастернак с сыном.

76

П.П. Кончаловскому, в мастерской которого училась Е.В. Пастернак.

77

Болезненные воспоминания о романе с Еленой Виноград.

78

Здесь слышны отзвуки недавнего самоубийства С. Есенина, о котором Пастернак по просьбе Цветаевой собирал сведения, Цветаева задумывала писать о нем поэму.

79

Из разговора Цветаевой с Ф.А. Степуном, о чем он впоследствии вспоминал в своем предисловии к изданию прозы Цветаевой.

80

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
Раиса Николаевна Ломоносова (1888–1973) – жена инженера-паровозостроителя Ю.В. Ломоносова, жила в Лондоне, переписывалась с Пастернаком, по его просьбе поддерживала М. Цветаеву.

81

Имеется в виду стихотворение А. Ахматовой «Лотова жена».

82

Гуммигут – желто-зеленая краска.

83

В статье о современной русской поэзии, вошедшей в Британскую энциклопедию, Д.П. Святополк-Мирский особо выделил имя Бориса Пастернака.

84

Стихотворение М. Цветаевой из книги «Версты» (1921).

85

Шутихи – петарды фейерверка.

86

Слова из поэмы «Облако в штанах» (тетраптих).

87

Имеется в виду роман Кнута Гамсуна «Голод».

88

Араукария – тропическое растение из семейства еловых.

89

Река Кара находящаяся на границе Архангельской и Тюменской области – место каторжных работ на золотоносных рудниках.

90

Поликлет – греческий скульптор V века до н. э., установивший в своих работах классические каноны и пропорции красоты человеческого тела.

91

Пастернак провожал уезжавшую в Киев Зинаиду Николаевну со старшим сыном Адиком (Адрианом).

92

Жена В.Ф. Асмуса, ревновавшая Пастернака к З.Н. Нейгауз.

93

Пастернак только что вернулся из Киева, куда ездил навестить Зинаиду Николаевну.

94

Пастернак вечером этого же дня отправлялся в составе писательской бригады в командировку на ударные стройки в Магнитогорск.

95

Разговор идет о будущей совместной поездке на Кавказ, куда Зинаида Николаевна

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru) взяла старшего мальчика, шестилетнего Адика, а младшего, четырехлетнего Лялика (Станислава) оставила в Москве с воспитательницей.

96

Семейства Нейгаузов, Асмусов и Пастернаков, живших летом в Ирпене.

97

«Басма» – марка дешевых папирос.

98

Имеется в виду Интермеццо Брамса до-диез минор, которое играл в Ирпене Г.Г. Нейгауз.

99

Пастернак писал З.Н. Нейгауз, восхищаясь ее взглядом, «открыто и просто вперенным в наше время, с такою верой в землю и ее смысл», и ею самой, «упрощающей все до полного счастья».

100

Е.В. Пастернак в это время находилась в туберкулезном санатории на юге Германии.

101

Стихи обращены к Паоло Яшвили, чьи стихотворения Пастернак переводил.

102

Шандал – подсвечник.

103

Тициана Табидзе уже не было на свете, он был расстрелян 15 декабря 1937 года.

104

Полюдые – сбор дани.

105

Слово образовано от имени одного из персонажей романа Достоевского «Бесы», создавшего систему государства, при котором безграничная свобода строилась на необходимости безграничного деспотизма и принуждения.

106

В.П. Ставский – первый секретарь Союза писателей.

107

Имеется в виду оставленная семья, жена и сын, после развода жившие на Тверском бульваре.

108

Физик Матвей Петрович Бронштейн – муж Л.К. Чуковской был арестован в 1937 году и расстрелян.

109

Речь идет о конюшне в деревне Вяжи, на высоком берегу реки Зуши, в которой находилась огневая точка противника.

110

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)

Слова Христа из молитвы в Гефсиманском саду (Мк. 14,36).

111

Служба Страстей Христовых совершается вечером Великого четверга.

112

Символизируя погребение, крестный ход обносит вокруг храма плащаницу – изображение Христа, лежащего во гробе.

113

Парафраза начальных слов песнопения на Страстную субботу: «Да молчит всякая плоть человека...»

114

Слова апостола Петра из Евангелия от Матфея, гл. 16, ст. 16.

115

Место общего погребения.

116

Библейский эпизод из Книги Исхода (32, 15) о восхождении Моисея на гору Синай со скрижалями Божьих заповедей.

117

Полет валькирий – музыкальный сюжет из оперы Р. Вагнера «Валькирия».

118

Имеется в виду симфоническая фантазия П. Чайковского «Франческа да Римини», написанная на сюжет из «Божественной комедии» Данте.

119

Стихотворение посвящено первым дням Страстной недели, начинающейся Входом Господним в Иерусалим. Далее перечисляются эпизоды земной жизни Христа: бегство в Египет (Мф.2, 13–20), искушение в пустыне (Мф. 4, 8–9), превращение воды в вино в Кане Галилейской (Ин.2, 1–10), хождение по водам (Мк. 14, 47–48) и воскрешение Лазаря (Ин. 11, 43–44).

120

Цитата из Евангелия (Мф. 26, 38). Стихотворение пересказывает Евангельский сюжет предсмертного моления Христа на Масличной горе.

121

Заведующий Отделом культуры ЦК КПСС, который через О.В. Ивинскую вызывал Пастернака к себе для разговоров.

122 И.И. Емельянова – дочь Ольги Ивинской.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://pasternakboris.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> философия, философы мира, философские течения. Биография

Сестра моя, жизнь. Борис Леонидович Пастернак [pasternakboris.ru](http://pasternakboris.ru)  
<http://dostoevskiyfyodor.ru/>  
сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!